



СОГЛАСИЕ

**А.В. АМФИТЕАТРОВ О ВЛАДИМИРЕ СОЛОВЬЕВЕ
ВОСПОМИНАНИЯ**

**НОВОЕ ИМЯ: ОЛЕГ ПАВЛОВ
ЗАПИСКИ ИЗ-ПОД САПОГА**

**ЗАРУБЕЖНАЯ ПРОЗА. МИЛОРАД ПАВИЧ
РОМАН ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ КРОССВОРДОВ**

**К 150-ЛЕТИЮ СО ДНЯ СМЕРТИ М.Ю. ЛЕРМОНТОВА
НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ**

ПРОЧИТЕ ДЕТЯМ: ВЕДЬМЫ И ВСЕ ПРОЧИЕ

6'1991



СОГЛАСИЕ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

№6. ИЮНЬ 1991 ГОДА.

МОСКВА. РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ КОМПЛЕКС «МИЛОСЕРДИЕ»

В НОМЕРЕ:

СЛОВО И ВРЕМЯ. ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ.

А.В. Амфитеатров

В.С. СОЛОВЬЕВ. ВСТРЕЧИ

3

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Алексей Королев

ДАБЫ ОБЪЕДИНИТЬСЯ, НАДО РАЗМЕЖЕВАТЬСЯ. Стихи

13

Новое имя: Олег Павлов

ЗАПИСКИ ИЗ-ПОД САПОГА. Повествование в рассказах

17

Михаил Глинка

УГОЛОВНО-БУЛЬВАРНЫЙ РОМАН

32

Алла Ахундова

ОТКРЫТКИ С ВИДАМИ. Стихи

62

Борис Евсеев

ОРФЕУС. Рассказ

69

Алла Кторовна

ДО ПЕТРОВА ДНЯ. Рассказ

72

Галина Щербакова
ДОЧКИ, МАТЕРИ, ПТИЦЫ И ОСТРОВА. Рассказ

82

Сергей Таск
ДЕБЮТ ЧЕРНЫХ КОНЕЙ. Рассказ

90

Яков Дымарский
НЕПРИКАЕННЫЙ КРАЙ У ПОРОГА УКРАИНЫ. Стихи

98

ЗАРУБЕЖНАЯ ПРОЗА

Милорад Павич
ПЕЙЗАЖ, НАРИСОВАННЫЙ ЧАЕМ. Роман для любителей кроссвордов.
Перевод с сербского Н. Вагаповой и Р. Грецкой

102

ПУБЛИЦИСТИКА

Лариса Миллер
ДОМАШНИЙ АДРЕС

159

К 150-ЛЕТИЮ СО ДНЯ СМЕРТИ М. Ю. ЛЕРМОНТОВА

Алла Марченко
ЛЕРМОНТОВ – СТО ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ СПУСТЯ

173

Роксана Ахвердян
«МЦЫРИ» И ИМЕРЕТИНСКОЕ ВОССТАНИЕ 1819-1820 ГОДОВ

188

НЕИЗВЕСТНЫЕ ПИСЬМА КНЯГИНИ М.А. ЩЕРБАТОВОЙ
Предисловие, комментарий и публикация М.Ф. Дамианиди и Е.Н. Рябова

199

ПРОЧТИТЕ ДЕТЯМ

Анни Шмидт
ВЕДЬМЫ И ВСЕ ПРОЧИЕ

214

А. В. АМФИТЕАТРОВ

Вл. С. СОЛОВЬЕВ. ВСТРЕЧИ

Александр Валентинович Амфитеатров (1862—1938) — один из самых плодовитых русских литераторов, соперничавший в этом отношении, пожалуй, только с Боборыкиным и Василием Немировичем-Данченко, всегда оставался где-то на периферии читательского сознания. Из бесчисленных его романов, повестей, очерков почти ничего не сохранилось в читательской памяти — и виноваты в этом не только превратности судьбы. Типичный натуралист, Амфитеатров отличался зоркостью глаза, неплохо схватывал приметы времени, но был решительно не способен подняться выше «фотографирования» действительности. Наиболее интересны, как нам представляется, в его литературном наследии рассеянные по сборникам и периодическим изданиям мемуарные очерки о современниках, где слабость писателя обернулась сильной стороной: его воспоминания оставляют ощущение достоверности и художнической основательности.

Трудно сказать, что связывало Владимира Соловьева — религиозного философа и подвижника со способным, но зачастую беспринципным беллетристом, не раз менявшим «вехи» на протяжении своей долгой жизни. Амфитеатров не был, да и не мог быть другом и соратником Соловьева, но сумел доброжелательно и пристально разглядеть в нем многое из того, что было скрытым от его близких.

Быть может, ни о ком из деятелей последних лет не ходило в обществе столько разнообразных и разноречивых слухов, как о покойном Вл. С. Соловьеве. Общество чувствовало в нем огромный талант и огромную, интересную загадку. Что он за человек? Разрешить было нелегко тому, кто знал его только по печати да по публичным чтениям. У нас в России принято, чтобы талант причислялся к определенному литературно-политическому ведомству, надевал его мундир и, затем, неукоснительно проходил в оном длинную лестницу чиновного производства до «нашего маститого» включительно. Вл. С. Соловьев был решительно не создан для мундира. Мысль его, как гигантский маятник, качалась между восточниками и западниками, унося на себе плодоносные следы и тех, и других. Это был ни консерватор, ни либерал, ни ретроград, ни радикал, ни народник, ни марксист. Это был одинокий свободомыслящий мудрец, имевший привычку думать вслух — спокойно, искренне, объективно и вслух, — не смущаясь вопросом, по вкусу ли придутся слова его соседям, и в какой отряд «убежденных» они его, на основании этих рассуждений вслух, зачислят. Громадное дарование Вл. С. Соловьева сделало, что его уважали и любили все наши «лагери». Когда он умер, все лагеря дружно всплакнули о его смерти. Но ни один лагерь не решился утверждать: он был всецело наш. Говорили только: покойный сходилась с нами в таких-то и таких-то взглядах, и мы любили его за это, хотя расходились в других.

Мыслитель вслух и Л. Н. Толстой. Но Вл. С. Соловьев был в другом роде. Не говоря уже об авторитете, которым с Толстым Соловьев не мог, конечно, рав-

няться, была разница в способах оглашения результатов мысли и влияния ими на массу. Однажды, при мне, в Москве, в весьма интеллигентном, профессорском кругу зашла речь о так называемой «вредности» Толстого, усердно проповедуемой всяческими, а наипаче московскими, охранителями. Известно, что в среде западников-прогрессистов идеи толстовского прощения и непротавления злу тоже симпатиями не пользуются. Спор был интересен, умен, разнообразен; один из участников его, фанатический поклонник и последователь Льва Николаевича, блистательно разбил своих оппонентов на два фронта и, торжествуя, ушел победителем.

— Я же, — сказал по уходе его старый профессор-шестидесятник, все время молчавший, — нахожу в деятельности Толстого всего лишь одну отрицательную сторону — не столько даже вредную, как печальную. Это — что бросившись в этический анализ и философские построения уже человеком пятидесяти лет, он, с огромным авторитетом своим, оповещал мир чуть не каждый день о результатах, которых он достигал, как мыслитель-самоучка.

— Что же тут дурного?

— То, что вместо одной, твердой и ясной философско-религиозной системы, которую он выработал бы про себя и объявил, освященную своим творческим именем, к XX веку, мы в течение двух десятилетий имели не один толстизм, а несколько толстизмов, из которых иные почти зачеркивали предыдущие. Он слишком часто показывал массе черняки своей умственной работы, а масса хваталась за каждый из них, как за последнее слово учителя, не соображая того, что вечно и неутомимо грызущий Толстого дух сомнения заставит его еще несколько раз переработать черняки, прежде чем они будут им признаны готовыми набело, да и то еще Бог весть, какая пойдет потом корректурная правка. А из этого опубликования черняков получилось, что множество людей, неспособных пойти в свободе мысли и воли дальше *ipse dixit*^{*}, позастряли на таких стадиях толстизма, которые давно упразднены самим Толстым. Я знаю многих толстовцев, которые, задержавшись на деятельности и проповеди Толстого в начале 80-х годов, не посмели шагнуть за ним в девяностые. Есть, наоборот, толстовцы — в сотни раз строже в толстизме самого Толстого, ревниво следящие за своим апостолом, готовые обличить каждую его непоследовательность, и если удасться обличить, затем неделями, месяцами, терзаться и мучиться ею, изнывая в сомнениях. Словом, я упрекаю его только в том, что, вместо того, чтобы выносить про себя и затем принести и провозгласить толпе учение свое готовым, Лев Николаевич вырабатывал его на глазах всей России, увлекая за собой делить процесс своего творчества все общество: куда он, туда и вы. Но его-то огромной голове было немудрено одолевать эти этапы мысли, а умы послабее, не говоря уже о посредственных, изнемогали и застревали на них сотнями.

Вл. С. Соловьев не повинен этому упреку — по крайней мере, не повинен в той мере, как Толстой: обыкновенно он мыслил вслух набело. Но вследствие того и мысль его, заключенная в стройные, но сложные системы, становилась менее доступной массам. Толстой давал толпе не только пищу, но он и наглядно показывал опытом, как ее готовят, как надо ее класть в рот, жевать, глотать, переваривать. Соловьев подносил кушанья и говорил: «Попробуйте, — вкусно. А как за него надо взяться, ножом с вилок или ложкою, — не скажу: сами догадайтесь. И разъяснить вам, как я его готовил, из чего и в каких пропорциях, — тоже не хочу. Анализируйте, если можете». Он был больше аристократический, тогда как Толстой больше демократический самоучка. Громадная, почти страшная энциклопедическая эрудиция Владимира Соловьева и привычка его к строгому научному тону резко подчеркивали эту разницу. В Соловьеве много Фауста, уклонявшегося из толпы; Толстой, даже и в философии, похож на тех старых русских угодников, старателей народных, что весь религиозный смысл жизни своей полагали в общении с толпой, в направлении ее по путям, предначертанным их вдохновениями.

^{*} «Сам сказал» (лат.) — у пифагорейцев ссылка на Пифагора как на высший, непрекаемый авторитет.

Фаусты поэтичны и загадочны. Поэтичен и загадочен для общества был и Соловьев. Трудно отрицать в нем некоторую мистическую двойственность духа и быта.

— Соловьев великий постник и трезвенник! — скажет один в обществе. А другой сейчас же возражает:

— Помилуйте, мы ужинали у Н., — и он отлично пил красное вино.

— Соловьев аскет и девственник.

— Однако, иной раз он рассказывает преппикантные истории и анекдоты.

— Удивил нас Соловьев, — говорил мне один московский литератор. — Разговорился вчера. Ума — палата. Блеск невероятный. Сам — апостол апостолом. Лицо вдохновенное, глаза сияют. Очаровал нас всех... Но... доказывал он, положим, что дважды два — четыре. Доказал. Поверили в него, как в Бога. И вдруг — словно что-то его защелкнуло. Стал угрюмый, насмешливый, глаза унылые, злые. — А знаете ли, — говорит, — ведь дважды-то два не четыре, а пять? — Бог с вами, Владимир Сергеевич! да вы же сами сейчас доказали... — Мало ли что «доказал». Вы послушайте-ка... — И опять пошел говорить. Режет contra, как только что резал pro, — пожалуй, еще талантливее. Чувствуем, что это шутка, а жутко как-то. Логика острая, резкая, неумолимая, сарказмы страшные... Умолк, — мы только руками развели: видим, действительно, дважды два — не четыре, а пять. А он — то смеется, то, словно, его сейчас живым в гроб класть станут.

Соловьев был несомненно самым сильным диалектическим умом современной русской литературы. В споре он был непобедим и любил гимнастику спора, но выходки, подобные только что рассказанной, кроют свои причины глубже, чем только в пристрастии к гимнастике. Этому Фаусту послан был в плоть Мефистофель, с которым он непрестанно и неутомимо боролся. Соловьев верил, что этот дух сомнения, вносящий раздвоение в его натуру, самый настоящий бес из пекла, навязанный ему в искушение и погибель. Известно, что он был галлюцинат и духовидец. Про преследования его бесами он рассказывал своим друзьям ужасные вещи, — совсем не рисуясь, а дрожа, обливаясь холодным потом, так тяжело приходилась ему иной раз эта борьба с призраками мистически настроенного воображения.

Вот один из таких рассказов.

На финляндском пароходе, в шхерах, по пути, кажется, из Ганге, Вл. С. Соловьев поутру, встав ото сна, сидел в своей каюте на койке и думал о чем-то далеком. Вдруг ему стало неловко, как будто на него кто-то смотрит, как будто он не один в каюте. Оглядевшись, он видит, что на подушке его постели сидит мохнатое, серое, человекообразное существо и глядит на него злыми глазами.

— Не знаю, почему, но я не удивился, — говорил Вл. С., — а только посмотрел на него пристально, в свою очередь, и, тоже не знаю почему, вдруг спросил его: — А ты знаешь, что Христос воскрес? — А он мне в ответ: — Христос-то воскрес, а вот тебя я оседлаю!

И он прыгнул на меня, и почувствовал себя придавленным страшною и отвратительною тяжестью...

Вне себя от ужасной галлюцинации, Соловьев начал читать все молитвы и заклатья против злых духов, какие могла подсказать ему его огромная, опытная в писании и в обиходе церковном, память. Видение отвалилось... Соловьев выбежал на палубу и повалился в обмороке.

Человек, с которым приключаются подобные истории, конечно, не пророчит быть долговечным. Зимой 1899—1900 года я несколько раз встречался с Соловьевым, впервые с ним тогда познакомившись, и, при всей гениальности его разговора, при всем остроумии, глубине мысли, при всей симпатичности его наружности и обращения, в нем жило что-то именно жуткое, необычайное, чудилось какое-то страшное «высшее» недовольство — собою ли, миром ли?

— Гениален-то он гениален, — думал я, возвращаясь после одной такой встречи у М. А. Загуляева¹, — только как бы он не пустил себе пулю в лоб, либо, если религия удержит его от самоубийства, не очутился бы в сумасшедшем доме.

В нем было что-то «ставрогинское»: покоряющее, но заставляющее жалеть его, властное, но глубоко внутри несчастное, сверкающее светом, испещренным темными пятнами отчаянных сомнений... Гений граничил с безумием, и безумные по смелости слова и мысли поднимались до гения.

* * *

Зимой 1899 г. возник из одного литературного столкновения третейский суд. Одна из сторон выбрала в судьи меня и Вл. С. Соловьева, другая — М. А. Загуляева и одного почтенного ученого, имени которого я не упоминаю, так как, быть может, он не желает быть названным. Я был всего лишь на одном заседании этого суда, так как во время двух последующих проболел инфлюэнцией. Установив на заседании формальную сторону дела, мы сложили в сторону официальные отношения и перешли к обычной беседе. Ученый скоро ушел, а Соловьев и я остались у Загуляева, по приглашению его, пить чай и какое-то особенное превосходное пиво в каких-то выгурных жбанчиках, каких мне не приходилось видеть ни прежде, ни после. М. А. Загуляев был человек высоко оригинальный, умел устраиваться и жить не только по-европейски, но и щегольски по-европейски, как европеец больше самих европейцев. Соловьев был, как известно, вегетарианец. Однако, не рисовался этим демонстративно: редиску ел с маслом и даже, кажется, попробовал шофруа из дичи. И пива хлебнул. Думал ли я, сидя за столом между этими двумя людьми, что сижу между двумя вскоре покойниками?! И года не прошло, а уже оба лежали на кладбище... Загуляев хоть старик был, — а Соловьев-то?

Пришел Соловьев не в духе, как и все мы, впрочем: щекотливое дело третейского суда — кому в радость? Да и не мастера мы, русские, проделывать эти заграничные штуки. Один Загуляев чувствовал себя, как рыба в воде, и священнодействовал с величием и умелостью члена палаты лордов. Но когда официальности кончились, Соловьев развеселился.

— Я против вас зуб имею, — обратился он ко мне с той чарующей улыбкой, которая привлекала к нему по первому же знакомству столько друзей.

— За что, Владимир Сергеевич?

— А зачем вы напечатали мою «Эпитафию»?

— А зачем вы пустили ее ходить по рукам?

Он расхохотался.

— Правда, смешно?

— Очень смешно, Владимир Сергеевич: прутковская простота какая-то.

— А кто вам сообщил ее?

Я назвал.

— Ах, разбойник! — снова засмеялся Соловьев, — я ему прочел стихи, как доброму человеку, а он — в печать! Уши ему надрать надо. А впрочем, отлично сделал: пусть посмеются люди; смех добрый, искренний нужен... только без гнева, без злости... улыбка радости нужна. Пусть улыбнутся.

«Эпитафия самому себе», шутка Вл. С. Соловьева, о которой шла речь, читается так:

Владимир Соловьев
 Лежит на месте этом.
 Был прежде философ,
 А после стал поэтом.

Он душу потерял,
 Не говоря о теле;
 И душу дьявол взял,
 Собаки тело съели.

Прохожий! научись
 Из этого примера,

Сколь пагубна любовь
И сколь полезна вера.²

— Стих о собаках, — улыбаясь, продолжал Вл. С. — у вас был напечатан неверно: «тело собаки съели»... тут размер не выдержан.

— Мы думали: вы нарочно, ради особой пикантности, — маленькая невыдержка в размере иногда эффектна.

— Ну, это мог себе позволять Некрасов, а не мы, которые «после стали поэтами»! А вы знаете другую мою эпиграмму, тоже недавнюю?

— Какую??

— На Розанова.

— Нет, не слыхал.

— Запишите, если хотите.

Я записал, но... запись потерял, и теперь помню наизусть лишь первые четыре и последние стихи этой «смешной» вещицы, превосходно и беззлобно вышучивающей чересчур «византийский» привкус писаний и мировоззрения г. Розанова. Вот эти стихи. Думаю, что г. Розанов не обидится на их оглашение. В них нет ничего для него оскорбительного. Он изображен в момент, когда становится на молитву и исповедует вслух суть своих убеждений:

Затеплю я свою лампаду
И духом в горних воспарю:
Я не убью, я не украду,
Я не прелюбы сотворю...

.....

И в сонме кротких светлых духов,
Я помолюсь за свой народ,
За растворение воздуха
И за свя-тей-ший пра-ви-тель-ству-ю-щий сино-о-о-од!

Читал Вл. С., радуясь своей шутке, как ребенок, захлебываясь смехом, а последний стих даже пробасил, как дьякон. Говорят, что подобных острот в рифмах им набросано множество. Потом меня уверяли, что эпиграмма эта кн. С. Н. Трубецкого и что написана она на Победоносцева. Я помню, что Вл. С. Соловьев говорил о ней, как о своей, но, может быть, память мне изменила, хотя это редко со мною случается. Относительно же Розанова положительно утверждаю, что Соловьев рекомендовал эпиграмму, как направленную против него³. С юмористическими стихами Соловьева много недоразумений. По-видимому, он любил ими мистифицировать публику. Так, одно из них, несомненно ему принадлежащее, на «непротивление злу», он приписал Алексею Толстому⁴. Наоборот, одна смешная баллада, ходившая по рукам под именем Владимира Соловьева, оказалась впоследствии произведением А. А. Столыпина⁵.

Загуляев осторожно переменял разговор, наводя Соловьева на мистические темы. Совершенно не зная Загуляева, я не имею понятия о том, был ли он вообще мистиком, но в этот вечер он говорил, как убежденный супернатуралист, горячо соглашался со спиритами, поминал о таинственных предчувствиях... Соловьев слушал, опустил голову, потом вдруг сказал:

— Удивительная вещь! Со мной бывало много загадочных странностей. Но если они бывали, то всегда грубые, резкие, ошеломляющие. Чудес по мелочам, которыми спириты утешаются, я не знаю. А впрочем, может быть, просто не замечаю? В жизни так много проходит незамеченным... Тело, громко кричащее тело отвлекает от подробностей жизни духа, вуалирует его глубины. Я знал монаха: самоистязатель был, подвижник, постник. Заболел он сильно, желудок стал плохо варить, запоры пошли — иннок рад: измощдусь, верит, еще больше, — и удостоюсь видений. А фельдшер, который к нему временами ходил, взял да и угостил его слабительным... Ну что после того монах не имел видений, это по-

нятно, — самое верное против них средство! А вот что он потом уже и не захотел их иметь и, хотя продолжал быть очень порядочным монахом, но изнурять себя более не пожелал и повел свою плотскую жизнь очень нормально, — вот это удивительно. Тело одолело, заслонило душе дорогу к экстазу...

Тогда много говорил о деле Скитских⁶. Соловьеву очень нравилось «литературное дознание», произведенное по этому делу Дорошевичем⁷ для газеты «Россия». Разговор, коснувшись кровавой темы, перешел на преступления конца века, в которых так часто и так страшно смерть и сладострастие братаются между собой, на «карамазовщину» новой культуры. Между прочим, Загуляев напомнил ходячий анекдот о давно уже умершем знаменитом русском писателе, человеке нервном до эпилептических припадков, который однажды в половом аффекте будто бы совершил отвратительное насилие над малолетней нищенкой и, затем, в покаянном порыве, пришел неожиданно к своему злейшему врагу, тоже знаменитому писателю, и казнил себя, рассказывая ему свой ужасный поступок⁸.

— Я не верю, что было так, — сказал Соловьев, — но, конечно, могло быть так. Он в последние годы жизни был именно в таком душевном состоянии, когда человек не свой, а владеют им либо Бог, либо дьявол. Либо экстаз серафический, либо экстаз inferнальный. Враг его, от кого узнана была вся история, любил прихвастнуть, измыслить, — однако не столь же злые вещи. Я думаю, что великий писатель действительно был у него и каялся. Но это не значит еще, чтобы он действительно сделал то, в чем каялся. Бывают помышления, которые приобретают для человека реальность как бы свершившихся фактов. Недаром же Христос говорил, что половые помышления такой же реальный грех, как и половые деяния. И я думаю, что с таким-то помышлением, создавшим яркую галлюцинацию, мы в данном случае имеем дело... А впрочем, — вздохнув, отуманился он, — чего не бывает на свете...

Затем между ним и Загуляевым опять завязался спиритический спор, — М. А. спиритов отстаивал, Соловьев относился к ним весьма скептически, с насмешкой и нелюбовью. Я в этих вещах не знаток и не любитель; мне стало скучно, и когда часы пробили одиннадцать — время ехать в редакцию, читать номер, — я отклонялся и ушел.

* * *

Заметка о лекции.

Вл. С. Соловьев прочитал в Думе лекцию о конце мира⁹, во время которой кто-то свалился со стула. Публика и газеты думали, что со страха перед антихристом. Но свалившийся протестовал в газетах, уверяя, будто Соловьев просто навел на него дремоту, и, опасаясь заснуть так, что потом и светопредставление не разбудит, он стал возиться на своем стуле; думский стул неравной борьбы не выдержал, и — случилось как раз то происшествие, о коем поется в детской песенке:

**Стул подломился,
Король покатился...**

Человек, охочий сближать великое со смешным, может много наострить на тему этого неожиданного совпадения, помянув и о горячем учителе истории из «Ревизора», и об Александре Македонском, и об убытке казны, и, наконец, даже просто о чёрте в стуле, которого Вл. С. Соловьев сулил присутствующим до тех пор, пока черт не возгордился и не начал въявь безобразничать. Одна духовная особа, присутствующая на лекции Соловьева, так, по крайней мере, и объяснила странное крушение стула, которым началось мировое крушение, — громогласно возвопив, когда оно свершилось:

— Вот что значит все обо антихристе да об антихристе... Договорились!!!

Конец мира, однако, за концом думского стула не воследовал; не пришел и антихрист, а пришел думский сторож, подобрал и унес бранные останки зло-

получного стула, заменив его другим. Инцидент со светопреставлением, стало быть, действительно, был исчерпан только тем, что

**Стул подломился,
Король покатился...**

Кстати, не так давно, роюсь в старых журналах, я нашел смешное указание, что когда представлен был в цензуру сборник русских песен Киреевского¹⁰, то из-за двух этих стишков детского лепета книга чуть-чуть не была задержана: цензор из разряда Загорецких нашел их опасными для престижа высшей власти. Вопрос восходил по инстанциям до шефа жандармов, — и лишь этот всемогущий человек дореформенной России, по зрелом размышлении, нашел себя вправе дозволить королям иметь плохие стулья и сваливаться с них иной раз, как случается свалиться обыкновенному смертному.

Теперь — два слова о «черте в стуле», которого насулил Вл. С. Соловьев.

Я не знаю, скоро ли кончится мир, как предсказывает Соловьев, и по тому ли церемониалу. Этой хорошей старой машине часто пророчили крушение, а она все живет и работает, даже и не думая уставать. Пламенный творческий дух, который некогда ослепил сиянием своим мудрого Фауста в его профессорской келье, покуда, как будто, еще нигде не дремлет и вовсе не походит на господина, готового от зевоты свалиться со стула.

**In Lebensfluthen im Thatensturm
Wall, ich auf und ab
Webe hin und her!
Geburt und Grab,
Ein ewiges Meer,
Ein wechselnd Weben,
Ein gl uhend Leben,
So schaff'ich am sausenden Webstuhl, der Zeit,
Und wirke der Gottheit lebendiges Kleid.***

Но, если бесконечен мир, то, несомненно, наоборот, конечны цивилизации, существующие в мире и управляющие, до известной степени, судьбами, если не всего мира, то весьма значительной его части. Цивилизация есть стремление человечества к божеству. Начиная с полужверского, дикого состояния, все известные доселе исторические цивилизации росли, развивались и множились до тех пор, пока не достигали во внешних формах и проявлениях своих, действительно, почти божественной мощи и изящества. И, став на эту дивную высоту, все цивилизации начинали смутно сознавать, что никогда еще божество, то есть идеал мудрости, справедливости и любви, не было так далеко от мира, как в эту минуту, когда она, цивилизация, пройдя ряд вековых усилий и испытаний, по-видимому, торжествует над миром. Это — момент перелома, после которого для цивилизации начинается период умирания. Она долго и упорно борется за свое существование, за свою правоту, но ее неумолимо разлагают самонедовольство верхних общественных слоев и старые, но вечно юные, неизменные со дня рождения человечества, идеи божественной мудрости, справедливости и любви, ко-

* Я в буре деяний, в житейских волнах,
В огне, в воде,
Всегда, везде,
В извечной смене
Смертей и рождений.
Я — океан,
И зыбь развитья,
И ткацкий стан
С волшебной нитью,
Где, времени кинув сквозную канву,
Живую одежду я тку божеству.¹¹ (Пер. с нем. Б. Пастернака)

торые, как забытые слова, выплывают откуда-то со дна и с упреком стучатся в лучшие умы смертельно заболевшей цивилизации. Смутное предчувствие говорит им: «мы кончаемся» — за триста — четыреста лет до действительного конца. И они думают, что конец их — в то же время конец всего видимого мира, потому что они не в состоянии представить себе, что мир может существовать в реальности на иных основах, чем они сами существовали. Им хочется думать, что он умрет с ними вместе и воскреснет уже преображенным призраком прежнего мира, в котором человек из естества своего сохранит начало цивилизующее, то есть приближающее к божеству — дух, — но не останется у него начала, борьба с которыми и составляет предмет цивилизации и зловредному влиянию коего приписывается отдаление от божества — плоти. И мистически настроенная фантазия рисует им мощные образы грядущего переворота, как он начнется, свершится и перейдет в примирение человека с божеством. Это — эпоха покаяния цивилизации, эпоха предчувствий казни за попытку выстроить башню до небес и стать подобными богам, ведающим чрез запретный плод, что есть добро и зло.

Люди, любящие старую цивилизацию, трепещут, создавая пессимистические системы; люди, воскресившие в душах своих вечный божественный идеал, чают разрушения старой цивилизации, как духовной революции, долженствующей создать новый мир. Властителями умов, двигателями литературы становятся: сатирико-философский этюд — как прощание с прошлым, и апокалипсис — как завет грядущего.

Вл. С. Соловьев, — несомненно, один из тех мистических умов, которые инстинктом чувствуют, что наша пятнадцативековая культура, самозванно величающая себя христианской, дошла в своем развитии приблизительно до такого же переломного предела, какой, например, в пятидесятых — восьмидесятых годах первого века нашей эры пережила античная культура греко-римского мира. И ему захотелось написать апокалипсис, подобный тем, которые во множестве писались в сказанное время. Наше общество, хотя и христианское, Новый Завет знает плохо, — ведь и к Евангелию-то больше Толстой повернул в последние годы! — и этим объясняется, что лекция г. Соловьева произвела на Петербург впечатление какой-то отвлеченной поэтической фантазии, почти мистификации. Я не был на чтении и знаю о нем лишь по газетным отчетам. Но и из них видно, что г. Соловьев возвещал миру, если не «Откровение Иоанново», то другой апокалипсис, значением и качеством пониже — вроде «Книги Эноха», «Успения Моисеева» и т. п. Все эти разговоры об антихристе, маге Аполлонии (даже имени-то г. Соловьев не подновил) и т. д., включительно до провала воинства антихристов в тартарары и появления Христа в отверзтом небе — перепев своими словами от 12 главы «Откровения» включительно до первого стиха главы 21-й: «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря нет». Фантазия г. Соловьева — не его собственная, а взятая напрокат у южан Иудеи и Сирии, чавявших 1850 лет тому назад гибели старого Рима и старого Иерусалима для того, чтобы создать новый Рим и грезить о новом полудуховном Иерусалиме. Прологом к новому Иерусалиму завершает свою фантазию и г. Соловьев. Ибо, когда антихрист провалился, а Христос пришел с победой вновь на землю, чему же учредиться на последней, как не тому millennium, блаженному тысячелетию полудуховного, полуплотского царствия Христа на земле, о котором мечтали Ириной Лионский, Юстин Философ, Лактанций?¹²

Но если фантазия Вл. С. Соловьева не северного производства, а южного замещения, то, с другой стороны, по условиям своего произвольного появления в свете, фантазия эта несравненно более сродни сказкам, бесцельно и свободно рождающимся в праздном уме красиво мыслящего поэта, чем осмысленному и целесообразному созданию апокалипсисов. Если апокалипсис — пророчество для будущего, то для настоящего и прошедшего он — религиозное обличение. Автор «Откровения» видел живого антихриста — великолепного Цезаря Нерона — и твердо верил, что он антихрист, «зверь из бездны», число которого — 666 или, по другим спискам, 616 — криптограмма сврейского начертания Gaesar Nero. Он видел казни христиан, пожар Рима, революцию в Иудее, ужасы

междоусобицы, предчувствовал неминуемую гибель Иерусалима, также, как мы, сочувствуя бурам, конечно, предвидим, что Трансвааль будет раздавлен англичанами, — и эта реальная основа дала глубокую силу и многозначительность его аллегориям. Вл. С. Соловьев «фантазирует в воздухе»... Он не видел ни живого антихриста, ни волхва и лжепророка его и сочиняет их из собственной головы. Поэтому, вместо грозных, стихийных апокалиптических образов, на два тысячелетия неизгладимо запечатлевшихся в памяти человечества, у г. Соловьева антихрист вышел просто недурным из себя, образованным, честолюбивым и самодовольным литератором, лет 33-х, а состоящий при нем Симон-волхв, alias* маг Аполлоний — профессор белой и черной магии и специалистом гипнотических внушений. Это — Сигма¹³ и Осип Фельдман¹⁴, а вовсе не антихрист с лжепророком его.

Г. Соловьев играл в воздушные фигуры и, вследствие того, лекция его потеряла целесообразность и практическую обоснованность. «Как ветер, песнь его свободна, зато, как ветер, и бесплодна». Эта игра в умственный лаун-теннис, а не откровение. Чтобы сделать соус из зайца, надо прежде всего иметь зайца, — чтобы писать трактаты об антихристе, надо исторически обзавестись антихристом. Но — всемирная история покуда не создает такового, и не Чемберлена же с Родсом¹⁵ жаловать в антихристы. Это для них чести много! Скажут: антихриста нет перед антихристом. Ну, вряд ли. Проповедь так называемого «сверхчеловечества», которой завершилась наша мнимо-христианская цивилизация, — конечно, антихристова проповедь. Но для того, чтобы явиться ее практическим осуществителем, будущему антихристу не хватит еще надолго того огромного фактора, который так легко превратил в антихриста Нерона¹⁶: единства цивилизации в мире и единой власти ее именем. Сейчас нету властителей мира, и вряд ли они могут быть. Россия, Англия, Китай владеют гораздо большими земельными пространствами, чем владела Римская империя, но — владеют не безапелляционно, а в строгой политической условности взаимных интересов и культур. Если появится антихрист в Англии, он еще не будет повелительным антихристом для России, а разве лишь явится для какой-нибудь кучки русских англоманов антихристом, так сказать, совещательным. Если же, паче чаяния и — сохрани Бог! — антихрист родится «от семи дев» в пределах Российской Империи, то будем уповать, что гнилой Запад не примет его уже из одной зависти и ненависти к нашей «самобытности». Так что мы останемся при своем антихристе, а Западу придется обзавестись своим. А вернее, своими, ибо сомнительно, чтобы, например, антихрист немецкий мог приобрести популярность во Франции, а антихрист-француз — у пруссаков. А раз пойдет на антихристов такая конкуренция, то, авось, и дело кончится благополучно, без светопреставления. Просто — как твари злобные и сверхчеловеческие — антихристы антихристов слопают, и останутся от них одни хвосты, каковые невозбранно¹ будет поместить на память и почтение потомству в петербургскую кунсткамеру или парижский музей Клоуни.

Антихрист есть единство царства плоти, противопоставленного царству духа, царству Божию. А быть может, единственный успех, достигнутый новой цивилизацией после падения старой, античной, — что царство плоти, царство от мира сего, раздробилось на сотни тел, бессильных сомкнуться общим походом на царство духа, которое пребывает все то же единое, вечное, непоколебимое, цельное... Антихрист — единая мировая монархия, единая бездушная наука, единая плотская власть над землею. Эта власть стала невозможной, едва цивилизовалась пятая доля земного шара. Даже раздробясь на семь-восемь мощных властей, не считая десятков маленьких, она не в состоянии управиться уже с тем, что у нее есть. Быть может, будущность нашей истории совсем не в огромных единовластных государствах, но в союзных федерациях, в какие выродилась под конец своего существования Римская империя и к которым придется вернуться. Но это — улитка едет, когда-то будет! И вряд ли на борзом коне, а не именно на такой долго едущей улите ползет к нам и соловьевский антихрист.

* в другой раз, в другое время (лат.).

Печатается по изданию: Амфитеатров А. В. Литературный альбом. СПб., 1904, с. 277—295.

¹ М. А. Загуляев (1834—1900) — журналист и писатель.

² Вл. Соловьев, «Эпитафия» (1892). Амфитеатров цитирует неточно.

³ В настоящее время печатается среди стихотворений, приписываемых Соловьеву.

⁴ А. К. Толстой, «Великодушные смягчают сердца».

⁵ А. А. Столыпин, «Пан Зноско» (1890-е годы).

⁶ Братья Скитские в 1899 г. были несправедливо осуждены полтавским судом. В. М. Дорошевич предпринял частное расследование по данному делу, установил несправедливость приговора и добился его отмены.

⁷ В. М. Дорошевич (1864—1922) — писатель и журналист, прозванный «королем русского фельетона».

⁸ Историю этой клеветы исследовал и убедительно опроверг ее В. Н. Захаров в своей книге «Проблемы изучения Достоевского» (Петрозаводск, 1978, с. 75—109).

⁹ Публичное чтение «Краткой повести об антихристе», вошедшей в «Три разговора о войне, прогрессе и конце всемирной истории» состоялось в Москве в начале марта 1900 г. и вызвало бурную, в основном негативную реакцию. Человеком, упавшим во время чтения со стула, был философ и публицист В. В. Розанов (1856—1919).

¹⁰ Собрание народных песен фольклориста, археолога и публициста-славянофила П. В. Киреевского (1808—1856).

¹¹ И. В. Гете, «Фауст», часть 1.

¹² Ириней Лионский (ок. 130 — ок. 202) и Юстин (ок. 132 — ок. 167) — раннехристианские апологеты, святые отцы церкви, мученически погибшие во время гонений на христиан. Лактанций (ок. 250 — ок. 330) — христианский ритор и писатель, апологет, церковный идеолог империи Константина.

¹³ Сигма — (псевдоним Сыромятникова С. Н.; писал также под псевдонимом «С. Норманский») (1860—1934) — писатель и критик, публицист консервативного лагеря.

¹⁴ О. Фельдман — публицист и журналист.

¹⁵ Д. Чемберлен (1836—1914) — министр колоний Великобритании (1895—1903). С. Д. Родс (1853—1902) — политический деятель, прозванный «отцом британской колониальной империи», один из инициаторов англо-бурской войны.

*Вступительная заметка, публикация
и примечания В. Э. Молодякова*

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Алексей КОРОЛЕВ

ДАБЫ ОБЪЕДИНИТЬСЯ, НАДО РАЗМЕЖЕВАТЬСЯ...

Словно за горло взяв их
и в порошок стерев их,
левые кроют правых,
правые кроют левых.

Изобличают смело,
точно вонзают жало...
Некому делать дело
в гильдии нашей стало.

Господи, сколько злобы!
Слушаешь — вянут уши.
Некуда стало пробы
ставить на наши души.

Кто от царя Гороха,
кто от царя Давида —
жуткого ждут подвоха
вплоть до апартеида.

Дабы объединиться,
надо размежеваться...
Или посторониться,
чтобы не гужеваться.

ИЗ ДНЕВНИКА

Когда в оконное стекло
внимательно людей
разглядываю — как назло:
плебей, плебей, плебей.

Покуда не разбил никто
оконного стекла,
я ненавижу их за то,
что я из их числа.

ЭЛЕГИЯ

Представьте себе: в лесопарковой зоне аллея,
сияет ледок целомудренно и первозданно,
а крона осины подобна комете Галлея,
и вы никуда не спешите, как это ни странно.

Скорее всего, потому что уже опоздали,
а в случае лучшем, задолго пришли до призыва,—
зато побывали у осени на биеннале,
по утренним лужам фланируя неторопливо.

Ледок под ногой — музыкальнее сопровожденья,
чем дребезг и хруст, невозможно себе и представить...
Работаю на побегушках у воображенья,
а то почему бы компанию вам не составить.

Не по темпераменту мне ампула ротозея,
а то почему бы и не прогуляться по парку,
на желтые листья и синее небо глаза
и радуясь каждому ракурсу точно подарку.

Блажен приглашенный на роль созерцателя в драме,
где редкий поступок сойдет за благое деянье,
а я нахожусь в оркестровой, но все-таки яме,
и мне загляденье — не более чем подаянье.

По кустикам куцым скользя неприкаянным взглядом,
такой аргумент нахожу не достаточно веским,—
ах, в том-то и дело, что нет собеседника рядом,
приветливым словом — и то перекинуться не с кем.

Сказать, например, что не так различаются сроки,
как скорости жизни, что радужней нет наважденья,
чем время, когда мы немолоды и одиноки...
А кстати, вы сорок которого года рожденья?

* * *

С иголки обновы хороша,
как в Марбурге — от пяток до затылка,
а обветшав, не стоит ни гроша...
Не по нутру мне эта предпосылка!

На что уж троп затрепанный — душа,
а мы его употребляем пылко:
так воодушевляет алкаша
сознание, что спрятана бутылка

на черный день. Но о каком из дней
не скажешь, что грядет еще черней,—
так стоит ли испытывать терпенье!
Но если уж надежда на спасенье
припрятана, не прикасайся к ней,—
успение еще не воскресенье...

* * *

С тобою скорее все его в дураках
останемся вместе
Одни выкрутасы у нас на руках,
а козыри — крести.

Заблудимся в тщательной внутренней тьме,—
недолгие блики
да зайчики солнечные на уме,
а козыри — пики.

Вотремся в доверие к сорной траве
и лиственной вязи,
одно вдохновенье у нас в рукаве,
а козыри — связи.

Отпраздновать черный и считанный час,
в какую трубу дни
и годы ни ухнули, станется с нас,
а козыри — будни.

И все же игра эта стоит огня
и доброго слова.
Лишь ты да она за душой у меня —
всего и святого...

* * *

Действительность не веселит,
любая выдумка постыла!
Во всем, что очевидно было,
сомнения обходят с тыла,
сгибает тяготенья сила
в оглоблю, как радикулит.

А на дорогу вышел было —
в оправе из бетонных плит
звезда над головой горит, —
ну, думаю...

Не тут-то было,
увы, и этот козырь бит:
ведь ладно бы — не говорит,
не делала хотя бы вид,
что никогда не говорила.

* * *

Как лошадь, память пала.
Зализывает след
поземка. Силуэт
расплылся — и не стало.

На все лады воспет
и проклят белый свет,—
с лихвою было бед
и радостей хватало.

Судьба сошла на нет,
и клавиша запала,
но лампа вполнакала
в окне полуподвала
сияла от начала
и до скончания лет.

ФРАГМЕНТ

...Одни отправились в изгнание,
где горек хлеб, а ладан сладок,
пока не выпадет в осадок
последнее воспоминанье.

А те, кто сказку делал былью,
врасплох захваченные страхом,
сначала становились пылью,
потом оказывались прахом.

ALTER EGO

Герой лирический
согласно
традиции почтенной — хошь
не хошь, а против не попрешь —
относится подобострастно
к особе собственной.

Ведешь
себя, лирический мой кореш,
ни дать ни взять, как нуворишь:
что вышел в люди, говоришь
со вкусом, точно помидор ешь;
как в отрочестве, духаришь,
как в юности, горячку порсишь —
и, подрывая мой престиж,
словами вескими сористишь,
самхватишься которых вскоре ж.

Хотя ты — вымысел всего лишь,
я — твой прообраз — только лишь
подумаю: — ну нет, шалишь! —
и карты выложу на стол... «Ишь, —
услышу, — ведь не в главной роли ж,
на заднем плане, а поди ж,
туда же...» Ты позолотишь
пилюлю, если обездолишь,
но вкусу удовлетворишь
взыскательному,
я же — шиш.

* * *

Это не опус, а попросту пост-
скриптус: кренится тесовый помост —
палуба обетованной галереи;
судя по расположению звезд,
прямо по курсу галеры — погост,
слева по борту — фиорды и шхеры,
справа — астральные норы и сферы,
а за кормою вздымаются в рост
веры, любви и надежды химеры,
а у кормила профан и прохвост
ратуют за радикальные меры...

Олег ПАВЛОВ

ЗАПИСКИ ИЗ-ПОД САПОГА

ЛЕПОТА

Не сыскать заветней земли для конвойного на карагандинке, чем Долинка! То-то и позавидовали полковые по-хорошему Саньке Стрешневу, узнав, что отправляют его туда из полка служить за невесту какие заслуги.

Прослыл тогда Санька Стрешнев среди конвойников везунчиком. И говорили о нем, что в Долинке заживет сыто, весело и не будет это счастье дармовое пота ему и крови стоить.

И кто из конвойников о жизни такой, зажмурившись, не помечтал бы, ведь в Долинке на день по кружке молока положено было, по черпаку густого творога, и хлеб белый к пайке давали — не чета полковому-то сермяжному. Ремней тугих солдаты в Долинке не носили, чтобы отъевшееся брюхо для своего удовольствия обвиснуть могло. И на вышках спали, ладони под головы заложив, чтобы сны сладкие видеть.

Счастливо конвойным в Долинке! А все потому, что зеков на эту исправилку за тем лишь гнали, чтобы умерли от чахотки. И вся служба солдатская была — гробы ихние из кузова в кузовок ворочать. Тяжесть мирскую из себя с чахоткой выхаркав, помершие были легки. Одни гробы казенные и вышибали на солдатском лбу испарину, стерев которую, конвойник от души накуривался папиросами, валился тягуче наземь и разлеживался с ленью, покуда не отходил на больничных нарах другой зек.

Кормили солдат из больничной столовой, где чахоточным молоко с творогом полагалось. Зеки же мерли, а кто не помер — тот с жизнью прощался и молока не пил, чтобы не тратить остаток ее на пустое. Им на небе скоро всего вдоволь будет. Они больше в окна из больницы глядели и плакали, а молоко с творогом солдатам относилось. Ведь прокиснет — все одно, что умрет. И никто уже не выпьет и не покушает мертвого. Досадно все же... С зеками ничего не попишешь, а молоко? Оно же для того, чтобы пили, а не для того, чтобы портиться, пусть и было завещано чахоточным, как два аршина...

Эх, подвалило счастье Саньке Стрешневу! Лепота! И гробов не таскать — до ефрейторов выслужился.

Хотя с гробами управляешься без той мороки, какая случается с живыми. Тут и широгу шага выбираешь по душе. И укладываешь в грузовик, как сам пожелаешь. С живыми же иначе все. И овчарки хрипатки пообрывают, покуда высыпешь из кузовов разомлевших от вольной еды зеков. А бывает, что и срыгнет, который послабже, на гимнастерку или вычищенный сапог, и чуть ли не плачет конвойник.

Потому с гробами проще. И поопрятней зеков они, и смолою пахнут, будто в лесу гуляешь. И не грустно так, как бывает, когда прибывает на больничку этап с чахоточными: плачут они и на землю от слабости падают, а на это жалко глядеть. И еще жалко зеков живыми видеть, потому что они мертвыми в гробах будут лежать. А ты же их будешь ворочать — из кузова в кузов.

Может, потому и выбился Стрешнев в ефрейторы, чтобы грустил и жалел? Он же с мертвыми теперь не знает. Он живых под заботу берет и до ворот лагерных, как старший среди солдат по чину, провожает.

Но мало зеков в Долинке осталось. И скучает Санька. И рота конвойная скучает с ним заодно. Ждут солдатики этапа. С этапом прибавится живых. И мертвых, на которых положены к пайке молока, творог и ломоть белого хлеба.

Этапирование на чахоточный лагерь начинается, будто половодье, весной. За зиму чахотка до смерти измучает человека, а к весне мертвая ее хватка станет как будто слабей. К тому же пригреет солнце — и потают холодные снега, потеплеют ветры. Иной и порадуетя. Подумает, что выдюжил, что хвороба отступила, что вот уж и весна, что летом так и вовсе наберется силы. И только немногие, кому довелось пережить зимние холода, знают, что приговорены к смерти.

Что и легче стало потому, что чахотка последнее здоровье сожрала. Что и отпустила она, потому как незачем уж дохлятину рвать и душить кашлями. А догубит и отпоет весна — без умысла, молодой и слепой своей силой. Как если бы беспечно перевязки с израненного сорвала, а кровь бы из незаживших ран вытекла.

Только потает снег, и разбухнет от влаги снеговой земля, как поднимется сырой дух. А тепло-то весеннее — нестойкое, раннее. Вот и свежо вокруг, и морочат запахи. Но если вдохнешь глубоко, то будет тебе за надежду обман. Будет вечный сон. Ведь гибельным и последним цветом своим расцветет в груди и чахотка. Ах, и легкость, паренье светлое, и свежесть, и покой... Кто бы догадался, что такой смерть и приходит.

Этапы на Долинку собирались в пересылочной тюрьме, куда зеков пересылали по больничным направлениям рабочие лагеря карагандинки. Весной, когда прорастала озимая чахотка, зеки в пересылочной долго не задерживались. До требуемых этапов чисел они собирались в три—четыре дня, то есть сразу. Тюремному конвою не было охоты оборачиваться из тюрьмы в Долинку по несколько ездки. Ведь и дорога неблизкая и хлопотная — по разбитым распутицей степям. Потому крытые, окованные железом машины забивались под завязку. Бывало, что человек до двадцати втискивали в кузов автозак^{*}. А если зеки не ужимались, то травили ихнего брата овчарками — тогда в кузове с потом и кровью высвобождалось нужное место.

О прибытии этого первого весеннего этапа долинский лагерь был предупрежден заранее. Готовилась принять чахотку больница. Готовилась и лагерная охрана. Ожидание этапа будто взбудрило солдат. То есть, была и весна, и всякое такое настроение. Но этап — это этап. Весны ведь не надобно ждать, она сама приходит. От этого иногда и скучно бывает, вот что. А ждать автозак, ждать чахотку, ждать знакомцев из тюремного путевого конвоя — куда веселей.

В прошлый этап Санька Стрешнев наменял у зеков много разного добра. Расчески, очковые оправы и нательные серебряные крестики. И еще фотка ему досталась красивой женщины. Домашняя. Женщина в халатике на кровати лежала. Эту фотку он из жалости взял. Сходу, за стакан водки. Уж больно зек упрашивал. Хотя она Стрешневу и не была особо нужна. Так только — поглядишь, потешишься и переложешь из кармана в карман. Были зеки, что за водку и зубы золотые предлагали. Но Санька чахотки от зубов боялся и даже в руках для пробы не держал.

В этот же этап он очень хотел выменять ножичек с тремя лезвиями. И важно было успеть к ножичку прежде других. Желających до такой тонкой вещицы среди солдат много. День, два — и зеков обернут подчистую. А потом ищи-свищи. Или у своего на большее выменивай. А на что?

Фотки и даром не надо никому, ведь и сам Стрешнев из жалости взял. Крестики же нательные, пускай и серебро, но кто возьмет, если зубов золотых навалом. Один Санька зубы брать боялся, тогда как остальные брали. И уж дела им нет до серебра.

Так что надобно ножичек нахрапом брать. А тут еще и поручил начальник лагерной охраны, чтобы Стрешнев по прибытию этапа за выгрузкой следил. Эх, лепота! За это и везунчиком прозывался...

Утром из полка точно сообщили, что на Долинку вышел этап. Начальник охраны сказал Стрешневу, чтобы выбрал себе в помощь из личного состава солдат. Стрешнев ухмыльнулся и взял четырех узбеков. Они по-нашему ведь говорят плохо, не смогут с ножичком обогнать.

* Автозак (жаргонизм) — автомобиль по перевозке заключенных (АвтоЗК).

И с утра их освободили от общей службы. Думали, что скоро прибудет этап. Но до полудня Санька без толку шатался по караулке. А то выйдет в степь и устало на дорогу глядит: не едут ли.

Снег на вершинах сопок стоял. А по склонам и ложбинам лежал, будто ключья шерсти из облезшей шкуры.

Поутру солнце невысоко поднялось над землей, но вот к полудню его уж и не было видно. Будто растворилось, замутив небо. Чем ближе была степь, тем прозрачней. И всякую малость примечал глаз. И пучок сохлой травы, растрепанной ветром, и то, как по разбитой хлябью дороге от ветра же расходится зыбь.

Исхолодавши на степном ветру, Стрешнев потом пил с узбеками горячий чай в столовом помещении. Этапа и ждать перестали. Но послышалось завывание моторов. Начальник охраны зашел в помещение в плащевой накидке. И сказал, что с неба немножко падает дождь.

Стрешнев поглядел в окно, там как-то быстро смеркалось. Они вооружились и вышли на караульный двор. Дождь и вправду накрапывал, а небо заволокло. Узбеки не отставали от Стрешнева ни на шаг и стояли неподвижно, когда за какой-то надобностью останавливался и он. Из собачьего сарая, расположенного в глубине двора, вывели овчарок. Покуда дожидались начальника охраны, они улеглись брюхами в холодную грязь. И задрожали, поскуливая. Ефрейтора тогда же зазнобило самого, и он закурил, пряча папиросу в кулаке от дождя.

— Ну, чего вывалили? — ворчал, появившись, начальник. — Глядишь, шкуры не казенные. Одно, что измокнем зря. Давай в караулку! Вон смурота какая...

У лагерных ворот прозябали два прапорщика из больничной охраны. И несколько санитаров из безконвойных зечков. Солдаты перебрались со двора на их сторону. Ворота были распахнуты, будто их никогда не запирали. Ветер скрипуче створы качал. Дождь то был, то не был. Тошнота одна. Он как будто и падал с неба, но до земли не долетал. И у Стрешнева папироса сырой стала. Он ее растоптал, когда первый автозак уперся в надолбы у подъезда, а потом боком к нему притерся и второй.

Поначалу из автозакон вылезли шоферы и прапорщики. Один из них, начальник конвоя, стал глядеть на небо, будто давно не видел его. И матерился, что пасмурное. Потом обматерил вместе с Долинкой начальника лагерной охраны. И Стрешнева за то, что ефрейтор не отдал честь. Шоферы были узбеками и пристали к своим землякам из охраны. Стрешнев приладил к ним и стал расспрашивать, отчего конвой так долго был в пути. Шоферы сказали, что застревали в распутице, что глохли под дождем моторы и что зекон выгоняли вытаскивать машины из грязи. А чахотка дожлая попалась, так что повозились ей-ей, покуда тронулись. А на одной западине пришлось час барахтаться. Зеки и конвой вымокли насквозь. А несколько зекон, ведь, и с ног повалились. Может, что и живыми не довели.

А Стрешнев все не верил, что рядом настоящий дождь. У них-то такого дождя не было. Тогда шоферы смеялись и на глазах выжимали воду из шинелок. А еще тыкали пальцами в край земли, дескать, вот там из дождя вырвались.

Потом из кузовов вывалил путевой конвой. Лица солдат были грязными, а сапоги залеплены по голенища. Нестройным рядом они растянулись подле автозакон, закуривая и дожидаясь передачи. Стрешнев же с узбеками за воротами встал. Овчаркам приспустили поводья, чтобы страшнее было. И ведь твари они, а по местам, будто солдаты, разошлись — буднично, зло и неспешно.

Когда из автозакон погнали заключенных, овчарки залаяли. Стрешнев оглядывал прибывших, думал о том, что вот погода все испоганила. И хотя в под сумке был для обмена табак с чаем, но что уж с ними поделаешь. Зеки тащили машины из распутицы и до смерти уморились, так что и языка не вяжут. Еле еле ровняют их овчарками в ряды, серых и старых. Молодых, которым и было что менять, маловато в этапе. Стрешнев заметил одного, потому что он как-то живо округу разглядывал. Такому легкие или отбили, или выстудили в штрафной камере. То есть, чахотка его через волю взяла. Ведь и сразу видно, что живой, что подыхать не согласный.

Захотелось быстрее в караулку — греться и допивать чай. Этап пришел, а чего дождался? Не пришел бы, так и меньше было бы маяты.

— Заводи! — прокричал рядом начальник. — И санитаров живей с носилками. Тут лежачие.

Зеки загудели и ряд за рядом схлынули с этапного отстойника на широкую каменную дорогу, какая была оторочена кручением из колючей проволоки и вела к больничному подворью.

— Ща в бане будут париться, блядюги... — переговаривался конвой. — Скоро ли ехать? Дорога, что дерьмо, — всюду вязнешь. Треба зараз з товарищем прапорщиком поразмовлять, нехай накаже, шоб швидко ихали.

Начальник путевого конвоя накрикнул на своих:

— Чего, суки, бродите? Залазь по машинам...

— Там лежачие, не вынесли еще.

— Ишь ты, лежачие, а ну тащи их за шиворот!

Конвой же не хотел мараться. Ждали санитаров. Стрешнев ослабился. И когда явились зеки с носилками, то уж узбеков созывать стал, чтобы восвосяи побыстрее убраться. А начальник охраны, умаянный, выговаривать стал:

— Ты на службе, ефрейтор, а не на гулянке. Так и жди моего приказа...

Носилок было двое. И двоих зеков из кузова выволокли. Солдаты же из путевого конвоя гаркнули на санитаров, чтоб и оставшегося выволакивали.

— А куда же покласть?

— На землю, — глядишь, и не развалится... А воротитесь, то заберете.

И третьего из автозака вынесли, на землю сложив. Тогда же в кузова полпелся конвой, от ветра и холода прячась. Стрешнев распроцался походя с теми солдатами, кого по службе помнил. А когда санитары в больницу с носилками потрусили, то остался подле последнего чахоточного стоять.

И так ему чудно было, что чахоточный на земле лежит, тогда как другие по ней сапогами ходят. А начальники рядом свару затеяли, будто воробьи из-за зернышка. Прапорщик путевого конвоя просился у начальника лагерной охраны, чтобы он тут же расписался за прибывших. Дескать, доставили зеков по месту заключения и все такое. Но тот заупрямился по пустяку. Пускай, говорит, последнего подберут. Я, говорит, в службе люблю порядок.

Так они поссорились, но тут же собрались заодно, чтобы похлепать в караулке чаю. А Стрешневу указано было дожидаться санитаров и сообщить, как уволок зека в лагерь.

До больнички санитарам с носилками немного было пути. Но особо не будут гнать. А Стрешнева зло взяло, что расползлись все по теплым местам, а он тут над чахоткой стоит. Хотя и сам узбеков от себя не отпускал. Отпуск был дан лишь овчаркам. А узбеки-то подле него, как истуканы замороженные, стояли.

— Кеты ма? * — скажет глухо один. А другие понурили головы, молчат, будто оглохли.

Зек же на земле лежал. Стрешнев на него поэтому глядел, как на землю. Дышит. Постанывает. И вдруг открыл глаза... Так ведь открыл глаза, а увидел — небо. Дыхание перехватило. Задрожал. А потом покосился тихонько на Стрешнева.

— А-а-а-а... — протянул, будто что-то понял.

А Стрешнев молчит. Видать, зек-то забредил.

— Солдат? — спрашивает, а сам на небо мимо Стрешнева глядит. — А земля где же?!

— Лежишь ведь на ней. А то, что над тобой, — это небо.

Зек полыбился слабо. И будто бы не верит, будто обманывают его.

— Меня заберут, сынок?

— Заберут. На носилках, батя, прокатишься. А чего это у тебя на шее? Будто крест? Может, на чай сменяешься?

— А, к примеру, есть бог или нет? — проговорил зек, задыхаясь.

— Кто его знает... — сказал Стрешнев, приглядываясь к крестику. — Вроде есть, а вроде и нет. Так сменяешься?

* Пошли? (узбек.)

— Замерзаю я... — простонал старик, и глаза его как-то просияли. А потом закашлялся, да жестоко так, что Санька склонился над ним из жалости. Вот же из такой жалости, из какой не обогреть мог, а пристрелить. То есть даже и замараться против воли кровью. Ведь лежит на сырой земле старик и видом своим мучает..

— Прямо так и замерзаешь, разве так бывает?

— Я человека зарезал, — сказал старик. — Верить?

— А вот крест бережешь, — сказал Стрешнев. И без всякой усмешки сказал, а так, будто было старика за это жалко. И хотел ефрейтор подняться, а зек рукой цепляться стал, то есть скрюченными пальцами.

— Холодно.

— В больничке будет тепло.

— Знаю. Отнеси туда...

— Не-е, уж полежи чуток. Это тебя санитары.

— А не бросят? Ты побудь со мной, тебе вот и крестик надо.

— Что, надумал? — едва обрадовался Стрешнев.

— А не забудешь чей? Кха-кха... Хочу, чтоб обо мне хоть одна душа помнила.

— Ишь ты... А может, и задаром отдашь?

— Кха-кха... Да ведь забудешь...

— Тогда лежи, — сказал Стрешнев и легонько оттолкнул старика.

— Отдам, отдам... Кха-кха-кха... Пригнись, и вот же вложу в руку.

Зек захрипел, и губы его как-то заволновались. Цепляется за Стрешнева, дрожит. И то ли от озноба, то ли подняться силится и тянет Саньку к себе.

— Ближе, ближе... — говорит. — Дай руку!

Надоело Стрешневу подле зека приседать. И ветер по земле поддувает. Тут и громовые раскаты раздаются вдаль, а потом проносятся над головой, от страха голову пригибаешь, будто ей-ей расшибет. Узбеки грома испугались. И боязно так на ефрейтора глядят. Ветер со степей поднялся и, как зверюга голодный, шинелку треплет, урча.

А зек все же приподнялся. За руку санькину схватился. И глядит глаза в глаза. Стрешнев его сбросить хотел, а тот как задышит, задышит... Грудь вот заклочала, будто выдавливает что-то из себя.

Думал Стрешнев, что слово сказать хочет. А ладошку вдруг будто обожгло. Глядь Стрешнев в ладошку-то свою, а там кровавый харчок. И у зека-то рот окровавился. Как выхаркнул чаютку, так и обмяк. И наземь затылком грохнулся. Корча пошла. А у Стрешнева харчок кровавый в ладошке. И он так его боится, что в кулаке сжал. Оттянул руку от себя, будто бы и отрезать лучше, будто чужая она. Побледнел и заплакал.

— Мапочка, мапочка...

А сам не знает, куда деться. Душа врасплох, и ветер душит, то есть дует в ризинутый рот. Тут санитары показались. И Стрешнев кулак от них в шинелку спрятал. Привиделось ему, что будто бы и разглядывают кулак. Хотели они зека класть на носилки, а ведь у того все губы в кровяке. Спихватились. Стали слушать да растрясать, а зек на поверку-то мертв.

— Вроде сдох... — говорит один другому.

— Так ты еще пощупай.

— Не, чего и щупать — точно сдох. Солдат, зови начальников. Скажи — трущеник.

А Стрешнев и рад, что он будто и ни при чем. И так ведь закивал головой примерно, будто он прислугой у зеков и только их распоряжения ждал.

— Товарищ начальник! — орет, не добегая до караула.

И на глаза боится попасться. За чужие спины — шасть. Хорошо, что конвойники из автозаков на мертвого глядеть повылазили, то есть и было за кем попрятаться.

Дождь стал накрапывать — маленько, маленько. А начальники остервенели, от них же расторопка и на солдат нашла. Солдаты, санитары, начальники, врачи из больнички под дождем столпились подле мертвого зека, и кто ни попадая, с кем ни попадая изъясняются, как же с мертвым зеком быть. Чей это зек, выясня-

ют. Конвойные кричат, что они в Долинку живым доставили. А лагерные от мертвого отказываются — не принимают и расписки за доставку не дают.

Сошлись как-то, что давай общую бумагу на него оформим, дескать, сдох он ничейным — и точка. Все согласные были. Но тут новый спор. Кому зек с этой бумагой достанется. То есть, кто его прямо за руки и за ноги возьмет и куда-нибудь сложит.

Конвойные стали кричать, что они его в тюрьме живым забрали и за это расписались, так что и некуда им везти. А лагерные стали кричать, что они зек только живыми принимают, что ведь мертвого и лечить нельзя.

А тут дождь хлынул. Да так, что будто не дождь это, а снежная вьюга. Капли то кружат, то сыплют, то застыт глаза, будто зима вернулась.

А мертвый лежал под дождем, так что с губ его смыло кровяку. И вода капала с неба в отверстый рот, будто он никак не мог напиться, а если и умер, то от жажды. И вот вокруг мертвого-то и заводило свой дикий хоровод ненастье, а он лежал спокойный и недвижимый. Будто вихрящийся дождь и прорывы ветра сквозь дождевой ток и бои грома были его душой. И душа эта металась испуганно над неподвижным телом и билась об него.

Разгоряченное же сборище не расходилось. Но от бессилия начальник конвоя кричал, что всдь пронести до лагеря мертвого проще, чем катать в автозаке по размытым степям. К тем словам он пообещал дать бутылку водки, чтобы за зека расписались. То есть ничего не изменится, — кричал начальник. Пускай он хотя бы одно мгновение побудет как бы живым. А когда распишутся и перенесут за ворота лагерные, то тогда вот как бы по-настоящему и сдохнет.

Охрана, санитары и врачи из больницы вымокли под дождем. Степь лежала, будто освежеванная. Черные кости саксаула торчали из земли. Мутные, буроватые от суглинка потоки стекали в ложбины. А сама земля выворотилась этой нутряной кишкой — рыхлая, нежная и парная.

Покуда начальники уговаривались о двух бутылках, Стрешнев думал о харчке, который был зажат в кулаке, чтобы никто не увидел.

Думал, что надобно его стереть. Что жизнь — говно щенячье. Что харчок चाहоточный в ладошке — верная смерть. Что вот он эту смерть в кулаке зажал, а разжать боится. Что не знает, куда же с чахоткой и деваться.

Потом начальники и администрация больницы на трех бутылках сговорились. Тут же все и разбрелись, а Стрешнев остался стоять потерянный. Он думал, что вот-вот умрет. Санитары уже уложили зека на носилки. И он подергал малость руками и ногами, как живой. А потом одна нога с носилок свесилась и болталась, тоже как живая. Санитары не подобрали ее. А у самых ворот вдруг остановились. И передний захват поменял, чтобы легче нести было.

Начальник закричал на Стрешнева матерными словами, и он поплелся вслед за всеми в караулку. Там начальник приказал раздеться и выжать белье. А Стрешнев в умывальню зашел. Разжал окостеневший кулак, а в ладошке ничего не оказалось. Он ее к лампочке поднес, чтобы разглядеть, значит. А на ладошке только алый следок — даром, что разглядывал под лампочкой. Тогда же он руки стал мылом тереть. А потом об стену, об кирпичную — до крови. И уж ждал своей смерти. Но не знал, как об ней начальнику доложить. Так как он собирался умирать, то белья не выжал и остался в сыром, будто заживо лег в могилу. Потом он чифирил в столовом помещении, а солдаты спрашивали про этап и про то, удалось ли ножичек выменять. Стрешнев похлебывал чифир и молчал, потому как солдаты отчего-то стали ему чужими.

Потом в лагере сменились караулы. И Стрешнев возвратился в казарму, где не отужинал и слег в койку, пожаловавшись на жар.

А на утро его с бредом и жаром в военный госпиталь отправили. И еще одного узбека из тех, что встречали с ефрейтором этап. И другие прихворали, видать, выстудились. Но вот Стрешнев в бреду плевался, когда его на носилках в машину несли, и кричал, что все сдохнут. И даже не плевался, от жара во рту была одна сухота, а губами из себя пустоту выгалкивал.

А солдаты по отбытии Стрешнева в госпиталь заговорили, что ефрейтору всегда везло. Что вот и теперь будет нежиться на чистом белье и сытой больнич-

ной пайке. Что возвратится в роту, вылечившись от простуды, когда уже будет тепло. Может, и летом. И что наверняка выменял Стрешнев желанный ножичек, только никому не сказал и не показал, чтобы не сперли.

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Ком. второй роты в/ч № 6873 кап-ну Сороке
от ефр. Зилова.

Вчера, то есть в среду, мной и рядовым Копылиным было допущено употребление спиртн. напитков (пива) в кол-ве половина трехлитровой банки.

Могу пояснить следующее, что в среду, то есть вчера, был убит на улице неизвестными преступниками ст. прапорщик Аненков со своим сыном Яшей, когда они гуляли по ней перед сном. И прапорщики нашей роты решили взять спиртных напитков, чтобы хоть как-то почтить память погибших.

Распитие происходило в курилке, куда мы зашли с рядовым Копылиным после тяжелого ратного дня. Прапорщики попросили вместе с ними почтить погибших и сказали: «Вам только пива, иначе, знаете, могут и тюрьмой наказать». Они оставили нам половину трехлитровой банки пива и ушли. Ст. прапорщик Аненков добрым был. Он даже на солдат не матюгался. Поэтому мы нарушили святую воинскую присягу, выпив по глотку спиртн. напитка, и помянули его с малолетним сыном, которого неизвестные преступники тоже зарезали почем зря.

Потом мы еще по глотку выпили, так как еще захотелось ст. прапорщика помянуть, когда рядовой Копылин вспомнил, что тот его и с днем рождения даже поздравил.

А потом мы еще выпили по глотку, так как еще раз стало ст. прапорщика Аненкова жалко, ведь и сына его малолетнего зарезали почем зря.

А потом в курилке появился командир полка пол-ик Буденко. И мы встали и пошли в казарму.

Это все, что я могу пояснить по случаю употребления спиртн. напитков: встали, пошли — вот и распорядился тут же пол-ик Буденко, чтобы для проверки дыхнули. А потом он понюхал и сказал, что мы употребляли. Но водку мы не употребляли, хотя этого уже и проверить нельзя, потому что в банке ничего не осталось. Хотя прапорщики и могли в пиво этот спиртн. напиток подмешать. А мы не знали.

Больше я, честное слово, пояснить не могу.

Товарищ кап-ан Сорока! Напоследок прошу вас, если получится, не сажать рядового Копылина в тюрьму. Я тогда один за содеянные нами преступления отбывать согласен. Потому что рядовой Копылин хороший друг. И потому что он меньше моего пил и искренно плакал за ст. прапорщика Аненкова, с которым я, честное слово, забывал даже при встречах здороваться.

Сегодня, то есть четверг, 1989 г.
ефр. Зилов

(подпись)

КАРАУЛЬНАЯ ЭЛЕГИЯ

Ящерики любили на песке.

Любили бесстрастно. Сухо потирались шелудивыми спинками. Замирали. Бесчувственно тыкались обугленными рыльцами в песок. И гневливо теснили друг дружку раздувшимися зобками.

Но это самоеду понятно, что они любили и что на песке, у него глаза со степями свыклись. Иные, полагаю, не заметили бы и вовсе, а так — поглядевши на оживший песок, подумали, что ветер это — зябью его покрывает.

А еще полагаю, что, народившись в лагере, ящерики и погибали в нем. Как ни трудись, а не могли они на волю из бурой накипи проволоки выплеснуться, потому что, едва народившись, бултыхались в лагерном вареве до той поры, куда не выкипало оно само по себе, начавшись на полсвета.

Зеки изводили ящерок шутейно — кто первый забьет. Но затем и жрали угрюмо, будто французы лягушат, приготавливая на жарких углях. А нажравшись вдоволь, забивали уже просто так — чтобы забыть.

Еле живыми подбираясь к запретке, ящерики с наступлением темноты переползали в караул. С зарубами, измученной кожей, на которой, бывало, отловив беглянку, солдаты разглядывали наколотые зеками виселицы. На виселицах висели они, конвойные, с выдолбленными в костистых лбах позором и босыми ногами.

Осерчав, занедужив, солдаты растапывали ящерок сапогами, чтобы не оставалось от увиденного и следа и чтобы забыться потом от жестокости нечаянных расправ.

Дальше караулки ящеркам ползти было некуда. Выложенная нетесаными глыбами, она и тогда бы отворяла с неохотой тяжелые, окованные железом двери, когда бы выносили из нее в гробах.

Подле дверей, имевших на своих створах набухшие и рыжие, как сосцы, советские звезды, томились солдаты из бодрствующих, чтобы не случилось с караулом беды: смерти, а может, и тех виселиц, которые они видели. Томились в тени. И два оскальных, ребристой корой дерева, как бродячие собаки, жались к людям, дрожали ознобисто от ветерка, что-то боясь. Это были дикие яблони, и солдаты из бодрствующих лежали под ними, отгоняя сорванными ветками погустевших от зноя мух. Конвойные томились.

Они оглядывали караулки, шествуя глазами от стены к стене. И ничто на земле не жаловало милостью склониться над собой, подивиться, порассуждать и потешиться походя словцом мудреным, из тех, что пришли когда-то по нраву своей бесполезной красотой. Такое словцо конвойному случалось произнести не единожды, когда он, будто ненароком, извлекал его из хрипатої глотки посреди окаменелой немоты степей. И оно выпархивало птицей пестроперой из грудной клетки, пропадая в неведомых и праздных краях.

А потому конвойные оглядывали караулку, шествуя глазами от стены к стене, будто выгуливали присмирившие в заточении души.

И старослужащий Засухин заметил, как любили ящерики на песке. Но поначалу сробел подсказать друзьям и украдкой подглядывал за ними в одиночестве.

Принужденные бодрствовать старослужащие почувствовали молчок Засухина и с насторожением ожидали, когда зашевелился его сомкнутые губы, чтобы не отвадить от откровения вовсе.

И Засухин сказал:

— Глядите, на песке ящерики мнутя... Из этого дети рождаются.

Старослужащие задышали тише. Кадыев задумчиво улыбнулся и, чуть помедлив, ответил:

— Е-е-е, зачем врешь? Долго надо, чтобы детка родить получилось.

— Это ж почему? — спросил Ероха.

— Погулять для себя надо? Надо. Чтобы приглянуться, целовать долго надо? Надо. И калым платить. И чтобы девушкой была. И еще — подумать надо!

— Правда что ли, Засухин?

Засухин кивнул:

— Это долго надо. У меня с Веркой-прапорщицей так же было, вот только не родила почему-то... сука.

Старослужащий Кадыев сладковато зачмокал губами:

— Кадый верно говорит. Если спешить, то и пожить не получится.

— А разве у ящерок бабы с мужиками есть? — осторожно спросил Ероха.

— Из рта что ли такую гущу их наплевали?! — ухмыльнулся Засухин.

Ероха покраснел от досады:

— Врешь, я не малец какой-то, а сам знаю... У баб груди должны быть! А где, где они у той ящерики? Если без грудей, то мужик, стало быть. А мужик от мужика не родит.

— Я тебе в морду дам, ты же и бабы голой не видел.

— Я не видал?! Сам ты, Засухин, про Верку врешь, ведь и заговорить с ней боялся, а не то что...

Старослужащие схватились. Сплелись жилистые руки с комьями мускулов, походивших на землю, облепившую вырванные корни. Зашумело в головах, в глотках заклокотало. Сухонько затрещали костерками гимнастерки и, будто охваченные пожаром, заматались горячие молодые тела.

Заскучавший Кадыев отступил на полшага от бьющихся, будто бы припекло.

— Е-е-е, зачем поспешили, — зачмокал он, — если спешить, то морда бить получается. Надо долго. Надо поглядеть...

И Кадыев, прищурившись с хитринкой, глядел. А ящерики любили на песке, окутывая свою любовь, как тайну, пыльным облаком.

— Ты баба или мужик? — обратился к ним Кадыев. — Эй, почему молчишь?!

Ящерики молчали долго. Из-за долгого их молчания получилось, что старослужащий Кадыев подхватил обломок красного кирпича, которым в карауле было положено натирать до сурового блеска параша. Он покачал обломок в руке. Примерился. Попыхтел. Подумал. И, размахнувшись от плеча, бросил в ящерику, изнывая душой так, будто промашка уже случилась.

Кирпич рассыпался кровавыми брызгами.

Не успев удивиться и попрощаться не успев, ящерики лежали на земле бездыханно и только хлопали по песку, устало затихая, хвостами, будто тихо били в ладоши.

Не веря в свою удачу, Кадыев, осторожно ступая, подкрался к ним.

— Во какие! — он поднял их за хвосты и разглядывал. Нежным брюшком ящерики и впрямь походили на ладоши, но грудей и того, что мужикам положено, Кадыев не отыскал.

Он насупил брови, но, как долго ни хмурился, понять этого не мог.

— Эй! — закричал он. — Не надо юшка пускать! Это не мужик и не баба — это не человек!

Старослужащие замерли. Лениво поднялись с земли. И обступили, пошатываясь, Кадыева.

— Замучил что ли? — сказал уныло Ероха. — Слышь, Засухин, зазря, выходит, сопатки корявили... ха...

— Покажь, — Засухин протянул руку, и Кадыев разложил на ней ящерику.

— Ты погляди какие! — с надеждой проговорил он.

— Зеленые и склизкие, верно... — перебил не без задора, приглядываясь к ящерикам, Ероха.

— Эй, не говори так... Хороши ящерики. Таких ни у кого нет, — сказал Кадыев.

Засухин погладил их пальцами и улыбнулся:

— Будто живые, а? Заснули будто...

Ероха махнул рукой и пошел под дерево. Он сел на землю, раскинулся по прохладному стволу и закурил папиросу.

Засухин что-то проворчал и, пересыпав ящерику погрустневшему Кадыеву, пошел к Ерохе подкуривать от огонька.

И потом они задымили заодно. Блуждали, отрешившись, глазами по караульному дворику, от стены к стене, будто бы взявшись за руки.

Из караулки вывалилась понежить под солнцем солдатня. Заметив стоявшего посреди двора Кадыя, конвойные подходили к нему, а потом молчали и курили папиросы, оглядывая мертвяков. Бережно растолкав собравшихся, Кадыев высвободился из круга и, подойдя к дереву, встал, чего-то томительно дожидаясь, подле старослужащих.

— Ну, чего тебе? — засопел Ероха. — Выкинь. За забор выкинь.

— Ты погляди какие... — еле слышно произнес он и прижал ящерок ближе, будто укрыть хотел.

— Не так это! — засомневался Засухин. — Замучить, чтобы выкидывать потом? Будто и не было ничего?! Будем... хоронить. Вставай, Ероха...

Кадыев ожил и засопел счастливо.

— Эй, тебе что сказано? Вставай! Надо землю искать, Засухин! Чтобы хорошо хоронить, надо долго искать, потому что умирать больше не получится.

— Я уже приглядел местечко... У стены похороним, чтобы не топтали.

Старослужащие поднялись. И за ними, молчаливо покуривая, пошли конвойные. Глубоко затягиваясь папиросой, кто-то морщился и, запрокидывая лицо в небо, грустно выдыхал:

— Так и мы сгинем...

Первыми шли Засухин и Ероха и потому были торжественней других, не позволяя себе отплеиваться в песок. Они отмахивались яблоневыми ветвями. Мухи улетали, и покачивание, становясь неспешней, рождало в душе, под ленивую поступь старослужащих, тихую грусть.

Усопших нес Кадыев, тупо глядя на ладони, в которых покоились они, укутанные в лопушину.

Поспорив о том, какой ей быть, могилу вырыли руками наподобие чело-вечей.

— Во какие! — приговаривал Кадыев, укладывая поудобней, — Что надо ящерики!

— Хороним ведь как людей, может, и имена дадим? Зойка хоть или Света?

— Не-е-е, — протянул Кадыев. — Имя узбекский надо. Русский у себя дома давай. Пусть Гульчатая и Акрам будут.

— Что «Гульчатая», что «чайник». У вас имена — звук один.

— Эй, зачем говоришь плохо?

— Что попусту трепетесь-то! — вмешался Засухин, поднимая глаза от земли. — У них имена есть: ящерики!

— Он толково говорит, не нужно новые давать, дохлым к тому же. Вот если бы они на свет родились...

Засухин отыскал в кармане медный пятак и положил в могилу.

— Для памяти это... — пояснил он.

Растоптав сухие комья, ящериц засыпали.

— Негоже, — сказав Засухин, глядя на песчаную гладь, — надо бы холмик какой или метку.

— А на что? Еще пятак твой отроют. Похоронили ведь, а то мрут, где ни попадя, как мыши... Ероха, ты хотя бы видал мышь, но не так, чтобы убитую, а которая своей смертью издохла?

— Не... И где они дохнут? Их же на земле больше людей будет.

— А они, говорят, своих мертвяков пожирают. Хлебом клянусь, как издохнет, так и жрут сразу. Это куда живая — ползай, шурши, а если преставишься, то захавают и облизуются, твари. Они с голодухи же...

— Хорошо, что мне на камень попались! — произнес Кадыев украдкой.

— Не то слово! Все одно бы сдохли. А нынче как люди — в земельку лягли. Что-то да останется, — поддержал Ероха. — Пойдем что ли, мужики?

— Куда же вы! — остановил Засухин. — Я говорю холмик нужен какой или меточка, не зазря же землю рыли.

— Да хотя бы ветку воткни! — нашелся Ероха, протягивая Засухину яблоневую ветвь, которой от мух отмахивался. — Чем не примета? Она, может, и корни пустит и зацветет.

Засухин принял ветвь и, подумав, вдавил в землю.

— Ты поглубже! — заволновался Ероха. — Чтоб до ящериц дошло, они же как удобрение будут.

— Земля не примет, — сказал Засухин, вдавливая все же поглубже.

— А ну как примет!

Ероха спустил штаны и стал опрavlяться на ветку:

— Надобно, чтоб по-первой не засохла...

Кто-то из солдат пристал к нему. Заскучав, приспустил порты и Засухин:
— Тогда и к вечеру наведем. Этого добра не жалко.

ЗАДУШЕВНАЯ ПЕСНЯ

Глов был робким человеком. А в бога не верил. Службе государственной душу вверял и делался покорным, тихоньким, будто за одно это с оркестром похоронить обещали, за казенный счет.

И вот жена Глотова умерла при родах, потому что сердце от боли разорвалось. Ребенка вызволили сечением из мертвой. А он от смерти материнной с рождения помрачился, то есть на всю жизнь душевнобольным стал. Дылдой вырос, головой ударялся об дверные косяки, а все ходил под себя, мычал, ревел и канючил, будто из пленок.

Глов старшиной в роте служил. И солдаты над его обидной судьбой иногда задумывались. Думал и я, что хорошо бы уродку с мамашей умереть. Или по прошествии времени. А еще лучше, если бы мать жива осталась, а издох уродец. Или, по крайности, чтобы и младенец, и мать, и Глов в одночасье померли, потому что старшине все одно не жизнь, а убогого не жалко вроде.

Но прапорщик душевнобольного в дом особый не отдал, хотя сынок не человеком рос, а так. Нарекли Дмитрием. Смешно же. Ему это имечко враз под убогую личину перекроили, и в глаза Дёмой прозываться стал. Или вот — обучили кое-каким обычаям людским, а еще смешнее — будто звереныш натасканный на задние лапы поднялся.

И когда Дёма подрос, Глов на него рукой махнул — кормил только и в казарму за собой водил для пригляда. Иначе он и зашибиться ненароком мог. Смерти не боялся.

Прибыв на службу, Глов запирает сына в каптерке, какая переполнилась казенным имуществом и обступала душевнобольного, будто утроба. Только и оставалось места, что на табуретке сидеть. И так диковинно пахло вокруг исподним бельем, портянками, мылом, что он утихомиривался и канючить переставал. Или насобирает целую горсть пуговиц, золотых, ярких, и давай из руки в руку пересыпать. А иногда и улыбается.

Солдаты не брезговали уродцем. Свыклись. По малому ходу казарменной жизни и бодрил он, и потешал. Вот ведь выгучили Дёму пить водку, ругаться матом. И другим непристойностям от скуки выгучили. И не раз подговаривали задрать юбку писарше Хватковой или ущипнуть ее же за большую грудь, потому что это смешно. Старшина же не роптал. Он радовался, что сынок хотя бы и маютаться умеет — человек-то все одно пропащий.

Каждый месяц в роту приезжал военторг. В грузовой машине было много разного товара. На плацу собирался служивый народ и торговал у заезжих: кто папиросы, кто платя с рубахами, кто печенье и сладкие конфеты.

И только Глов ничего не покупал. Жена погибла, мертвую в платье не оденешь, для себя жалко, а сын — душевнобольной. Ему конфетку дай, обертку съест, а остальное в задницу засунет или потеряет.

И старшину жалели, что приезжает однажды военторг, а он так и ничего не покупает. А Глов и сам себя за это жалел. Ведь когда все на плац к грузовику вываливали, он у сынка в каптерке прятался. То есть горевал.

А как-то, видать, не утерпел. Топтался, как потерянный, у грузовика, куда солдаты его приезде радовались. А потом вдруг озлобился и растолкал без стеснения собравшихся.

— Пропустите, суки! — кричит. — Я тоже хочу отовариться!

Но как пробрался к прилавку, так оторопь взяла. Не знает, что сыну купить. И купил от расстройства не печенья, а самую бесполезную вещь, какая была. Гармошку! Одно, что дорогой была — лаком облитая, с узорами и кнопарями.

Подвыпившая торговка поначалу выругалась, когда спросил Глов гармошку. Думала, что издевается. Ведь и сама ее ради одного вида выставляла. А потом всполошилась. Закружила перед прапорщиком, чтобы не передумал. Гармошку тряпицей обтерла и так еще угодливо подала.

— А то сыграй! Уж, Рассея, спляшу в последний раз... — кричала она, покрывая солдатский гул. И грудями обвисшими трясла и притоптывала.

Старшина же обнял гармошку. И побежал в казарму, раскачиваясь, будто с торговкой этой и выпил, и сплясал. И ведь прибежал радостный. И ведь от счастья-то какого-то задыхается. А потом отдал сыну и гордо так глядеть по сторонам стал. А собрались писарши, солдаты, прапорщики. Из любопытства, чтобы поглядеть.

— Вот! — говорит старшина громко. — Справил сынку подарок. А то, думаю, пуская побалуется. У нас, знать, такие же деньги есть.

— А ведь и дорогая вещь? — с почтением спрашивали Глотова писарши.

— Как же, как же... Сорок червонцев почитай! Глядишь, Димка играть выучится. Может, за деньги будет выступать!

— Так точно, — захопотали скоренькие писарши, — и понятий особых не надо, а только пальцами туда-сюда перебирать. А с такой-то дорогой вещицей за выступления большие деньги будут давать.

— Что и говорить! — покрикивал Глотов. — Тут же лака одного сколько, а узор? С такой балеты целые, а не выступать. Тут за узор и то хлопать станут!

Все будто спохватились. И будто обмякли через мгновение. Как если бы гром среди ясного неба раздался. Рты пооткрывали и глядят друг на дружку. Вот тебе и старшина, надо же что удумал! Надо же, как покупочка обернулась-то. Прямо страх какой-то по косточкам перебрал. Будто Глотов уж и не прапорщик, а генерал, а они звезд генеральских сразу не распознали и едва, как с человеком обращались, когда надо было бы смиренхонько вытянуться и честь дрожащей рукой отдать. А они ведь к нему, как к пропащему. То есть и жалели иногда.

Глотов же и впрямь на генерала походить стал. Слова, будто кости, бросает, будто их и подбирать должны. Отдувается. Прохаживается подле душевнобольного сына — и то ворот смявшийся поправит, то складочку на рубахе разгладит, а то и к себе прижмет.

Дёма же притих и отца разглядывает, будто не узнает. Потом гармошку руками потрогал. И забыл про все вокруг. Меха растянул и в лице переменялся. Что-то родное почуял в реве, которым раздалась гармонь. Солдаты от уморы рассмеялись. А потом и писарши прыснули в ладошки.

Больной тоже заулыбался. Подумал, видать, что всем от его игры стало веселей. И налег на гармонь. Голову от счастья запрокинул. Дышит глубоко, жадно, будто глотает что-то или пьет. А она ведь в его руках воем исходит. Да истошным таким. Будто режут кого-то. То есть убивают. А Дёма дрожит, извивается легонько и — подвывает. Но не голосом, а глубоко, глухо, будто нутром.

Тут замершего прапорщика стали со всех сторон растрясать, чтобы он глотку заткнул сыну. Крик от писарш поднялся. А Глотов сжался весь, руками укрывается. И пятится, пятится. И на одного сына вытарашенными глазами глядит. А из глаз тихонько слезы катятся. Они-то его от разбоя и уберегли. То есть писарши отступили из жалости от прапорщика. И в этот день каждый себе спасения сам от воя душевнобольного искал. Кто во дворе, кто наглухо закрывал двери, кто уши затыкал. А Дёму так и оставили в казарме, на табуретке. К вечеру Глотов выплакался и домой его забрал.

Но с тех пор уродец гармошку из рук не выпускал. Утром приведет старшину сыночка в казарму. И в каптерке запрет. И мучает он из каптерки бестолковой игрой — мычанием, истошным воем и гудом заунывным гармошки, куда не бросит кто-нибудь в дверь сапог или же кулаком захрохочет. Но и тогда — переждет чей-то гнев и начнет мытарить душу по новой. То есть и тихо поначалу, а потом все громче и громче.

А матом ругаться перестал. И водки не выпьет, если для смеха поднесут. Порой глянешь, как он гармонь терзает, как голову запрокидывает в истоме и подвывает, то думаешь — пришибить бы... Зачем живет? Зачем, если живет, воет?! Неужто каждый день будет выть? И тягостней всего, что и пришибить его не за что... Нету на нем вины. Он ведь даже добрым кажется, потому что такой ничтожный. Как гаденыш, глазенки выпучит, как заморгает маленько, как задро-

жит, глядя на тебя, как падшее животное, так самому же и хочется сдохнуть. Потому что пришибить за тоску хочется, но знаешь, видишь — невиноватый же он.

Пробовали гармонь отыгать. А он в каптерке погром устроил. А как выпустили, то валялся в ногах. Хотели испортить — об землю били, меха протыкали. Но звук-то остался, хотя и покалеченный стал.

За гармонь старшине чаще выговаривать по службе стали. Пошли слухи. Кто-то и начальству полковому донес. Прибыли проверяющие из полка. И раскричались, что Дёма воеет в казенном помещении, что харч казенный жрет, что на табуретке сидит казенной, что не положено душевнобольных при казарме держать.

В другое время и уладили бы выговор. Но гармошку Дёма и свои едва терпели. И писарша Хваткова, никогда не обижавшаяся, что Дёма за грудь щиплет, вдруг исхлестала его на людях по щекам, обзывая сучонком. А повсюду наврала, что уродик ворвался в рогную канцелярию, повалил Хваткову на пол и хотел изнасиловать. По навету писарши собрание провели, где она показала расцарапанную ляжку. У ней, как у потерпевшей, в наличии имелись и синяки. И высказались единогласно, чтобы отнял Гловот гармонь, гульбище прекратил в казарме или запирал сына дома. А то и увольнялся из внутренних войск.

Но Гловот боялся голодной и холодной смерти. Ему нельзя было оставлять войска. А без гармошки Дёма бился в падучей. Потому и изничтожить ее ничто боялись. И старшина стал заключать сына в доме, когда на службу уходил. И не прошло месяца, как Дёма выбросился из окна, потому что погулять хотя бы во дворе дома хотел.

Жил Гловот в военном поселении, неподалеку от лагеря заключенных и солдатской казармы. Кругом простиралась степь, и как бы близко ни соседствовали эти здания, а все казалось, что они друг от друга далеки и разбрелись по холодному, пронизанному ветрами простору, будто чужие или поссоренные.

Гловот просил, чтобы сына похоронили из жалости, по-солдатски. И по особому, распорядению лагерной охраны с душевнобольного была снята мерка расконвоенным плотником. А следующей ночью из лагерных мастерских был вынесен на волю подходящий гроб. И тут же произведен расчет тремя бутылками водки, деньги на которую были собраны солдатами сообща. А у прижимистых — отняты.

Прощание порешили провести в казарме, куда перенесли на плечах из поселка гроб. А шли долго и порядком извозили сапоги грязью.

В казарме подле гроба немножко постояли. Было тихо. Гроб покоился на двух табуретках в проходе, между рядами заправленных коек. И казалось, будто на каждой койке кто-то уже умер. И потому так тихо. Перед тем, как покрыть гроб крышкой, с покойником прощались. То есть проходили подле. Но никто Дёму не поцеловал. А только Гловот. Гроб на табуретках невысоко стоял. И потому старшина целовал сына на коленках.

Когда завершилось прощание, гроб прикрыли крышкой. И снесли в машину, чтобы везти на кладбище. Сопровождали же до кладбища Гловот и замполит. И выборные из солдат, чтобы и на кладбище с гробом управились.

Когда Дёму зарывали в землю, то замполит даже расчувствовался и пальнул из личного оружия в небо, отдавая честь душевнобольному, как бойцу.

Гловот от почетных выстрелов заважничал и стал отпихивать собравшихся от могилы, будто зачумленных. И заставил на холоде без шапок стоять. А напуганные пальбой птицы закружились над непокрытыми головами.

По возвращении было поминальное застолье. Пили чай без сахара, но с сухарями. Гловот жевал сухари. И так усердно жевал, будто из благодарности. Оглядит, как жуют сухари собравшиеся, а потом утирает наворачнувшуюся слезу. Через стол же заискивал перед замполитом. То чайку, чтобы погорячей, подольет, то сухарь от себя переложит. И было видно, что из страха это делал. Боялся будто, что возьмут и застолье разберут и никто Дёмушку и не помянет. Вот же сухарь прожует, чаем запьет и скажет, перед тем, как за другой сухарь приняться:

— Спасибо вам за сыночка! Спасибо, что и погибшему все, как полагается, справили — ведь и гроб, и с чаем... Небось, Димка обрадовался, если б узнал.

Он то плакал, то посмеивался про себя. То вдруг разливал под хмурым взглядом замполита водку в солдатские кружки, когда не стало чая. Но никто не осмеливался против явной воли начальства пригубить. Тогда старшина пуще прежнего пугался. И неряшливо водку в бутылки переливал. А потом подбежал к замполиту, как на смотру вытянулся и давай виноватиться:

— Никак нет, я водку вылил всю... Димка тоже бы вылил, если б узнал... Не сомневайтесь!

Я, как солдат, скажу, что очень порадовался в этот день сухарям...

А Гловов долго не являлся на службу — сидел дома, у распахнутого окна, глядя с памятной его высоты на землю. По обыкновению конвойному, степному, замполит бил морды подгулявшим прапорщикам. Но с Глововым иной поворот. Бить горюющего отца рука не подымется. И постыдно под суд отдавать. А на проступок неуставной отзываться надобно, искоренять. И старшину судить не стали, а уволили из войск.

Отчисленный и с казенного жилья, Гловов тогда пришел в казарму проститься. На память личному составу подарил гармонь. И, как был, без всякого имущества, отправился искать пристанища по миру.

Гармошку определили на постой в каптерке, потому что она стала казенным имуществом. Об самом же Гловове врал. Будто он оженился на какой-то вдове и зажил в ее домишке, рукой подать под Каражалом. Слухи, враки, толковали и так и эдак, только про гибельное избегали. Про то, как зарезали по-грабительски или сам в пьяной драке пропал.

А в казарме-то тишина... И вправду смертная... Потому что живые молчат. И чудится, будто бродит рядом смерть. То есть и входит она через это молчание в каждого и в каждом живет. И про Гловова говорили, будто хотели ее отогнать. Заговоришь — и оживешь. И до усталости, до сухоты в горле, до того, как отнимется язык — говоришь, молчание преодолеваешь, а слова вдруг возьми да кончись. То есть нет слов, как если бы выплевал. И снова тишина, будто и тебя на свете нету...

Как-то я собрался к каптерщику Мамедову, чтобы обменять рваные портянки, которые в бане тем же утром от каптерщика и достались. В казарме было тихо. Но из каптерки слышались то ли всхлипы, то ли завывание. А как ближе подступил, так точно расслышал тихий человеческий вой, перемеживая который, что-то мычало.

Хотел я растворить дверь, а она не поддавалась, будто завалена. Потом же за дверью заворочались, и приоткрылась щель, и я протиснулся в каптерку. Было душно, потому что дышало много солдат. Через спины я разглядел Мамедова. Его-то и окружили так тесно. А каптерщик на табуретке сидел, склонив голову к гармошке, будто прислушивался к ней и вытягивал, из покаленной, звучание. То тихое, то громкое.

Потом он запрокинул голову и стал подвывать гармошечному мычанию. И подвывали другие, будто знали, как и что будет звучать дальше, будто бы это было знакомой всем песней. Я происходящего не понимал. Да и что можно разобрать в мычании? Но пошевелиться не мог и с другими в каптерке стоял, хотя и молча.

Вой громче становился. Если и замирал, когда удушье спохватывало глотки, то вдруг раздавался чей-то надрывный голос и с новой силой начинали мериться спохваченные было голоса.

Солдаты распарились и ожили, покрылись настоящим потом. А я молчал, стиснув зубы. Во мне было черно и глухо. Будто выгащили сердце, вытянули ребра — и остался пусть.

А они ведь и охрипли. Ведь и Мамедов охрип. А я молчал и думал, откуда же у них вой берется. И душила пустота. Я сжал уши руками, чтобы Мамедов будто бы замолчал и умер. А он упрямо открывал рот, отдувался и потел, и не хотел умирать. А я бросился бежать из каптерки. И казалось тогда, что убегу, из пустоты вырвусь, продыхну... Из казармы выбежал, и за порогом степь стелится. Вро-

де нет ей конца — вот и рвись по просторам вольным ветром. Но тогда-то я и понял вдруг, что некуда мне бежать.

Пустошь одна. И небо такое же опустевшее. Разве что хилое облако проплывет, да и то не уцелеет, а развеется дымным всполохом. А мне бы нездешнего чего-нибудь взять в руки, потрогать. Или не кашу древнюю из котелка выковыривать, а яблоко антоновское съесть, без грубой кровяной кислинки, а со свежей и изнеженной. Чтобы садом, а не падалью опаживало изо рта. И чтоб не редкий и склизкий дождь с неба азиатского падал, а валил тучными хлопьями белый снег. Может, тогда и глотнул бы во всю мочь степного, одичалого духа, но не задохнулся бы, а с гневом, как от прозрения, закричал: «Врешь, суки, не схороните заживо, не выжрете вечной души пустотой!»

И тогда я упал на землю. И завыл. Будто смерти холод сковал наполовину, а я живой половиной извиваюсь, как гадина, и из тьмы к свету ползу, мертвую-то за собой приволакивая.

И вой разрывал пустоту, а горячая кровь нахлынывала в прорывы, так что я согревался и оживал. И выл на помощь мне Мамедов из каптерки. И слышалось, будто — и Глотов далеко завыл. И Хваткова завывала, царапая грудь и ляжки. И услышав свою песню, загудел глухо из-под земли Дёма, погибший душевнобольной. И ветер, ветер, ветер — он землю и небо сплотил воем диким.

А я хрипел, сорвавши глотку. И плакал от счастья, что мы еще живые.



УГОЛОВНО-БУЛЬВАРНЫЙ РОМАН

I

С Москвой какой спор? Вон, двести лет продежурил в столицах Петербург и наладил у себя все так, что иностранцы до сих пор ездят цокать языками, и Пушкина с Лермонтовым, хоть те и родились в Москве, оформил Петербург на себя целиком, и всего Достоевского, конечно, а толку-то что? Результат всего этого какой? В апогее именно петербургского периода русской истории слышим мы тихую реплику чеховской героини. Если бы, говорит эта героиня, она жила в Москве, то, скорее всего, относилась бы равнодушно к погоде... И это тихим голосом, мечтательно потянувшись, и вообще как бы про себя.

- В Москве два университета.
- В Москве один университет.
- А я вам говорю — два.

И понять не можешь — то ли это опять из классики, то ли слышал вчера в поезде.

Дмитрий Грибов, ленинградец тридцати семи лет, женатый вторично, подписка — два толстых журнала, один тонкий и три газеты, уже несколько месяцев числился слушателем московских курсов усовершенствования ИТР.

II

Сияющая чернь капала с завитков низеньких чугунных оград, тугой шпагат указывал границы будущих газонов, по всему бульвару на жердях плыли похожие на саркофаги скамейки.

Грибов со своими копал. Через час после начала работы садово-парковый мужик, с нагло раскрашенным щупом в руке, остановился возле Грибова и обвинительно ткнул оранжевой железкой во вскопанную им землю.

— Э-э-э, граждане начальники, — протянул он радостно, — так дело не пойдет. Какое учреждение? — и раскрыл заложенную нечистым пальцем записную книжку.

Грибов смотрел в землю. Для конца апреля что-то много попадалось червяков. Вот и сейчас на гладком срезе влажного кома корчился обрезок — чисто розовый и плотненький, толщиной со спичку. Задетые лопатой раньше куда-то быстро уползали, втягивались, предполагали выжить. Этот только подпрыгивал.

— Что за контора? — повторил мужик.

Грибов поднял голову.

— Театр, что ли? Так тут не ногами дрыгать...

— Иди отсюда... — вдруг холодея, выдохнул Грибов, а так как тут же и отошел, то с удивлением услышал, как женский голос из-за его спины отчетливо закончил:

— ...холуй. Газонный.

Голос был незнакомым, и Грибов повернул было голову, но краешком глаза ухватил, что мужик делает к нему угрожающий шаг.

— Ну?! — оживляясь, подбодрил Грибов. Пальцы ощущали шершавую ручку новой лопаты. Но мужик уже остановился. — Что ж ты? — разочарованно пробормотал Грибов и оглянулся.

Девушка стояла на дорожке метрах в трех от него. Светлый плащ нараспашку, а платье — темное и, сразу видно, очень дорогое.

— Вот, значит, почему про театр, — подумал Грибов.

Грудь девушки была поднята вызывающе высоко. Корсет, что ли? Да теперь у них, пожалуй, не разберешься... И, бессознательно оглядев девушку, но даже не посмотрев ей в глаза и не вникая, почему она лезет в чужие разговоры, Грибов отвернулся.

Мужик продолжал бубнить. Должно быть, он говорил одно и то же по всему километровому бульвару, а возможно, что уже и не первый год, и для таких именно звездных часов, когда все обязаны были внимать его словам, были заведены и оранжевый щуп, и дурацкая записная книжка. Бубня, мужик кровожадно оглянулся. Прямо через вспаханный газон к ним поспешно резала угол руководительница.

— Старшая? Вы здесь старшая?

— А что такое? Что здесь произошло?

— В хаханьки будем играть? Делать вид будем? Ну, ничего, разберемся! В другом месте разберемся!

Лицо Елены Петровны сразу осунулось.

— Да что, что случилось-то? Вы скажите мне... — забормотала она и на всякий случай испуганно добавила: — У нас вообще-то — вышли... почти все.

— Перед кем же это ты трясешься, — подумал Грибов.

Однако для Елены Петровны жизнь из того и состояла — то от глупости приходит в восторг, то по ерунде же ужасаться. Включили утром уличные динамики, и запорхала над газонами трясогузкой, а сейчас ее сшибли, как из рогадки.

— Вот уж не ожидала от вас... — опустив руки и углы губ, произнесла Елена Петровна, — Уж вы-то! От кого-кого, но не от вас...

Она обращалась при этом не только к Грибову, выкопанный участок которого был забракован, но и ко всем сразу.

Грибов оглянулся — девушки уже не было.

Курсы усовершенствования, на которых числился слушателем Дмитрий Грибов, были полугодовыми и предназначались для того, чтобы окончивший их мог быть утвержден... Дальше следовали названия должностей. Большинство слушателей были приезжими.

Елена Петровна прошла мимо Грибова, строго посмотрела на его лопату, и он, если бы не занят был своими мыслями, заметил бы, что она уже оправилась от испуга и строгость ее лишь инерционна.

Но Грибов этого не заметил. Он снова принялся копать и снова углубился в собственные мысли. Думал же он о том, о чем, как ему казалось, должны были думать сейчас все.

Отправляя на почте бандероль и видя, как ее еще при нем равнодушно швыряют в угол, он понимал, что бандероль не дойдет. Видя, как на овощебазу загружаются овощи, он понимал, что все они пропадут. Наблюдая за тем, какую гниль и ржавчину обнажает выкопанная поперек улицы траншея, он, ему казалось, мог предсказать точно, как скоро в городе перестанут действовать водопровод и отопление. Однако письма все-таки доходили, картошка, хоть и с гнильцой, но до магазинов добиралась, людям, хоть и побегав, но удавалось во что-то не совсем уродливое одеться, и все брались и брались откуда-то, хоть и не без перебоев, и бензин, и соль, и тарелки, и кроличьи шапки, и даже (ну, до них ли сейчас, когда все трещит!) вилочки для лимона. И выдерживая фантастические нагрузки, можно сказать, без усталости, работало метро... Но ведь так не могло продолжаться бесконечно? Слой того, что постоянно тратилось, был пленочным, тончайшим... А дальше-то что? Дальше?

Девушка, которая так нелепо выступила союзницей Грибова, оказывается, никуда не ушла. Она стояла невдалеке и чуть заметно улыбалась. Обведя взглядом своих сокурсников, Грибов увидел, что не один он на нее смотрит. Платье ее и дорогие туфли среди простецкой одежды копавших газоны выглядели нелепо. Повернувшись к Грибову спиной, девушка пошла вниз по бульвару и так медленно, глядя под ноги, шла, что казалось, будто по досточке через ручей... «Уж не подколота ли?» — подумал Грибов и тут же забыл о странной девушке.

— Смотрите-ка! Кто приехал!

Перетащив ногу через оградку, южного вида человек с гипсовой негнущейся ногой, ухмыляясь и поправляя тубетейку, приближался к Елене Петровне. Грибов узнал однокурсника.

— Вы зачем приехали? — глядя на гипсовую ногу, спросила Елена Петровна.

— Сто процентов явки надо? Я — сто процентов!

И так как Елена Петровна молчала, человек в тубетейке выхватил у стоявшего рядом лопату и ударил себя по гипсовой ноге.

— Думаете, больно?

Бред какой-то, — отворачиваясь, подумал Грибов. Но это тоже было из сегодняшних его размышлений: юродство, ерничанье взрослых людей, их готовность играть фиктивные роли.

Отмеренный кусок невоскопанного газона быстро уменьшался. Налегая на лопату, Грибов чуял ногой скрытые под землей мелкие камешки, прошлогодние слабые корни, вставшие наискосок к лопате гнилушки. Вдруг и правда трава здесь расти не станет? Повсюду поднимется, а тут лысина? И Грибов, стараясь не вглядываться в отваленные комки, стал копать глубже.

— Заканчиваете? — спросила, останавливаясь около Грибова, Елена Петровна и улыбнулась. — Бунтовщик!

Было в ней действительно что-то от мелкой птицы: морозец — сразу найдемся, солнышко — чик-чивик. Грибову оставалось ткнуть лопатой всего несколько раз.

— И шуметь нечего было, — совсем уже по-семейному зачирикала Елена Петровна. — Все, оказывается, можете, когда захотите!

Но тут же голос ее набрал командирскую громкость:

— Никому не уходить! Нашу работу должны принять целиком!

— Для чего — целиком? — обозлился Грибов. — Нам что, по одиннадцать лет?

— Ну вот вы опять! Да что это с вами сегодня? Обождете!

Последние, грубоватые вообще-то, слова Елена Петровна опять одобрила улыбкой, а улыбка у нее была замечательной. Но Грибову сегодня ни в какую не удавалось быть покладистым, и Елена Петровна это уловила.

— Вот что, Грибов... Раз именно вы так торопитесь, идите-ка и разыщите этого... ответственного! Вы же его знаете! Пусть идет принимать!

И Елена Петровна крепко взяла своими тонкими пальцами руку Грибова между локтем и плечом и как бы нежно, но вообще-то властно подтолкнула его к дорожке.

— Ждем! — вдогонку сказала она.

А Грибов от этих вполне добродушных слов и ласково-требовательных прикосновений чуть не взбесился. И не в том дело, что трудно ему было для Елены Петровны пошевелиться. Для нее лично — пожалуйста. Но Елена Петровна погнала его, как школяра, как подчиненного ей подростка. А это самое больное или даже оскорбительное обстоятельство. Сначала тебе диктуют какой-то пустяк, взбунтоваться из-за которого может лишь отпетый склочник, но не успеешь оглянуться, оказывается: тебе и знать-то можно лишь то, о чем тебе разрешат знать.

Ах, Москва, Москва!

Притягательная и отгалкивающая, убогая и великолепная, разгадываемая с полувзгляда и полная таинственных лабиринтов, место жительства простаков и чудищ, эпицентр новостей и анекдотов, объект номер один для нашей не смыкающей радарные очи ПВО... По ходу повествования, наверно, пробормочем мы нечто подобное ещё не раз — хотя бы потому (и это вы несомненно замечали), что если происходит с вами что-либо вне Москвы, так оно — это — просто происходит, а если в Москве, так почему-то, черт знает почему, выбивается сие мелкое происшествие в характерность и даже чуть ли не в Знак...

III

Бульварный сквер, по которому в поисках мужика со шупом направился закипавший Дмитрий Грибов, сходиллся чугунными оградами на клин, как нос корабля.

Необследованным оставался лишь последний небольшой треугольник. Кроме нескольких старушек с детьми, никого там, кажется, не было, но солнце светило прямо в лицо, и Грибов, чтобы окончательно все осмотреть, остановился и поднял руку, заслоняясь.

Мужика не было и тут.

— Слушай, что ты тут ищешь?

Из-под ладони оглядывая треугольник сквера, Грибов не сразу понял, что обращаются к нему.

— Ну, так что? — спросила девушка. — Кого ищешь?

— Да этого... — все еще кипя, пробормотал Грибов. — Ну, того, который...

— Ты что — того? — сморщившись, как от кислого, прервала его она.

— Дело в том...

— Да прекрати ты, — нетерпеливо и зло сказала девушка.

Он ошарашенно замолчал.

— Пойдем-ка со мной, — сказала девушка. — Чем здесь-то торчать.

— Куда?

— Куда-куда... А ко мне, — и сжалившись над его оторопью, добавила: —

Выпьем. Скорей всего...

— Под указ?

— Ага.

Тридцать девять пар глаз смотрели Грибову в спину с расстояния в сто шагов.

— Это бы хорошо, — смутился Грибов. — Но меня... ждут. И... лопата!

— А-а... — без выражения сказала девушка. — Лопата? Так возьми ее с собой.

— А подите-ка вы все, — вдруг опять мрачно зажигаясь, подумал Грибов.

— Ну? — повторила девушка.

— Что «ну»? — заорал Грибов.

— Чего ты орешь-то? Пошли.

Переждав машины, они пересекли мостовую. Грибов не оглядывался, только лопата его чиркала по асфальту, да спину жгло так, словно он получал сеанс амбулаторного прогрева.

— Вот тут, — деловито и даже хмуро кивнула девушка, останавливаясь перед закрытыми решетчатыми воротами.

— Где?

— Вот тут. Ты что — притворяешься? Или вообще такой?

Ворота были заперты на висячий замок, но один из вертикальных стержней чугунной решетки был выбит.

— Пролезешь? — спросила девушка и, подняв подолы платья и плаща так, что блеснули белые трусики, поставила ногу на чугунную поперечину. — Чего стоишь? Подсади!

Протискиваясь вслед за ней между прутьями, Грибов подумал, что если от человеческих взглядов, нацеленных на тебя, что-то может произойти, то сму бы впору вспыхнуть сейчас бенгальским огнем.

Подворотня была засыпана толстым слоем алюминиевой стружки, издававшей под ногами громкий хрустящий скрип.

— Ну, давай, разгребай! — хохотнула, не оборачиваясь, девушка.

Грибов бросил лопату. На стружке валялись мятые тазы, водопроводные раковины, гнутые трубы, ржавые сетки кроватей. Поверх всего, превращая метал-лосвалку в декорацию неореалистического фильма, лежал на спине огромный мертвый холодильник: дверца — по-прозекторски отпахнута, из нутра торчат трубки и провода.

— Чего встал? — бросила через плечо девушка. — Увела я тебя. И все тут.

И верно увела, — тупо подумал Грибов. Мир, в котором он привычно ориентировался, остался по ту сторону чугунных ворот.

Вход на лестницу был прямо из подворотни. Дом казался необитаемым. И на первом этаже, и на втором, вокруг едва различимых в полутьме площадок, немо стояли мертвые запыленные двери. У дверей не было ни ручек, ни звонковых кнопок.

— Боишься, — утвердительно произнесла девушка. — Бойся, бойся. Погоди еще... — и слегка подтолкнула его в плечо.

На третьем этаже дверей не было вообще. С неосвященной площадки уходил длинный коридор, вдаль он расширялся в зал. Там виднелись сверкающие металлические баки. Какие-то люди в белых колпаках и халатах бродили с черпаками между баков.

— Что там? Кто?

— Дед Пихто, — вежливо ответила девушка. — Ад. Интересуешься?

Они прошли еще несколько этажей — кругом опять были глухие двери, еле различимые в полутьме. Масштаб времени перекосялся — Грибов с тупым изумлением подумал, что с момента, как он разглядывал залитый солнцем бульвар, не прошло еще и пяти минут.

— Сюда, — сказала девушка.

Дверь, перед которой они остановились, была обклеена прямо поверх косяков старым картоном. Рваные края картона змеились трещиной. В эту трещину девушка подсунула все пальцы сразу и потянула на себя. Раздался треск пересохших обоев. Дверь поползла.

— Входите, — разрешила девушка. Она впервые назвала его на «вы».

Грибов шагнул в комнату и оглянулся на дверь. В обоях, маскировавших дверь и со стороны квартиры, виднелась замочная скважина, а рядом отчетливо отпечаталась ребристая подошва мужского сапога.

— Входите, — повторила девушка, скидывая на спинку стула свой плащ. — Что такое дом любви — слышали?

— Снимаешь? — спросил Грибов, озираясь. — Угол, что ли?

— А вы, оказывается, и такие слова знаете?

Продолжая озираясь, он не ответил. Пришлось бы тебе поездить, — подумал он, — когда гостиницы повсюду осажены Кавказом, так не спрашивала бы...

— Не пугайтесь, — сказала девушка. — Угол — это, когда сообща... А я — не сообща, — и засмеялась куда-то в глубь уходящим смехом.

Такого логова, как эта крохотная комнатка, Грибову видеть еще не приходилось. Узкое окно смотрело в близкую серую стену, и даже сейчас, в солнечный полдень горело электричество. Вдоль окна, прямо на полу, лежал грязный, сбитый в колбасу тюфяк. На тюфяке впереверт валялись чулки и дамские сапоги с завалившимися непомерно длинными голенищами. Пол — так, что ступить негде, усеян заколками, гребенками, гильзами губной помады. На стене, по обоям, губной же помадой и фломастером крупно и пьяно записанные телефонные номера... Почерки были явно разные.

— Так, выпьем? — сказала девушка. — Садитесь же. Где вам больше нравится?

Вечером у Грибова был поезд. На два дня он ехал домой.

— Ну? — повторила девушка.

Нынешняя семья Дмитрия Грибова состояла из него самого, жены и четырехлетней дочки. Раза два, а то и три в неделю Грибов звонил в Ленинград. К каждому звонку у него в нагрудном кармане лежал квадратик «памятки» — дабы в нужный момент не выскочило из головы то, что следовало с женой обсудить.

— Мы выпьем, наконец? — повторила девушка.

Много на небольшом столе стояло бутылок... Много, если не сказать множество.

Жена Грибова в браке была так же, как и он, второй раз. Грибов и Вероника, так звали его жену, всегда очень внимательно друг друга выслушивали. Грибову,

пожалуй, следовало бы признаться, что за пять лет Вероника ни разу не поставила его в такое положение, когда ему пришлось бы врать.

— Чего мы ждем? — спросила девушка.

Вероника никогда от Грибова ничего не требовала, а уж что касалось его жизни в Москве, то что он об этой жизни расскажет — то и расскажет. Но все же, где это я, — подумал он.— Вечером ведь ехать...

Бутылки, одна красивой другой, стояли перед ним. Все из того магазина, куда Грибову доступа не было. Виски и так далее. Большинство было еще закуплено.

— А... — сказал Грибов. — И этот здесь!

Впереди других бутылок стоял плоский флакон английского сухого джина. На бело-красной его этикетке торжественно выступал вооруженный алебардой сверхсрочник, из тех, что ныне приглядывают за Тауэром: «мужик в красных кальсонах».

Не его, не Грибова были эти слова, потому он вслух их и не произнес. Он услышал их от той смуглой девочки, смуглей некуда, даже подмышки и те темные и гладкие, которая разорила Грибова когда-то, как ненужную, но случившуюся на пути завоевателя страну. Когда он узнал, что она выходит замуж за итальянца и увидел этого итальянца, Грибову показалось, что мир встал с ног на голову. Итальянец был стертый, позавчерашний, никакой. Такого рода сор выносит на пляж без всякой волны по ночам.

— Ты что? — сказал тогда Грибов своей смуглой девочке. — Да посмотри на себя.

А она как раз стояла у зеркала, закинув руки, и на ней ничего не было, и она смотрела на себя.

— Ладно, — ответила она. — Только без соплей. Что-нибудь придумаем.

И итальянец вскоре вернулся в Москву и зачем-то поселился тут, а она уехала в Рим и купила машину такого размера, что, по доходящим до Грибова слухам, не может ездить по узким переулкам.

Всякий был в своей прошлой жизни Грибов, всякий. Это теперь от газетных статей, где препарировалось нутро совершенно посторонних ему промыслов и афер, он вдруг стал просыпаться ночью, а раньше... Нет, прежде Грибова эти записанные помадой телефонные номера, змеиной кожей скинутые сапоги и этот арсенальный набор бутылок ничуть бы не озадачили... — Стоп, — сказал он себе. — Сначала бутылки.

— Откуда это у тебя? — спросил он. Накупивший таких бутылок — просто так, чтобы открывать их в подобной норе с первым попавшимся, — либо не знает, как зарабатываются деньги, либо вообще сумасшедший. — Либо, — подумал он, — спускает ворованое.

Там, на бульваре, Грибов внял «зову» вовсе не потому, что был уж так азартен до спиртного. Просто поддался смешноватой ситуации, когда его, тертого и неробкого мужика, заинтриговала «слету» случайно повстречавшаяся девчонка. Грибов посмотрел на стоящую перед ним батарею — пить расхотелось. Что-то тут было ему сильно неясно.

— Ты когда в последний раз ела? — спросил он.

Еды в комнате не замечалось.

— Да ладно вам заботиться, — засмеявшись и сразу же перестав смеяться, проговорила девушка. — Это, знаете ли... Немного запоздало.

Была она, верно, вдвое моложе его.

— Моя овчинка вашей выделки не стоит, — глядя сквозь Грибова, уверенно и тихо произнесла она. — Наливайте.

Между бутылок стояло несколько стаканов. Все грязные.

— Ну, наливайте же.

Завтра утром Вероника, которая никогда ни о чем у Грибова не допытывалась, ждала его в Ленинграде.

— Где вымыть? — спросил Грибов, беря в руки стаканы.

— Ах ты, чистюля... — девушка опять перешла на «ты». — Боишься? Так то, чего боишься, не смоешь. Вон там кран, — она кивнула на занавеску.

За занавеской оказалось продолжение квартиры — закуток, в котором находилась раковина с краном. Да еще две двери. Одна была защелкнута на задвижку, вторая — приоткрыта. Грибов нажал на приоткрытую носком ботинка — какая уж тут стеснительность? Дверь слегка скрипнула.

— Интересуешься? — спросила девушка.

Никаких объяснений, почему именно здесь нам показалось уместным вдруг вспомнить, что Москва имеет радиально-кольцевое построение, мы совершенно не готовы представить. Нет, не готовы. Нам лишь хотелось бы напомнить, что план Москвы схож с классической паутиной, и как тут не сделать следующего логического шага: паутина-то раскидывается для чего?

Девятое столетие плетется эта центральная паутина и каждый век своими средствами. Сквозные дороги, соединяющие Кострому с Калугой, а Тверь с Рязанью, Смоленск с Владимиром, а Тулу с Ярославлем, — перехвачены были когда-то пряжкой Москвы; вокруг пряжки кольцами пошли крепостные стены, а к воротам взялись пристраиваться внимательные к кошельку путешественника монастыри — кто ж не помолится, прибыв, наконец, сквозь Муромские леса в стольный град? А уж, тем более, кто, не помолившись, за стены выйдет?

Кольца церквей и монастырских башен, кабаков и лавок дали давней Москве это обручевое, на сдавливанье центра, построение, — а от тех пор и современные магистрали имеют в Москве тенденцию концентричности: бежать, не удаляясь, но и не приближаясь к центру. Эту тенденцию бульваров — кривить и кривить в одну сторону (на лошадях как бы слегка оттянутые в одну сторону удила, а позднее — слегка сбитый на сторону руль) повторяют потом кольцевые объездные дороги, а затем и объездная железная, и наши любимые «Аргументы и факты», еженедельник правдивее и лаконичней которого только мы сами, недавно авторитетно сообщил, что, кроме известных всем, в Москве есть и еще две — не обозначенные на плане кольцевые бетонки... Чем не паутина?

Хотя и это еще далеко не все...

IV

Комнатка, в которую заглянул Грибов, не имела с той, где стояли бутылки, ничего общего. Ковер на полу и огромная застеленная постель, вот и все. Белье на постели было подкрахмаленным — фарфоровой белизны. На него еще не только никто не ложился, но, казалось, что и расстилали-то едва касаясь. Уголки просторных наволочек лепестково выгибались. «Прямо Корбузье крахмаль-ный», — подумал Грибов. Отогнутое углом одеяло превращало постель в Действующее Лицо.

— Нагляделся? — спокойно спросила девушка.

— Нет, — ответил ей прежний Грибов.

— Любишь чистое белье? — еще спокойней спросила девушка. — Я, например...

Она не договорила, а Грибов-прежний от этих ее слов схватил ртом воздух, а Грибов нынешний продолжал тщательно тереть стаканы, отмывая чужие слюни. Наконец, стекло закрипело под его пальцами.

— Ну, все, наконец? — спросила девушка.

— А кто здесь еще живет? — ставя стаканы на стол, спросил Грибов.

— Наливай!

— Так кто здесь живет, кроме тебя?

— Это ты насчет мужа?

— А ты замужем?

— Замужем.

— Где же он?

— Кто?

— Китайский император. Мы о ком говорим?

— А-а... Все боишься. Не бойся. Его здесь нет. И не было. Он сейчас вообще вроде не существует...

— Как это?

— А так. Существование его никаким документом подтверждено быть не может.

— Не понимаю.

— Сейчас.

Прислонившись к краю стола грудью, она сунула руку под стол и стала искать что-то глубоко спрятанное.

— Да где же это... Куда ж я задевала?

— Что?

— Да погодите вы... Куда ж я их дела?

Соскочила со стула, присела, запустила руку под стол до плеча. Наконец, нашарила то, что искала.

Перед Грибовым лежала стопка удостоверений. Не хотел бы Грибов, чтобы кто-нибудь с ним так пошутил.

— Ну, на машине-то и без бумажек ездить можно, — сказал он. — Если приспичит.

Не слушая Грибова, а отвечая чему-то в себе, девушка, глядя на документы, качала головой.

— А военный билет зачем?

— Какой? А... этот.

— Поссорились? — спросил он.

— Ну, ладно, — сказала она и, с явным отвращением подняв стакан, отпила. Отпила и поперхнулась.

— Что ты корчишь-то из себя, — сказал Грибов. — Паспорт она спрятала. Нужен он ему...

Девушка поперхнулась второй раз. Когда она закашлялась, Грибов довольно безжалостно ее разглядывал.

— Еще как нужен! — крикнула девушка. — Еще как! А тут еще пропуска. Ты видел куда??

— Истеричка, — подумал Грибов. — Столичная истеричка, избалованная. Он опять посмотрел на стол, заставленный валютными бутылками. Ему стало скучно.

— А еще он ударил меня, — совсем другим, потухшим голосом сказала девушка.

— За что?

— Наверно... за все.

— За все не бьют.

— За все не бьют, — эхом ответила она. — За все... Убивают.

— Да ладно тебе! «Убивают»! Тоже мне, леди Макбет!

— Ну, как хотите, — сказала девушка. — Тогда за то, что я волосы обрезала.

— Семейка, — подумал он. Ему стало еще скучней.

— Вам хочется уйти? — еще тише, еле слышно спросила она. — У вас, наверное, уже нет времени?

И он с облегчением представил, как выйдет сейчас на солнечный веселый бульвар из этой, уже начавшей его томить квартиры. И черт с ним, с тем сооружением, напоминающим чепец католической монашки, которое белело в соседней комнате. «Документы воровать?» — подумал Грибов. Даже если и не воровать, а только перепрятывать — в таких играх он участвовать не собирался.

— Ты что, здесь скрываешься? — стараясь скрыть растущее раздражение, спросил он.

— Почему «скрываюсь»? Я тут... нахожусь. Живу, видимо.

— И давно?

— Не очень.

— Ну, как это «не очень»? Сколько?

— Завтра — два месяца.

Два месяца! Ему-то показалось дня три, от силы четыре! Два месяца в такой берлоге? Он оглянулся на жуткий тюфяк, на исписанные телефонными номерами обои. Соседняя комната, зная, что о ней помнят, притаилась.

— А что дальше? Что ты собираешься делать?

Глядя ему прямо в глаза, девушка пожала плечами:

— Да бросьте вы... Очень вам это интересно.

И от того, как она это произнесла, Грибову стало не по себе. В прямом, никуда не ускользавшем ее взгляде было что-то такое, от чего Грибов стал судорожно соображать, как же быть дальше. Ему казалось, что выход ищет он только для нее.

— А родители? Родители у тебя есть?

— Есть.

— Вот и выход, — подумал он. — Побесится, покажет характер, отчего же его не показать?

— Есть родители, есть... Мать и отчим. Легче стало?

Она прочитывала его мысли! И жернов какой-то опять надвинулся на него, налег.

— Вам, наверно, пора идти, — устало сказала девушка. На глазах она превращалась в другого человека.

— Как тебя зовут?

— Здрасьте. Что это вдруг?

— Как тебя звать?

— Зачем — вам? — останавливая на лице Грибова серые, спокойно-отчаянные глаза, сказала она. — Идите. Отпускаю.

— Как тебя зовут?

— Эх вам нейдется... Любой меня зовут. Лю-бовь, — и, вдруг усмехнувшись, добавила: — А когда-нибудь стала бы Любовью Васильевной.

— А зачем волосы обрезала?

— Да нужно, нужно это, — непонятно и убежденно ответила Люба. — Нужно. Хочу, чтобы поаккуратней. Нельзя же.

Грибову почудилось, что из области привычного они начали куда-то перемещаться, и там, куда они перемещались, туманный ее ответ, как это ни странно, был не лишен смысла.

— Что ты несешь... — пробормотал он.

Желая освободиться от того, что ему вдруг привиделось, он снова осмотрел комнату. Два месяца в такой берлоге? Да тут спятишь. Правда, среди следов недавнего разгула сама Люба выглядела инородно. Грибов потянулся к бутылке. Даже запах виски и тот казался коричнево-золотым.

— А знаете, почему я к вам подошла? — вдруг спросила Люба. — Почему именно вас выбрала?

Вот, значит, как все оборачивается: его, оказывается, даже выбрали!

— Да, да, — торопливо сказала Люба. — Да. Этот, с палкой-то... он каждому, ну, просто каждому какую-нибудь пакость говорил. А я за ним иду. Ну, просто так, думаю, когда же хоть кто-нибудь... И — никто. А тут вы... Налейте-ка и мне!

Закусывать было абсолютно нечем. Грибов помахал рукой у себя перед носом.

V

Щекочущая, золотистая теплота расходилась в голове Грибова. Пульсирующая тишина, которая вслед за тем наступила, звала его, вроде бы, к действиям. Когда он положил руку на плечо Любе, Люба не отодвинулась, но плечо ее вздрогнуло.

— Не торопитесь, — сказала она, снова глядя ему в глаза. — Я не обману. Просто... Не торопитесь.

А ему снова, когда он вспоминал все, что сегодня ему предстояло, стало ясно: пора, пора поворачивать на обратный курс. Но сам-то он уйти уже был не в силах, девушка эта, несмотря на ее загадки, занимала его все больше. А, может, именно из-за загадок?

— Ты знаешь, я ведь не москвич, — сказал Грибов.

— Да? — Люба была рассеяна. — Ну, и что?

— Я лишь временно здесь. Я приезжий, — сказал он, внимательней взглядываясь в ее лицо.

— Вы это говорите для чего-нибудь? Или просто так?

— Для чего-нибудь.

Уж он-то, сто раз гостивший в Москве, а сейчас уже несколько месяцев пристально разглядывавший москвичей, сделал такое заявление не случайно. Если перед тобой московские старики — то барьера с иногородним не возникает, старики лишь иногда сожалеют, что ты не можешь знать того-то и вот тому-то не был свидетелем; общаясь с москвичами своего возраста, Грибов тоже не испытывал трудностей — те вполне радушно принимали Грибова в свою среду, правда, неговоренно, но уверенно предполагая, что рано или поздно Грибов несомненно найдет способ в Москву переселиться, поскольку вне Москвы сами себя не представляли и представлять не имели в виду; а вот особенную и почти единую реакцию на человека без московской прописки выказывали именно девушки и молодые женщины. Потеря интереса — вот эта реакция. Иногда, правда, витал оттенок сожаления. Ах, мол, как все это глупо.

Сейчас Грибов ждал именно такого поворота. Отчуждение, он не стал бы сейчас искать его причин, поставило бы все на места.

Но отчуждения в глазах Любы не появилось.

— А вы молодец, — сказала она. — Молодец. Этого... на бульваре — отлаiali. Незнакомой девушке — ведь такой шалавой могла оказаться — доверились. С субботника на виду у всех ушли. Лопату — и ту бросили. Нет, молодец! — серьезно повторила она и, потянувшись, поерошила ему волосы. — Не любите, значит, чтобы кто-нибудь вами помыкал? Не позволяете?

Стакан виски действовал. Все предметы комнаты, как в диснеевском мультфильме, вдруг взялись Грибову что-то показывать. Подбоченились бутылки, принялась подмигивать и подглядывать замочная скважина, по-лакейски забормотал недозакрытый Грибовым кран. Между той жизнью, что запульсировала сейчас, здесь, и прошлым пролегла заколдованная лестница.

— А у вас ведь... не все хорошо, — сказала Люба.

— У меня? А что у меня должно быть... хорошо?

— Знаете, знаете, о чем я говорю. Знаете. Вы когда-то так любили, что вам было... все равно, нет, не то говорю — не все равно, а просто море по колено. А теперь совсем не так. Вам, вообще, чтобы заставить себя что-то сделать, надо внушить себе, что вас очень любят. А раньше... — Люба смотрела ему в глаза, взглядываясь то в один, то в другой, — раньше вы были... даже трудно себе представить!

— Что трудно представить?

— Ну, вы решительный были человек... Очень решительный! Оказывается...

Так и сказала — «оказывается». Будто там, куда она заглянула, кто-то отчетливо ее предположения подтвердил.

— Не надо было на ней жениться, — отводя от Грибова глаза, сказала Люба.

— На ком? — оторопело спросил Грибов.

— Вы же знаете — на ком. На той, которую так любили. Ничего не могло получиться. А вы еще были такой... ну, в жизни ничего не понимали.

Грибов теперь уже невольно ловил каждое ее слово.

— Хорошо еще, что вы никого тогда не убили, — посмотрев на него без улыбки, сказала она. — А ведь могли.

— Еще как мог, — подумал он. Но что же такое — он ведь, кажется, не сказал этой девчонке еще ни слова о тех временах... Впрочем, цыганские эти штучки известны — кому из мужиков под сорок не кажется, что и у них была когда-то сводящая с ума любовь, что и в нем таятся вулканические силы, которые сейчас лишь дремлют... Что в такой пронизательности поражающего?

— Она потом спилась? — спросила Люба.

Грибов посмотрел на нее дико.

— Или что-то вроде... еще не понимаю, — сказала, продолжая глядеть на него, Люба. — В общем, счастливы были, что ноги унесли...

Да нет, тут уж она ошибалась — счастлив он тогда не был. Можно даже ска-

зять, что от него вообще тогда мало что зависело. Но рассказывать о себе Грибов был не склонен. Хотя она и нащупала в его прошлом, притом как-то, почти сразу, то именно, в чем до сих пор не мог разобраться он сам.

...Той зимой факультет Грибова перевели во дворец; вместо столовой у них был овальный зал с порфировой колоннадой, а командиром роты назначили татарина, который ночевал в училище и спал по четыре часа в сутки. Грибов помнил, что, когда надо было для чего-нибудь обратиться к командиру роты, тельняшка прилипала к спине.

Роту ввели в тот день в овальную столовую, и все уже разошлись по своим местам и вытянулись у столиков, ожидая команды — сесть, когда Грибов увидел, что под его вилкой лежит письмо. Он сразу же взял письмо и, разорвав конверт, начал читать, а потому пропустил команду и продолжал читать стоя. За одно то, что он не выполнил общей команды, Грибову пошел крутиться счетчик, но он так и не сел, а еще не дочитав, держа перед собой письмо, пошел прямо на выход и прошел, как потом ему говорили, сквозь свой столик, сквозь соседний и сквозь командира роты. И тот, почему-то с готовностью, посторонился. Надя сообщала в письме, что встретила «другого человека», с которым у нее «все настоящему».

— Как странно, — думал Грибов. То целенаправленное сумасшествие он мог вспомнить лишь, как череду каких-то действий, без сопутствующих ощущений, но ревность лежала, свернувшись, все еще живым клубком, и треугольная головка ее смотрела на Грибова, похожими на стеклянные, глазами...

— Налейте, — приказала девушка. — А то что-то ни вы, ни я...

— Да нет, — сказал он. — Все в порядке. У меня все как нужно.

VI

Дмитрий Грибов никогда, даже в юные годы, не чувствовал себя студентом и стать им, когда подобралось под сорок, уже не получалось. Может, что и могло еще в жизни успеться, да только, он понял, не это. Половину лекций на своих курсах он, правда, отсиживал, и многое из этих лекций оказывалось ему даже интересным, но конспектировать чужие мысли Грибов был уже не в состоянии. Никто другой, будь он хоть трижды гений, уже не мог Грибова ни в чем наставить. Притвориться студентом было можно, стать — не выходило. А раз так, то и все вторичные признаки студенчества — общежитие, общежитские нравы, еда по столовкам, необязательность, дурацкие клички — воспринимались теперь Грибовым, как дань общему заблуждению или, точнее, игре — поскольку Грибов полагал, что многие из его сокурсников, если не все, чувствуют то же, что чувствует он. И комната в общежитии томила Грибова, и вахтерша внизу (любая вахтерша) вызывала бешенство, просто как субстанция, а нравы — эта запростецкая якобы простота: все на «ты» и никаких церемоний — лезь без стука до трех ночи в любую дверь, — ничего не упрощали, а лишь запутывали. Согласившись, даже временно, на такую жизнь, Грибов со все растущей неприязнью смотрел на себя в зеркало.

— Наплюй, — по-бабьи глядя ему в глаза, сказала девушка. — Неважно это все!

И тут откуда-то взялась музыка, музыка возникла именно в тот момент, когда он всего-навсего положил руку на плечо Любы.

Кто из нас не вспомнит эти странные танцы, когда танцуют лишь двое? Дурачки, должно быть, это выглядит со стороны, но, братцы, для кого мы танцуем? Не для себя разве? Грибов и девушка танцевали, а уж какой это был танец, такой и был. Танец увел их из логова с бутылками и тюфяком. Потанцевав немного в коридорчике, около раковины с краном, из которого продолжало негодобрительно шипеть, они, не прекращая танцевать, повернули кран — пальцы сплелись — и протанцевали, совсем уже медленно, в другую комнату. Несколько помедлив, Грибов шагнул к окошку и взялся за штору. Перед окном, так же, как и в соседней комнате, была серая, близко стоящая стена. На самом верху видимой из окна ее части дрожало бледное пятно отраженного форточкой солнца. И

Грибов вспомнил, что в Москве — полдень, вся Москва еще на субботнике. И их курсы тоже. «Твои замечательные идиотские курсы», — подумал Грибов. — Полтораста рублей в месяц и ощущение, что ты совершенный никто. Но раз никто, так нечего было и задумываться.

Грибов дернул штору, и кольца брякнули.

Глядя Грибову прямо в глаза, девушка медленно снимала с себя одежду. «Совсем не загорелая, — подумал он, — хотя какой же загар в апреле?» И вовсе не то, что можно было бы назвать жаждой обладания, ворохнулось в нем. Родственность? Или жалость? Он и поцеловал-то ее, можно сказать, чуть дыша. Не из благоговения, понятно, чуть дыша, а так, по обстановке.

То, что она так легко раздевалась, словно делала это при нем не только не в первый, но даже не в пятый раз, Грибова слегка озадачило, хотя и никак против нее не повернуло. Кто в нынешней жизни может сказать, что знает — что и когда пора?

Обхватив себя накрест руками, девушка, ясно улыбаясь, стояла перед Грибовым.

— Моцарт, — совершенно не мотивированно произнес Грибов.

Когда она прижалась к нему, он почувствовал, как все ее тело мелко сотрясает смех.

— Совсем меня не боишься?

— Вас? — она продолжала смеяться мелким, беззвучным смехом. — Вас? Да бросьте вы... — оборвав смех, опять с какой-то всезнающей силой, как там, на бульваре, сказала она. — Чего мне теперь бояться? Вас? Тебя? Вот их — другое дело. Да и то...

— Кого? — спросил он.

— Ну, их. Их.

И тут в дверь, которая вела в коридорчик и которая была закрыта на задвижку, раздался стук. Грибов дернулся, вздрогнула и прижавшаяся к нему Люба. Стук повторился.

— Кто это? — одними губами спросил Грибов.

— Хозяйка... — Люба тоже отвечала одними губами.

Стук повторился. За дверью раздавалось какое-то кряхтенье, дверь стали дергать. Плечи Любы одеревнели.

— Что вам нужно? — громко спросила она.

— Открой! — сквозь кряхтенье произнес старушечий резкий голос.

Грибов разжал руки. Люба отступила от него, машинально сняла со спинки стула платье. У двери она остановилась, видимо, спохватившись о Грибове, и оглянулась: мол, не бойся.

Дверь продолжали дергать:

— Открой!

— Не могу я вам сейчас открыть.

— Чего там не можешь-то? Открой!

— Не могу... Сказала ведь вам.

Опять кряхтенье.

— Мало что сказала... Мне посмотреть надо.

— Что смотреть?

— Да ты чего там? Кто у тебя?

Опять кряхтенье, опять рывки.

— Да нет, нет же, не открою, — ровно и окончательно произнесла Люба.

Сквозь кряхтенье послышались угрозы, ругань.

— Что хотите, то и делайте, — сказала Люба. — Не открою.

Когда Грибов снова прижал ее к себе, он почувствовал, что она дрожит.

Успевшая за полтора часа раз пять поменять в сознании Грибова представление о себе, она неподвижно лежала рядом. «Нет, — подумал Грибов, — мы так не умеем.» Но что за загадки? Чем большее циничного и мрачного наворачивалось вокруг, тем ближе казалась ему эта девушка.

Старуха за дверью не унималась.

— Теперь целый час будет стучать, — прошептала Люба.

— Ну, ничего... Хоть поговорим.

Грибов усмехнулся и почувствовал, как она, еще тесней прижавшись, усмехнулась тоже. Или всхлипнула?

— В той комнате твои сапоги? — спросил Грибов.

— Ну, мои...

— А помада, чулки? То, что набросано? Твое? Чего молчишь?

— Мое, чье же еще...

— В театре не работала?

— В каком театре?

— «В каком!» — передразнил Грибов. — В балете на льду! Для кого эти декорации?

Люба молчала.

— Ну, для кого? Тюфяк этот, бутылочку наставила, телефоны помадой писала... Половина, кстати, липовых.

— Почему это липовых?

— А потому что нет в Москве таких.

— Да? — озадачилась Люба. — Интересно... Что вы еще заметили?

— Да одно только: что ты кому-то хотела показать, будто живешь в сплошном загуле. Кому?

— Вам.

— Ладно, — сказал Грибов. — Это и так понятно. Кому-то, кого давно знаешь.

Теперь уже ее потемневшие в полутьме глаза смотрели на Грибова почти с испугом. Он тоже, выходит, мог ей кое-что о ней же рассказать.

— В одной школе учились? — спросил Грибов. — Да? Или даже в одном классе? И тебе казалось, что уж на кого, на кого, а на него-то ты сможешь положиться всегда? Кругом все рухнуло — а этот стоит, ждет. Потому что цель его жизни — ждать тебя. Так?

Люба отвела глаза.

— Он в очках? — спросил Грибов. — И такой талантливый, что почти ничего не зарабатывает?

Люба громко всхлипнула от смеха, и будто в ответ ей, дверь с той стороны опять дернула.

И Грибов, опять обнявший совершенно незнакомую, но уже такую близкую ему девушку, подумал, и уже с досадой, что нет, ничего, значит, не выйдет. И знаменитый южноамериканский роман, в котором герой и героиня где угодно, хоть в луже кислоты, но любую встречу заканчивают одним и тем же — этот роман не о нас. Во всяком случае, пока кто-то с той стороны трясет дверь.

Оставалось только говорить. Да и то почти шепотом.

— Вот ты... — говорил Грибов. — Поскольку, как я понимаю, ты коренная москвичка...

И Люба приладилась, притулилась к нему, задышала спокойно. У Грибова было ощущение, что они знают друг друга всю жизнь. А потом он все-таки замолчал, и она совсем затаила дыхание, потому что за дверью, с той стороны, кто-то продолжал стоять. Люба замотала головой.

— Они точно, точно меня ищут, — прошептала она. — Вот я прямо как знаю...

— Да кто «они»?

Люба прижалась еще тесней, хотя куда уж...

— Может, все-таки скажешь?

— У них там все время что-то затевается... — шептала Люба. — Им машина нужна. И документы...

— Что тебе грозит, если тебя найдут?

— Не знаю... Но теперь они точно знают, что я... Что от меня...

— И среди них — твой муж?

Люба кивнула.

— Что же они такое все-таки делают? — спросил Грибов.

— Лучше бы мне этого не знать.

Странное ощущение владело Грибовым. Минуты, когда он трезво понимал, что подзалетел в приключение, которое, как ни поворачивай, кончится сегодня же, сменялись другими, похожими на провалы памяти — провалы эти становились все более длинными, и он выныривал из них со все большей неохотой. В провалах же этих ему мерещилось, что девушку Любу он знает всю жизнь и вся его жизнь с ней связана. «А, может, это у меня всегда так, опять на самом краю, прежде, чем полететь в провал», — подумал Грибов. Он открыл глаза и увидел окно, штору, одеяло...

— Это лучше не знать, — шептала девушка. — Но я-то уже знаю. И они знают, что я знаю.

— Ничего не понимаю, — сказал Грибов.

— Вот мне бы так... Вот я сегодня...

— Что такое сегодня? — думал Грибов. — Где я? И вдруг, наперекор всем здравым соображениям скептического человека, наперекор всем сомнительным, а если поразмыслить, так и более, чем сомнительным открытиям двух последних часов, в Грибове родилась радость просто оттого, что с ним рядом эта девушка. Он больше ничего не боялся.

— Ну, что?.. что?! — спросила Люба и стала задыхаться.

Да понимал Грибов! Все он понимал — что причины его радости просты так, что проще некуда: так молода, так хороша, и ничего не требует взамен...

— Что?... Что?!... Что?! — спрашивала его Люба. — Ну, что же?!.. Что ты хочешь... Послушай... нет, послушай меня!!

А их поезд уже летел, и все, что было в мире, состояло из перестука колес на каких-то невидимых и все быстрее набегающих стыках. Все дальше и дальше в темноту, все быстрее и быстрее к гибели, и столкновение уже неизбежно, вот вдали уже блеснул световой блик; это фонарь несущегося навстречу, вот красные кольца и желтые нимбы, как в сунувшемся в прожектор объективе, и световая стена вспышки, но это не встречный, это мы вылетели из тоннеля прямо в небо, и оборвался вместе с тоннелем грохот... И нет никакого поезда, есть лишь тишина, и звук капель, падающих в раковину, и легкая испарина, и собственная, кажушаяся теперь неловкой, тяжесть.

— Ну, привет... — будто даже слегка удивленно, прошептала Люба.

Грибов лежал лицом в подушку.

— Надо бы, наверно, что-то предпринять... — прошептала Люба.

— А? — сказал Грибов. — Что?

Но она только слабо махнула рукой.

А то, что он хотел бы ей сказать, что сказать был должен, и чего она, как он был уверен, просто не могла сама не почувствовать, как раз произнести-то он и не мог. Произнести — означало разрушить. Грибов был так устроен, что признаться в испытываемом счастье или даже радости для него было невозможно. Это было равносильно такой степени фальши, на которую вещество, из которого состоял Грибов, способно не было.

— Не говори, — прошептала Люба. — Хочешь, я скажу?

Он повернул к ней лицо.

— Это наверно... Как это называется? Наваждение? Мне, знаешь, что кажется? Что мы давно муж и жена...

— Почему я так устроен, — думал Грибов, — я ведь хотел бы закричать ей, что чувствую то же самое, что плачу сейчас, плачу от счастья, но глаза у меня сухие. Кто я такой? Зачем мне всегда нужно скрывать от всех и от себя то, что я чувствую?

— Мне мерещится, — сказала девушка, — что у нас с тобой так давно... что мы так давно... Ну, что все уже было. Все-все было...

— И дети, — в тон ей, но словно поддразнивая, иначе не мог, сказал он.

— И дети... Несколько... Ну, в общем, не один... И мы сейчас прилетели куда-то... Мы не дома, но у нас общие дела где-то в другом месте, а здесь мы лишь потому...

В дверь опять застучали. Голосов за дверью теперь было два, в подмогу к старухиному бурчал сильный мужской — хозяин этого голоса уже хорошо «принял». Топтались тяжелые башмаки.

— Лежи, — прошептала Люба.

Ввязываться? Грибов представил себе диалог, который наверняка последует.

— По-моему лучше уйти, — сказал он.

— Куда?

— Ну, куда-нибудь, какая разница.

Люба с минуту лежала неподвижно.

— А куда все-таки?

— Сообразим.

— И там ты оставишь меня одну?

— Оставлю.

И жалко вдруг так ее стало!

— В лес заведу и брошу, — сказал он.

Она еще помедлила.

— Ну, ладно, — сказала она: — Тогда я мигом.

Они стояли уже в дверях, когда старуха завопила в голос:

— Лю-бка! Погоди! Уходишь! Погодь, говорю!

— Да что вам, наконец, надо?

— Открой!

— Пойдемте, — сказала Люба.

И тот, за дверью, подбубнил что-то.

VII

Еще из подворотни Грибов посмотрел сквозь прутья на бульвар — никого из знакомых там, понятно, уже не было. Он первым протиснулся в лаз, еще раз осмотрелся и, когда обернулся, увидел глаза Любы. Она еще стояла за чугунной решеткой закрытых ворот и ждала. Грибов протянул руку.

— Вылезай!

Как просияло ее лицо! Будто не разреши он ей вылезти, она так бы там и осталась.

Поглядывая на него, она пошла рядом, и в гуле Москвы, который сразу же накинудся на них, ее каблучков почти не стало слышно.

Как, однако, все было странно. Несколько минут назад Грибов сам, пытаясь зацепиться за пережитое, нашел одно лишь слово — счастье. И вот уже легкая усталость и легкая лень, и какие там крылья? Как недолго, можно даже сказать, — быстро! Кожа его еще хранила ощущение... Да, быстро как-то, — подумал Грибов. Столь поразившее его ощущение радостной ясности уже растворялось, разлеталось дымом, и вот уже — он отчетливо заметил этот момент, начало заменяться беспокойством.

А дело было в том, что они приближались к учебному зданию курсов. И хотя Елена Петровна сама, собственно, и санкционировала отлучку Грибова в Ленинград, но одно дело, он это очень чувствовал, уехать, проведя весь день по курсовому распорядку, и совершенно иначе все выглядит, если бы он, скрывшись на виду у сокурсников в проломе закрытых на замок ворот, вслед за незнакомой девушкой, затем обнаружился бы только дня через три...

Желая сейчас же показать себя всему курсу, Грибов понимал, что отдает дань той самой невзрелости, которую так хочет выгнать из себя, но... Можно ли от людей требовать того, чтобы они следовали своим же правилам неукоснительно? Ему нужно, просто необходимо, показаться Елене Петровне. Пусть она поставит мысленно «птичку»: вот, мол, он здесь; он жив и здоров, и теперь именно она его отпускает. Но с каким лицом он сейчас там появится? Впрочем, как и большая часть мужчин, Грибов не стыдился, если дело касалось женщин, ничего того, что бы говорило о его ветренности или о безрассудстве. Он бы, правда, назвал это живостью или, может, даже лихостью... И потому, зная, что может встретить сейчас Елену Петровну, ощущал разве что легкую и отнюдь не обре-

менительную, а даже несколько довольную собой виноватость. И, подходя к зданию курсов, Грибов замедлил шаги.

— Послушай...

— Да, да.

— Я хотел сказать, что мне здесь нужно...

— Я понимаю. У вас дела. Вы вспомнили. Вас не ждать?

— Ну, что ты такое говоришь! — воскликнул он, уже понимая, как хорошо было бы войти сейчас в это здание, поставив на своем приключении точку. — Да вернись я! Вернись! — раздраженно сказал он. — Ну, что ты действительно?

Люба ничего не ответила и только указала глазами на скамейку, которая стояла в сквере, разбитом прямо перед подъездом.

— Ну, здесь, здесь конечно! — ответил Грибов, думая о том, что только этого ему и не хватало. Все ведь видели, кто увел его с бульвара. Люба еще раз посмотрела на Грибова, губы ее почему-то поползли, искривились, и Грибов вошел в тяжелые двери.

Елена Петровна и проректор курсов в преподавательской комнате уютно пили чай. Проректор, давно сошедший с круга позапрошлых времен технический лауреатик, слушателей своих почти не видел; заходя на курсы лишь изредка, он крался почему-то вдоль стен, жмурясь и упоенно прижимая к губам палец. Если же кто-то, случайно встретив его, останавливался, лауреат из бывших приходил в тихое умиление и, так как ростом был невелик, пригибал подошедшего к себе и гладил по голове, приговаривая: «Ах, ты мой эстончик...» или «Ах, ты мой армянчик...».

Можно с уверенностью сказать, что никто и никогда не предписывал Елене Петровне скрывать чаепития и даже ограничений в этом скромном и приличном занятии чинить не собирался. Однако чайник Елена Петровна норовила все время прятать, а мисочка с вареньем стояла у нее почему-то в выдвинутом ящике письменного стола.

Лекции в этот день из-за газонов не было, день был полурабочий, и все-таки Елена Петровна и проректор, когда Грибов постучался в дверь, явно всполошились. Но, увидев Грибова, Елена Петровна сразу же забыла о чайной конспирации.

— А... а! Это вы?

Тут было все. И жгучий интерес, и чуть-чуть презрения, и законное право на любопытство.

— Что скажете?

— А что бы вы хотели? — довольно развязно от неловкости произнес Грибов. — Ну, как тут у вас? Все в порядке?

— Если и в порядке, то не благодаря вам, — поджав губы, отпарировала Елена Петровна. — Ему поручали... — повернувшись к проректору, начала она, но тут же передумала. — Ну, так что, Грибов? Кстати, где ваша лопата?

— Лопата?

— Ну, да, лопата. Куда вы ее дели? — явно испытывая большое удовольствие от того, что Грибов ненормален до такой степени, что не может даже вспомнить, куда дел такой крупный предмет, повторила Елена Петровна.

Грибов вынул три рубля.

— А причем здесь деньги? — воскликнула Елена Петровна. — Их, между прочим, дают вам для того, чтобы ваша семья во время вашего обучения не испытывала...

— А знаете, — Грибов вдруг рассмеялся, — я с курсов-то ваших, наверно, уйду.

— Как? — сразу забыв о лопате, воскликнула Елена Петровна. — Что значит с «ваших»? Как это «уйду»? Николай Васильевич, что это он? Да кто вам позволит?!

Теперь Грибов разрешил себе еще и ухмыльнуться. Уйти можно было в любой момент — никто не держал, напротив, на курсы рвались.

— Когда это вы такую глупость удумали? — подозрительно спросила Елена Петровна. — Давно?

— Сразу, как поступил.

Минуту назад он еще сам бы поразился такому своему ответу, но сейчас не желал он ни от кого зависеть. А проректор вдруг вскочил, сонные глазки его ожили (может, вспомнил себя еще живого) и так как ростом был сильно ниже Грибова, пригнул того к себе и погладил по голове:

— Морячок ты мой, морячок...

Глаза проректора заблестели слезой, и Грибов вспомнил, как однажды в густых сумерках проходными дворами шел нечаянно за проректором, который, видимо, просто гулял, не подозревая, что кто-то из знакомых может его увидеть. И как проректор остановился у мусорных баков и внимательно стал рассматривать какую-то коробку, даже взял ее в руки. Интересного в мусоре было, должно быть, немало, потому что, выронив коробку, проректор стал все проворнее ворошить кучу ботинком, нагибался, подбирая что-то, снова бросал... и вдруг стал насвистывать. И остановившийся в отдалении Грибов тогда тихо попятился, боясь испугнуть этого маленького человечка, которого каждый день заставляли быть не самим собой...

— Морячок ты мой, морячок... — умиленно бормотал проректор.

— Да он шутит, шутит... — продолжая глядеть на Грибова, как на больного, но больного пока еще в легкой форме, сказала Елена Петровна. — В Ленинграде, небось, что-нибудь не так? Да? — И найдя для себя решение, добавила: — Ну, не будем, не будем сейчас... Поезжайте, Грибов. А здесь мы уж как-нибудь постараемся без вас обойтись...

— Да уж постарайтесь, — весело и хамски разрешил Грибов.

А вдруг она уже ушла? — подумал он. — Не дождалась, ушла, и больше ее не найти? Только что, кажется, он почти этого хотел, а тут чуть не задохнулся...

VIII

Любы в скверике не было.

Грибов огляделся. Спряталась? Ушла? Тонкая игла, такая тонкая, что укола Грибов поначалу почти не ощутил, входила в него все глубже. Он двинулся из скверика на бульвар. Шумел город, неслись машины, Грибов посмотрел вдоль домов в одну сторону, в другую — вдали мелькнуло светлое пятно женского плаща. Грибов заспешил, обгоняя пешеходов, почти побежал. Через сотню шагов он понял, что ошибся — ее рост, но не ее походка. Обманывая себя, будто толком не помнит, как она выглядит, он еще некоторое время догонял. Затем вернулся к воротам курсов.

Люба сидела на бульварной скамейке, отгороженная от Грибова потоком машин, чугунной оградкой и вскопанными газонами, в обществе каких-то двух мужиков. Грибов пригляделся. Оба были с его потока.

— Ах, негодяи! — громко и счастливо сказал Грибов.

Наверно эти двое видели, как Грибов мечется, да и Люба, конечно, тоже. Во всяком случае могла бы.

— Ах, мерзавцы, — еще громче сказал Грибов. — Уже.

Машины неслись без перерыва, никак ему было не перейти. А эти двое что-то все говорили, говорили Любе, использовали каждую секунду, пока он не подошел к самой скамейке. Тогда только оба встали и, подмигнув Грибову, удалились.

— Сядьте, — сказала Люба. С ее лица стекала улыбка. — Друзья, что ли, ваши? То-то легко приземлились...

— Да они, должно быть, видели тебя... утром, — сказал Грибов. Он чувствовал, что за эти двадцать минут они с Любой опять разбежались.

— Сядьте, — повторила Люба. — Вы, наверное... — она помедлила. — Я вижу — у вас все хорошо...

— Дядя, хотите печенинку? Бабушка говорит...

Перед Грибовым стояла девочка в расстегнутом коротком пальтишке. Ей было года четыре.

— Я? — спросил Грибов. — Ты мне? — и подумал, что вот он — тот божественный возраст, от которого веет пушкинской свободой.

Девочка кивнула и, вдруг сразу забыв о Грибове, подпрыгивая, побежала по аллее. Грибов посмотрел в одну сторону, в другую — моложавые бабушки сидели по всем скамейкам до горизонта, как в фильмах Феллини.

Целый день он не вспоминал о дочке. Он не вспоминал о ней и сейчас, вернее, вспомнил, но для того только, чтобы отметить, что не вспоминал. Грибов знал, что, живя сейчас в Москве, он пропускает лучшие отцовские месяцы, но разве особенную, почти болезненную привязанность, клонящиеся к пожилому возрасту отцы, испытывают не к дочкам — уже подрастающим и подросткам? Ведь когда Грибову будет пятьдесят, его дочери исполнится семнадцать. И тогда, утешительная мысль, общие для всех естественные процессы сами заставят его отдать нынешние долги... Пятьдесят... Неужели он когда-нибудь будет таким старым?

— Нет, нет, не люблю рестораны, — запротестовала Люба. — Обман. И очень дорого. Не хочу... А вы? В шашлычную? Тут можно — дворами...

В шашлычной не было шашлыков, а было одно единственное блюдо, но блюдо так уж блюдо — золотисто-багровое мясо, прямо олень какой-то от Робина Гуда. И острые ножи, и кофе в мельхиоровом кофейнике, и кофейник с домашней вмятинкой...

— Ну редкость, — сказал Грибов, — такая же, как...

— Как я, — без улыбки сказала Люба.

И опять та тончайшая игла сладко вошла в него.

Это слышался откуда-то длинный — смычок все полз и полз, доводя до хриплого рыдания струну, — стон скрипки.

— Днем? Скрипка?

— Да у них тут... — она пальцем покрутила в воздухе, изображая, наверное, магнитофон.

— А как живое... — сказал Грибов.

Цены оказались непомерные, но и это Грибову понравилось: захотелось за все платить.

На улице еще больше потеплело. В одном переулке, только что тихом, над самыми их головами вдруг пронеслось облако воробьев, которое тут же застряло в густом голом дереве. Неистовый щебет оглушил их.

— Давай поцелуемся, — сказала Люба.

IX

На выставке Подарков, растопырив локти и отталкивая друг друга, выпячивались «шедевры».

— Нравится? — побродив по залу, спросил Грибов.

— Нет.

— Странно, — подумал он. — Но мне ведь тоже не нравится.

— Почему? — спросил он.

— Винегрет, — сказала Люба. — Все кучей.

— А и верно, — подумал он. Перед ними была живопись, но так далеко и в такие разные стороны были разбросаны именитые имена, что, казалось, попал в краеведческий музей. Тут тебе и ракушки из докембрия, тут тебе и галстук первого пионера.

— Так не нравится?

— Да нет же. Нет.

И сказала так твердо, что Грибову показалось, будто они вместе это сказали и Люба несомненно знает, что говорит за двоих.

— Слушай, — вдруг догадался Грибов, — ты не потому от него ушла, что он тебя ударил.

— Не потому.

— А почему?

Но Люба только теснее прижала его руку.

— Ты скажешь мне?

— Для чего?

И прижалась еще тесней. Так они и вышли на улицу. Сейчас не Грибов ее вел, а она куда-то его вела, явно что-то отыскивая. Отняв свою руку от его, она подошла к милиционеру и спросила о чем-то. Тот рассеянно мотнул головой.

— Может, я знаю? — сказал Грибов.

— Не знаешь. Я вон у того спрошу...

Но и этот не смог ей ответить. Грибов с Любой запетляли по переулкам. Наконец она нашла то, что искала. На стене дома висел плоский железный ящик с надписью «Для найденных документов». Вынув из сумки знакомую Грибову стопку, Люба по одному перекидала удостоверения в щель. Покидала и отряхнула руки.

— Зачем же... — сказал он.

Какой был смысл, — хотел он сказать, — прятать эти документы, если так легко их возвращать?

— Боюсь, — прошептала Люба. — Слушай, я боюсь...

На Москву опускался весенний вечер. Воздух совсем затих, становилось прохладней.

— Я когда поняла, что это их рук дело, думаю — все... живу последний день. Но напоследок и я вам что-нибудь сделаю... А что я могу? Вот схватила, что под руку попало. Нельзя же, чтобы они вот так вот — как хотят... А выходит — даже так — и то не могу...

— Да ты скажи все-таки, в чем дело?

Но Люба его как будто не слышала. И вдруг зашепила, словно боялась, что не успеет сказать...

— Он все приезжал, все цветы носил. В месяц по две командировки. И обязательно к нам в лабораторию. Все шуточки, цветочки. И каждый раз: «Замуж не желаете?» А тут у нас тема пошла — с меркаптанами. Вон стоит, никакая вытяжка не берет. И он опять приезжает: «Замуж не хотите?» А я только что со всеми переругалась, и от злости — ему: «Хочу!» Глупо, а уже вроде пообещала. Ну, он такое завертел — за месяц и свадьбу, и прописался, и перевод оформил в Москву: все. А я будто со стороны смотрю. Вроде бы и ничего — живой такой, веселый. Раз прихожу, а дома чурбан стоит, и в него секач воткнул. Здоровенный — вот такой. «Зачем?» — спрашиваю. «Надо» — говорит. Под чурбан подушку подложил и давай спички рубить. Сначала поперек рубил — чтобы точно пополам, потом, смотрю, уже вдоль рубит. Глаз, говорит, точности учу. Идеально, говорит, чтобы получалось — на волокна. Недели две рубил, я понять ничего не могу — хрясть да хрясть. Вдруг сообщает: из инженеров ушел, работает мясником... Я, как услышала, будто в голове что-то лопнуло — ору, остановиться не могу, а он так спокойно, слушал, слушал, я даже заметить не успела, как размахнулся. А потом сижну на полу, и он меня за подбородок держит. И они сзади стоят...

— Кто?

— Мать и отчим. Тут только и поняла, что они все — вместе. И я им — как кость в горле.

— В каком смысле «вместе»?

— Да в прямом. Он уже теперь не мясник, он в таможене теперь... Ох, у него глаз... Ох, глаз!

— А мать? — спросил Грибов.

— Во «Внешторге». Бо-ольшой человек...

— А отчим?

— А отчим — завбазой, тоже «в системе». Они с матерью не зарегистрированы, им так, наверно, удобней. Поэтому считается, что у нас — коммуналка. А ты послушал бы, как у нас дома по телефону говорят! Агата Кристи от зависти бы сдохла... А посмотрел бы, что приносят! Что уносят! Что у нас лежит, стоит, ждет, пока за этим придут...

— Бутылки имеешь в виду?

— Бутылки!? — хохотнула Люба. — Ты, прямо, ребенок! Бутылки! Это у нас так, семечки, и не заметили, что я что-то прихватила...

— Ну, а документы?

— Документы... Да, это — дело другое. Но и то ерунда. Новые, наверно, уже купили. Отчим один раз не удержался, хвастнул при мне: ему в ГАИ пропуск выписали, по которому под закрытые шлагбаумы можно ездить. Представляешь?

— Ты ври, да меру знай, — сказал Грибов. — Не бывает таких пропусков.

— Ну, ты и ребенок, — повторила Люба. — «Не бывает»! Много ты знаешь. Это же Москва! Москва, понял? Тут все бывает...

Х

Люба долго шла молча и не отвечала ему, потом вдруг остановилась.

— Слушай, они человека убили.

— Как это «убили»? Кто?

— Не знаю. Не знаю, кто именно.

— А кого... убили?

— Да девочку одну. Она отношение к их магазинам имела.

— Точно знаешь, что убили?

Люба кивнула головой и оглянулась.

— А ты ее знала?

— Видела несколько раз. Разговаривала. Она по каким-то делам приходила к нам домой. А потом узнаю — пропала.

— Как это произошло?

— Да очень просто. Был телефонный звонок, куда-то ее позвали. Ушла — и все. И никто ничего не знает.

— А почему ты решила, что убили?

— Да нашли ее. Под снегом. У кольцевой дороги. Я думаю, это он меня предупредал.

— Тебя? Почему?

— А у нас до открытой войны дошло. Я ему перед тем как-то сказала: «Жди ОБХСС, сволочь». Вот тогда-то он меня так ударил, что я вообще еле в себя пришла. Щека, глаз — все черное было.

— Будешь что-нибудь предпринимать? — спросил Грибов и остановился. И Люба остановилась.

— Не буду.

— Испугалась?

— Испугалась.

— Или дело в другом?

— Или в другом, — так же покорно согласилась она.

— А в чем тогда?

— Посмотри вокруг.

— Ну, смотрю. Что дальше?

Люба только махнула рукой.

— Чего машешь?

— Да ничего. Они кругом, разве не видишь? И никто их не ловит... Ни их и никого другого. У нас драка на дворе была, двое держат, третий бьет... Я — к телефону, звоню в милицию... Знаешь, что мне ответили? «У нас сейчас машины нет, так что вы их сами пока задержите».

— Хочешь, вместе пойдем? — спросил Грибов.

— Ой, да перестань ты! — опять, как утром, резко и прямо сказала Люба. — Ничего, ничего я не хочу. Ничего.

— А что ты тогда на меня так смотришь?

— Да никак я не смотрю.

И опять они некоторое время шли молча.

— А как это у тебя с матерью так?

— С матерью-то? А ничего другого никогда и не было. У меня одна жизнь, у нее другая. Она раньше все по каким-то нашим городкам за границей жила — то

под Берлином, то под Александрией, то — в Йемене. Я даже не знаю, кто мой отец.

Что ни спроси, — подумал Грибов, — все к месту.

— Ну, а как ты дальше?.. Надо ведь что-то придумывать?

Люба устало отвернулась.

— Когда ваш поезд? — спросила она.

И то ли сумерки надвигались — и потому на лицах стали видны тени, то ли за эти часы осунулось ее лицо... Когда он представил себе ее сейчас на лестнице с забытыми дверями, ему стало не по себе.

— Когда ваш поезд?

— Да провожу я тебя, — сказал он, — провожу.

А сумерки ложились все гуще, и шаги Любы, казалось, удлинились, замедлились, но девушка, Грибов это невольно отметил, двигалась как-то совершенно отдельно от него. Они шли боковыми узкими улицами, и машины, еще не зажигая подфарников, высовывали носы из переулков, а затем, фырча, улетали дальше, как большие жуки, оставляя улицу человеческим звукам — стуку дверей, детским возгласам, звуку шагов.

— А ведь так и должно быть, — думал Грибов, — что первыми отзываются на отмену строгостей именно мошенники. Острое чутье, гипертрофированный нюх, авантюризм...

К тому, что под конец Люба о своих делах ему сообщила, Грибов не отнесся, вообще говоря, никак. Дело требовало прямых действий, а что он мог сделать? Как участвовать? Да Грибов и понимал, что она его участия не допустит. Может, в какой-то момент и ждала, да прошел момент...

И еще Грибов понял, что неприятен сам себе и сам себя не только не любит, но даже не желает себе добра... И неприязнь эта — дело ее рук; Грибов старался на нее не смотреть.

И в Любе за последние минуты тоже произошли перемены. Доверчивость, которая так и сквозила в том, что она делала весь день, на глазах сменилась отчужденностью. Люба почти замолчала, она больше не касалась его ни плечом, ни локтем, и даже ритм шагов ее становился все более четким. Ничего она больше от Грибова не ждала.

От лопаты ушли и к лопате же — вот она лежит в сумраке подворотни — и пришли.

— Ну? Все? Прощаемся? — деловито спросила Люба.

Ей надо было, наверно, себе показать, что она самостоятельна, сильна, ни от кого не зависит, и Грибов подумал, что она сейчас — как шарик, бегущий по кругу в воронке.

— Ну, все, — сказала она, видя, что он застыл. — Прощай...

И не успел он ничего ответить, как она, скользнув в пролом, уже была по другую сторону ворот. И алюминиевая стружка заскрипела под ее шагами...

XI

Грибов стоял отрешенно. Ничего он не мог для нее сделать, но и разбежаться так... Разве не померещилось им сегодня, притом обоим сразу, что нет людей на свете ближе, чем они? Грибов продолжал стоять у ворот, и та игла, что сегодня уже не раз его пробовала, достигла его опять...

Люба выскочила из подворотни так, словно за ней гнались.

— Митя! Митя! Ты здесь?

Он даже не помнил, когда назвал ей сегодня свое имя. Снова заскрипела стружка. Люба стояла у пролома.

— Слушай, — задыхаясь, прошептала она. — Там кто-то есть! Наверно, это они...

— Где? Кто они? — машинально спросил Грибов, уже понимая, что это «они» и зачем они ждут Любу на лестнице... И как почти у всякого не обремененного опытом уличных драк, душа Грибова покатила в пятки. «Да, я трус, — подумал он. — Да еще какой... Что делать-то?» А сам, оказывается, уже лез в про-

лом. Еще недавно, кажется, вместо встречи с теми, кто стучал в запертую на задвижку дверь, он разумно посоветовал просто уйти, сейчас же все было иначе.

— Пойдем! — сказал он с какой-то все растущей в нем радостью. — Пойдем!

Страх прыгал в Грибове, как тот, утренний, розовый, разрезанный его лопатой червяк, но, оказывается, уж лучше страх, чем то унижение бессилья, в котором только что Грибов был.

— Возьми что-нибудь! — хватая Грибова за локоть, прошептала Люба. — У них наверняка... До вот, хоть эту!

Она совала ему в руку какую-то поднятую ею железину — вроде болта пальца в три длиной. Грибов подошел к двери.

— А ты подожди! — сказал он.

— Как это — подожди! Я с тобой!

Грибов открыл дверь. Еще открывая, он услышал глухие голоса, они сразу же замолкли при звуке двери. После сумрака подворотни на лестнице казалось совсем темно. Грибов и Люба замерли. Те, наверху, замерли тоже. Глаза привыкали — перила уже можно было различить.

— Пошли! — прошептал Грибов.

И они двинулись.

Две темные фигуры стояли на площадке четвертого этажа, опершись задом на подоконник. Едва их увидев, Люба стиснула, потянула руку Грибова. Грибов остановился. Те двое ждали. И тут внизу снова открылась дверь. Ладонь Любы вспотела. Вот шаги внизу миновали один марш, другой.

— Пошли-пошли, — тихо сказал Грибов. Сердце колотилось. Но еще больше он боялся, что Люба заметит его страх. В левой руке он зажал Любину ладонь, а правой — железный болт.

И они снова стали подниматься.

Темные фигуры на площадке оставались неподвижными. Поравнявшись с ними, Грибов пропустил за своей спиной Любу. Один из двоих оттолкнулся задом от подоконника.

— Спокойно, мужики... — пробормотал Грибов. — Спокойно...

Те ничего не ответили. Они стояли так близко, что Грибов слышал от одного из них запах гнилого зуба.

Люба поднялась выше, Грибов, пятясь, двинулся за ней. До самой ее двери, кроме собственных шагов, они никаких звуков не слышали, даже тот, внизу, вроде остановился.

Когда, наконец, они закрыли за собой дверь, Люба уткнулась ему лицом в плечо.

— Узнала кого-нибудь?

Она замотала головой. Грибов осмотрелся. Все, как было. Тот же тюфяк, сапоги, все то же на полу. И на столе то же самое.

— Опять начнем мыть? — спросила ему в плечо Люба.

Он потянулся к бутылке, плеснул немного в стакан.

— А мне? — спросила Люба.

— Это — тебе.

Они продолжали стоять у стола. Билет на поезд у Грибова остался в общепитии. Грибов подсчитывал, сколько у него еще остается времени. Люба начала смеяться. Сначала тихо, а потом все громче, заразительней... Он кивнул на дверь с задвижкой, мол, услышат, но Люба только отмахнулась. «Истерика» — подумал он. Он пошел к крану, налил в стакан воды.

— Да все, все, — вытирая выступившие от смеха слезы, сказала она. — Я ведь что с вами сегодня забыла? Что бояться мне нечего. Мне ж никто ничего хуже сделать не может.

— Чем что? — спросил Грибов. Опять за ворот ему поползло что-то, что почудилось в том утреннем разговоре, когда он еще не знал, как ее зовут.

— Чем — то, — ответила Люба уже совершенно спокойно, и тоже, как утром, ставя точку. — Ладно. Какое сегодня число? Запомните его. Чего желаете напоследок? — она приглашающе показала на стол. — Или... Меня? Можно и то, и другое. Железину-то бросьте! Что вы в нее вцепились?

Грибов молча стоял у стола. Этот вернувшийся к ней утренний лихой тон, этот смех... С чем он ее оставляет?

— Хватит, ну, хватит изобретать! — сказала Люба. Она скинула плащ и ногой отшвыривала с середины комнаты к стенам валяющиеся повсюду тубики и флакончики. — Вы ничего, совсем ничего не можете изобрести. Но это не ваша вина. Вы ничего не можете не потому, что вы такой уж бессильный, а потому что сейчас никто ничего не может. Никто. Знаете, как один адмирал хотел мне помочь? У вас, кстати, в Ленинграде.

— Разве я говорил ей что-нибудь про Ленинград, — подумал Грибов. — Какой адмирал? При чем здесь адмирал?

— Я тогда только школу кончила, — сказала Люба. — И придумала поступать не куда-нибудь, а в военно-морское училище. Пошла в военкомат — спросу, думаю. Там смотрят как на сумасшедшую. Ладно, думаю, без вас обойдусь. Поехала в Ленинград, в приемной комиссии документы, конечно, не берут. Хотют. Я — к начальнику училища. Не сразу, но день на третий пробила. Тот, как узнал, чего я хочу, и слушать не стал. Нет, думаю, я так не уеду. И стала его каждое утро ждать у подъезда. Он выходит из машины — а я тут. Он уже бояться меня стал. И один раз, вместо адмиральской машины, подъезжает милицейская. И везут меня в отделение. И начинают составлять протокол. Ну, еще не до конца составили, а тут звонок, и что-то, слышу, обо мне говорят. Одним словом — за мной через несколько минут та самая машина прикатила, адмиральская. И доставляют в училище — прямо к адмиралу...

— Ой, врать, — сказал Грибов. Знала бы она, кому это рассказывает!

— Не верите? Честное слово дать?

— Лучше так...

— Ну, тогда слушайте. Встает он мне навстречу...

— Кто?

— Да адмирал же! Встает навстречу, сажает в кресло...

— Ой.

— Прекратите! я все равно доскажу! Сажает в кресло, рукой махнул, чтобы все вышли, и говорит: «Милая моя девочка!»...

— Ой.

— Да не вру, не вру! Именно так и говорит: «Милая моя девочка! Что нам с тобой делать?»

— Я сейчас заплачу, — сказал Грибов.

— Прекратите! Ну, правда это, правда! Неужели вы не верите? «Что нам с тобой делать», — говорит. «Ты, — говорит, — пойми, что сейчас не двадцатые годы и не начало тридцатых, и не период войны, когда ты вот так могла бы чего-то добиться — одним своим искренним напором... И когда бы я тоже — гнал бы тебя, гнал, а потом шапку оземь и на свой страх и риск мог бы тебя принять». «Ты, — говорит, — пойми, пойми меня, старого офицера, что я, несмотря на все послышанные о женщине на корабле, всем сердцем бы желал тебя принять. Может даже, больше, чем ты сама хотела бы. Ты еще знать не можешь, как на старого человека действует, если кто-то из молодых всей душой рвется его дело изучать и продолжать». «Да мне, — говорит, — такой сразу родным кажется... Да принял, принял бы я тебя! И это при всем неудобстве от присутствия всего одной девушки среди курсантов! Училище-то огромное, порядок налажен, а из-за одной тебя столько тут пришлось бы кроить и подгонять — не приведи бог! Но и другое, другое было бы — благотворный фактор! При этом как бы ты ни училась — хорошо или плохо — все можно было бы повернуть на пользу училища. Мужчин-то настоящих — только присутствие женщин делает. Допустим, училась бы хорошо — так это всем троечникам в училище позор — девчонка их перешибает! А если плохо? Так тут помощников тебя подтянуть сразу бы столько явилось, да самых лучших, да самых бескорыстных! И можешь быть уверена — и закончила бы, и плавала бы, и на весь флот знаменита бы была! И флоту была бы огромная польза! Но, девочка ты моя, не в то время мы с тобой живем, когда я бы мог тебя принять! Нет у меня такой власти»... «У меня, — говорит, — если хочешь знать, вообще никакой власти разрешить что-нибудь из того, что не обозначено

в инструкциях, нет. Ты не гляди, что я адмирал. Вот запретить я многое могу, а разрешить... Не то сейчас время». «А как бы, — говорит, — замечательно, сам так и вижу, вот такую девушку, которая сама всего добилась, в лейтенанты вывести! Но нет на то моей власти. Поэтому не трави ты меня больше. У меня вот сын твоих лет, так он по моей дорожке идти вовсе не хочет». Сказал и к окну подошел. А потом проводил меня до самого выхода по коридору. У самой двери остановился и тихо так: «В тебе неумность есть... Так ты побереги ее. Не то время. И запомни — никто сейчас ничего не может. Ни мэр города, ни депутат, ни адмирал...» Я вам к чему это рассказываю? Вы, кажется, не знаете, как со мной распрощаться, вам все кажется, что я беззащитная. Поезжайте себе спокойно. Сейчас, действительно, никто ничего не может. Нет, безо всяких иносказаний.

— Когда же увидимся? — спросил Грибов.

— А вы этого хотите? Уверены, что хотите?

Люба на глазах делалась все тверже, все насмешливей, и ему становилось от этого все легче.

— Вернетесь — заходите... Когда вернетесь?

— Через три дня.

Ее глаза остановились лишь на секунду.

— Ну, что ж... Значит, какой это день будет?

Он сказал, она кивнула и, подобрав с пола помаду, написала число на обоях.

— Сюда приходите? — спросил он.

— А что, есть другие варианты?

Глаз ее ему было больше не поймать.

— Железку, железку не забудьте, — весело сказала Люба.

ХП

На лестнице никого не было, только там, где недавно маячили темные фигуры, густо зашуршали под ногами окурки. Пахло мочой. На площадке второго этажа он задел ногой пустую бутылку, и она, отвратительно отпрыгивая от камня, но почему-то не разбиваясь, отправилась по ступенькам в темноту. Он оцепенел, а придя в себя, обнаружил, что стоит на цыпочках.

Однако в троллейбусе, по дороге в общежитие, Грибов совершенно пришел в себя. Сосед по комнате лежал, держа перед собой газету. Собрав сумку, Грибов тоже прилег, задрал ноги на спинку койки. Пять минут, — сказал он себе. И провалился.

— Что за деваха-то? — тут же будя его, спросил сосед. — Стоящая хоть?

Грибов потянулся, свирепо зевнул и с неохотой встал.

— Стоящая? — кося глазами от газеты, повторил сосед.

— Да смешная... какая-то... — ответил Грибов и вдруг, сам удивляясь своей откровенности, добавил: — Считает, что кто-то следит за ней. Будто бы убить хотят...

— А-а... Чокнутая, — потеряв интерес, сказал сосед. — Ты смотри, они такие... Еще отрежет тебе что-нибудь...

— Мне? — идиотски переспросил Грибов.

— Нет, мне, — сказал сосед.

Поезд ушел у Грибова из-под носа. Он чувствовал, что опаздывает, но даже выйдя из метро, не прибавил шагу. Туповато посмотрев вслед поезду, он побрел по перрону обратно. Вместо досады, его опять одолевала сонливость.

Сосед по комнате, несмотря на первый час ночи, был одет и чистил ботинок, задрал ногу на подоконник. Лицо его, когда он понял, что Грибов вернулся, удлинилось.

— Не горюй, — сказал Грибов. — Завтра уеду.

Когда на следующий день Грибов пришел к воротам с проломом, пролом оказался завязанным толстой железной проволокой. Подъездов, выходящих на улицу, в доме не было, и выход в соседний двор был перекрыт глухо. Грибов вернулся, потрогал проволоку, отошел, подошел снова.

— Сашку не видел?

За спиной Грибова стоял хриплый мужик со свекольной рожей.

— Какого Сашку?

Разогнуть такую проволоку голыми руками нечего было и думать.

— Ну, Сашку, — сказал свекольный, — из уголовного. С Милкой еще живет. Да не, не пролезешь.

Было воскресенье, но около здания курсов почему-то стоял проректор. Стоял и улыбался.

— А-а... Морячок! — вспомнил он. — Ты вчера заявление какое-то... Ну, ладно, ладно, подумай еще! А Елена Петровна что-то...

Ничего он не помнил. Глаза его уютно слезились. Грибов взял проректора под руку, а тот по-стариковски обрадовался, поприветствовал его руку и залопотал что-то многословное, неинтересное, нафталин какой-то. Да еще в глаза заглядывал. И они побрели по Москве. И никак Грибову было старика не оставить.

В голове же у Грибова все время как бы повторялись его собственные, сегодняшние, теперь уже прошлые действия — да, он пришел, он — у ворот, но пройти-то не может — проволока... А как же там Люба? — спрашивал он себя. И отвечал: значит, нет там Любы... А если есть? Если она все-таки там? И опять отвечал: нет, не может же в нынешней жизни быть так, чтобы человека в центре Москвы вот так заперли, просто замотав проволокой ворота... Не может, — говорил он себе, — не могли. Не могли-то не могли, но тебя самого эта проволока остановила?

Когда, наконец, он отвел проректора домой, то неожиданно для себя попросил плоскогубцы. Старик оживился, глазки его засветились сообразительностью, спросил, для чего.

— Да так... одно дело... — замялся Грибов. — Просто магазины в воскресенье не работают.

И тот закивал, будто понял, и, пошебаршившись, принес здоровенные клещи: других, — сказал, — нет. Пришлось заворачивать в газету.

Но проволока на воротах оказалась уже разогнутой, отверстие открыто. Изнутри это сделали? Снаружи? И что же теперь? Лезть?

Оказывается, середь бела дня на виду у своих сокурсников лезть в пролом вслед за Любой было все же легче, чем забираться туда одному. Грибов несколько минут постоял прежде, чем решился. Ему казалось, что стоит лишь просунуть в пролом ногу, как завоет милицейская сирена, прибегут люди. Но все прошло тихо, если не считать того, что опять под ногами завизжала алюминиевая стружка.

Добравшись до той площадки, с которой раньше виднелись хромированные баки, Грибов посмотрел вдоль коридора, но коридор был теперь перекрыт глухой дверью. А были ли баки? Или ему уже мерещилось? А та площадка, где стояли в темноте двое? Окурки кто-то сгреб в сторону. Кто?

Дверь без ручки, которую открыла тогда Люба, была плотно вжата в косяк. Он постучал. Ответа не было. Он постучал еще раз — уже сильнее. Опять никого. Тогда он замолотил в дверь ногой, так что гул пошел по всей мертвой лестнице. Прекратив стучать, Грибов прислушался. За дверью, так показалось ему, послышался какой-то шорох.

— Откройте! — громко сказал Грибов.

Но за дверью опять не было слышно ни звука. Он снова постучал. Если кто-то его и слышал, то теперь этот человек затаился.

— Люба! Это я, — крикнул Грибов и назвалса по имени.

За дверью была тишина. Он постучал еще раз, потом еще. Попытался открыть дверь, как это сделала сама Люба, запустив все пальцы в щель порванного картона, но напрасно.

В какой-то момент Грибову опять померещилось, что он слышит, как за дверью удаляются шаги. Он забарабанил с новой энергией.

— Эй, слушайте! Не уходите! Скажите хоть, где Люба? Куда делась?

По тем же признакам, по которым ему показалось, что за дверью кто-то стоит, сейчас ему стало ясно, что за дверью уже никого нет. «Кто же там был? Старуха? Конечно, старуха, — подумал Грибов, — кто же еще?»

Грибов отошел было от бомжовского дома, но — вернулся, припрятал за батареей на лестнице клещи. Дом был, как избушка на курьих ножках: он поворачивался к пытающемуся войти то передом, то задом. Грибов был теперь от него в зависимости...

XIII

А в Москве попробуй да в зависимость не попади! Монастыри и крепостные башни, кабаки и кладбища — и те издавна подчинялись ее центральному магниту, и, ему же подчиняясь, залегло в глубине, схематично повторяя паутину главных магистралей, метро. И в эту же паутину все втискиваются и внедряются — и заводы, и стадионы, и шоссевые обхваты, и далее — за кольцевыми дорогами — концентрически по отношению все к тому же Кремлю — наматываются кольца уже других, внегородских, но зависимых от столицы общностей. Так, первым за объездными бетонками и железнодорожным обхватом, можно рассмотреть «золотое кольцо» древних городов, этот синхрофазотрон «Интуриста», на котором оный «Интурист», разогнав по нему конвертируемых иностранцев, выжимает валютную копейку; взяв другую лупу и иной подцензурности карту, сквозь то же «золотое кольцо» можно разглядеть и другое — не золотое, например, местной невеселой энергетики на торфе и буром угле, или «бублик» унылой районной промышленности: оборудование допотопно, а посреди огромных поселков, так называемого городского типа, стоит в озадаченности раскачиваемый ветром мужик в ватнике, как бы ожидающий, чтобы ему сообщили: городской он, наконец, житель или все еще нет? Житель этот всегда вполпьяна, но чем же еще заняться, кроме бутылки, если нет ни у кого ни своей земли, ни своей мастерской, ни неотъемлемых прав, ни жестких обязанностей — только полицейский поводок прописки, а кругом проклятущее, да еще доведенное до полного развала ничье добро — земля, которая не родит, скот, который сам ест, но страну не кормит, заводы, над которыми висят лисьи хвосты. И все в жизни этого жителя дальнего пригорода Москвы какое-то такое, что лишь на время может заменить и настоящее жилье, и настоящую работу, и настоящие отношения с другими людьми — неполноценное, временное, чтоб только как-то перебиться. Потому что в нашей истории вековая пересменка. И смотрит этот герой пересменки вопросительно только туда — в сторону Москвы, где мерещатся ему водочные реки и колбасные берега. Но туда — хода ему нет, разве что отстоять очередь номер один на Красной площади и снова вернуться на Курский вокзал. Потому что географически ему так выпало — идти третьим сортом — в московские лимитчики...

Следующее кольцо — круг еще более заштатных, забытых Москвой в их полупроголоди, старинных русских и татарских названий — Везьгонск, Буй, Кинешма, Моршанск, Пронск, Жиздра, Осташков и даже Бологое, то Бологое, которому не помогает даже тот факт, что сидит оно аж на шпалах тех самых рельсов, по которым скользят еженощно поезда номер один и номер два.

Рассказать, кто в этих поездах ездит?

XIV

Еще с час Грибов выяснял, как в ту квартиру можно попасть с другой лестницы. Но дом оказался путаной архитектуры, а квартира расположена так, что на другую лестницу вход был лишь с другого двора. Следующие ворота оказались сплошными и закрытыми наглухо. Третий же двор с нужным Грибову домом никак не соединялся. Зайдя в этот двор, Грибов спросил, как попадают в соседний дом. Ему ответили, что с параллельной улицы.

Грибов обошел квартал, пытаясь представить себе крыши домов сверху, нашел, как ему показалось, нужный двор, определил лестницу. По мере того, как он поднимался по этой лестнице, ему становилось все яснее, что такая лестница не может вести к берлоге, которую он ищет. На перилах вились украшения в ви-

де железных цветов и листьев, в верхних фрамугах еще оставались мелкие переплеты с витражными стеклышками. Грибов говорил себе, что именно так и различались раньше парадная и черная лестницы и нет в таком различии ничего странного, напротив... Но уже и высота этажей смущала — другая была высота. Дверь в квартиру, куда он позвонил, открыли почти сразу. На пороге стояла пожилая подтянутая женщина в строгих прямоугольных очках. Вторая, такая же, караулила сзади.

— Люлёша, кто там? — спросила вторая. — Что гражданину нужно?

Грибов мучительно подбирал слова.

— Какая черная лестница? — подозрительно спросила первая. — Вы что-то путаете.

В глубине квартиры пел пластиночный Лемешев. Или Козловский, — подумал Грибов. Оказывается, он их не различал, поколение Грибова было уже равнодушно к тенорам.

— Люлёша, по-моему, ты все объяснила гражданину, — сказала вторая.

Со старухой, которая кряхтела так же, как та, у которой Люба снимала комнату, Грибов неожиданно столкнулся нос к носу во дворе. Старуха стояла и тяжело, с кряхтением, кашляла.

— Где Люба? — спросил Грибов. — Куда она делась?

Старуха перестала кашлять и оглянулась. Глаза у нее были пустые и одновременно цепкие.

— Кака така Люба? Не знаю.

— Да как же! У вас в квартире со стороны черной лестницы... Я был там у вас...

— Нигде ты у меня не был.

— Да Люба... ну, Люба, ваша квартирантка! Что вы притворяетесь! Угол-то у вас она снимает?

Старуха снова закричала, продолжая озираться.

— Никто у меня ничего не снимает.

Не умел Грибов против таких людей, ничего не умел.

— Ну, как же...

— А вот так же.

— В милицию, что ли, идти? — сказал он.

— А что? — вдруг странно оживилась старуха. — Давай, милый, пойдем! Пойдем! Расскажешь, как по квартирам-то лазишь. Пойдем-пойдем, там все и расскажешь! Как в чужую квартиру без хозяйки залез. И деньги вытащил. Двести рублей на тебя запишу, чтоб знал!

И запишет, — подумал Грибов.

— Где Люба, скажите, по-человечески же прошу...

— Иди! Иди, покуда не сдала, куда нужно! — яростно растопырив локти, крикнула старуха. — В квартиры, вишь, залазит, а потом Люба ему кака-то! Козел паршивый! Я те такую Любу покажу... икать забудешь!

Старуха повернулась к Грибову спиной и заковыляла, подволакивая ногу. Подворотня, в которую она скрылась, вела еще в один двор.

Ошпаренный ее криком, Грибов стоял, не зная, что дальше делать. Та эта старуха? Не та? Мало ли кашляющих? Последняя ниточка к Любе рвалась, и другой не будет. Это в лесу можно найти человека, в Москве не найдешь.

Чтобы увидеть, к какой из лестниц пошла старуха, Грибов двинулся вслед, но в подворотне опять столкнулся с ней — та, оказывается, сама ждала его, держа наготове синий пластмассовый свисток.

— Грабют, — негромко и совершенно спокойно произнесла старуха, и захлебывающаяся милицейская трель наполнила подворотню.

— Прекратите! — сказал Грибов.

Свисток на миг замолчал, старуха сделала глубокий вдох, кашлянула, вновь тихо произнесла: «Грабют», — и засвистела опять, глядя на Грибова бессмысленным взором.

— Прекратите! Да прекратите же! — крикнул Грибов.

Возникла дворничиха, сразу за ней еще две.

— Грабют, — прерывая свист, радостно сообщила старуха. — Сдайте его, бабоньки.

Грубо и равнодушно его вытолкали со двора.

К кассам на вокзале он даже не пошел — предвидел бессмысленность, — отправился сразу на перрон и не ошибся. Уже в середине состава он нашел проводницу, которая на его вопрос, нет ли места, ничего не ответила, но посмотрела вдоль поезда в оба конца. Так и вышло — место нашлось. Грибов сразу же лег и заснул, словно провалился. Но уже скоро то ли от звука какого-то, то ли от тряски открыл глаза, и Люба привиделась ему так ясно и близко, словно была тут же, в купе. Перед ним стояло ее лицо, и оно было дерзким и веселым, как вчерашним утром на бульваре. Глаза ее все теплели, и, продолжая так смотреть на Грибова, Люба уже была рядом с ним, и он опять чувствовал ее горячее дыхание. Но если все так сразу и так все беспрепятственно, так это не может означать ничего настоящего, — говорил себе опытный, начитанный, вторично женатый Грибов. Дорожим-то мы в конце концов лишь тем, чего долго и трудно добивались, — объяснял он себе. Все-то он понимал, все знал заранее, но прошел еще час, а Грибов то вертелся, то, внушая себе, что спит, насильно закрывал глаза, то заставлял себя думать, как проведет завтрашний день в Ленинграде. Но завтрашний день на ум не шел, опять возвращалась Люба... Сна не было.

Он вышел из купе в коридор. Коридор был до гулкости пуст, лишь на откидном сиденье качалась китайским болванчиком пожилая сухонькая женщина.

— До Бологого-то и досижу, — как знакомому, негромко объяснила она.

У ног женщины стояли ее вещи. И непонятно было, то ли безбилетница и сидит тут по милости проводницы, то ли заранее собралась, чтобы не тревожить ночными сборами купе.

Ощущая похожую на голод потребность хоть кому-то рассказать, что с ним происходит, Грибов приостановился у темного стекла. Желал он говорить, конечно, о Любе, но кому? Этой тетке? Через десять минут он уже неудержимо вещал вглядывавшейся в него случайной попутчице про странные свои курсы.

Попутчица смотрела на него внимательно и даже, кажется, слегка волнуясь, а когда он назвал цифру стипендии — сто пятьдесят рублей, — всплеснула сухими ладошками с таким искренним изумлением и глаза ее мгновенно так ожили, что ясно стало одно: из всей путанки его монолога женщина не поняла ни слова.

— Чего только не бывает... — пробормотала она, глядя на Грибова то ли с восхищением, то ли с ужасом.

— Как о нечистой силе, — подумал он.

В Бологом Грибов откатил дверь в спящее купе, взял сумку и мимо заспанной проводницы пошел на перрон.

— Куда эт? — подозрительно спросила она вслед.

Он махнул рукой — к перрону с другой стороны подплывала «Красная стрела» из Ленинграда. Утром Грибов снова был в Москве.

Увидев его перед лекциями, Елена Петровна сделала круглые глаза:

— Пойдите, пойдите... Я чего-то не понимаю...

Но Грибов прошел мимо и сел на свое место. Сзади его хлопнули по плечу. Это был сосед по общежитию.

— Ты ж вроде уехал, — сказал сосед.

— Ну, уехал.

— А-а... — понимающе протянул тот. — Извини.

Первую лекцию Грибов отсидел, ничего не понимая. С трудом дождавшись перерыва, он вышел на бульвар. Не раннее уже утро продолжало быть каким-то белесым. Тонким пером были прочерчены в прохладе полутумана троллейбусные провода и голые, черные, но уже живые ветви деревьев.

Дом, который манил Грибова, виднелся через бульвар наискосок, по ту сторону бульварного кольца, которое, — он так подумал, — этот дом просто зажало.

И еще он подумал, что так хочет увидеть эту девушку, как давно ничего не хотел. Но что за причина?

Господи, какой он все-таки осел! Ведь клещи-то он спрятал на той лестнице, но как же он туда попадет, если пролом опять замотан?

Грибов пересек бульвар и подошел к знакомым воротам. Прореха в воротах оказалась открытой.

Уже почти привычно Грибов скользнул взглядом в обе стороны. Кроме явно случайных прохожих, лишь какие-то похожие на бомжей двое маячили у соседнего дома. Но приглядываться Грибов не стал. Тех, в полутьме лестницы, он все равно не рассматривал.

Лезть в пролом на этот раз оказалось намного проще.

Да нет, куда она может пропасть? Она тут! За сутки, конечно, не переместить хозяйство, какое оно ни птичье... Ну, не застал, ну, уходила, но сейчас-то...

— А если она не одна? — подумал Грибов. Да нет, не может быть. Не может так быть. Потому что тогда все, что он сейчас делает, — включая его ночную пересадку в Бологом, — полная чушь и идиотская глупость. Включая и это, заслонившее все остальное, желание — поскорей ее увидеть. Он понимал, что не для его возраста это волнение, а, главное, не для его нынешнего характера, но ничего не мог с собою поделать. Вот только поднимется по этой лестнице, увидит ее, а потом снова заживет правильно. Так правильно, что будет даже скучно. Но сейчас он должен ее увидеть. И ничто уже не может этому помешать.

А если у нее все-таки кто-то там есть? Ну, и пусть. Мы ему скажем, чтобы валил... Кто это мы? — Мы, — сказал он. — Мы — это я и Люба. Мы с Любой. Так и скажем: вали-ка, дружок. Но нет там у нее никого...

Грибов миновал второй этаж вымороченной лестницы. Дверь в коридор, в конце которого отсвечивали нержавеющей сталью таинственные баки, ради понедельник опять были раскрыты, и опять там, вдалеке, маячили какие-то белые халаты, но было это, как за толстым, да еще исцарапанным стеклом. Звуки оттуда на лестницу едва доносились.

Грибов миновал третий этаж. На следующем этаже, за батареей, он спрятал вчера клещи. Надо будет на обратном пути их не забыть.

На промежуточной площадке между третьим и четвертым этажами валялась на боку женская черная туфля. Грибов тронул ее носком ботинка. Тусклым золотом блеснула на стельке иностранная надпись. — Да это же ее туфля, — узнал он и поднял глаза.

На площадке четвертого этажа кто-то лежал. Грибов сначала увидел ноги. Одна была в туфле.

— Эй! — негромко сказал Грибов. — Эй!

Вышло так гулко, так слышно на всю лестницу, что он невольно оглянулся. Лежащая не шевелилась. «Неужели так напилась?», — отказываясь даже предполагать что-либо другое, подумал он. Он поднялся на ступеньку, потом еще на одну, затем еще. Девушка лежала ничком на цементе площадки, и вставший горбом плащ и рассыпавшиеся волосы закрывали ее повернутое боком лицо. Но это был ее плащ, ее волосы, ее ноги.

— Эй! — повторил Грибов. — Вставай!

Девушка не шевелилась. Грибову стало жарко, он задохнулся, в тишине лестницы пошло считать гулкие удары его сердце. Грибов присел около лежащей, дотронулся до плеча. Плечо было костяное. Он потянулся к волосам, убрал их со щеки. Это была Люба. Полуоткрытый глаз ее смотрел прямо в цементный пол. И тут он увидел кровь. Кровь была под головой, под телом, и поэтому он сначала ее не заметил. Повинуясь чему-то, чего сам бы не смог объяснить, Грибов, леденя, приподнял тело Любы за плечи. Ему надо было для чего-то заглянуть ей в лицо.

И только тут Грибов закричал. Висок Любы, которым она приникла к полу, оказался продавленным внутрь головы. Тут же, прямо в черной, загустевшей луже, лежали огромные старомодные клещи.

Грибов оцепенел, выпрямился и, цепляясь ногами за ступеньки, бросился вниз. На алюминиевые стружки в подворотне его вырвало.

XV

...А уж за теми кругами-кольцами следует Кольцо российских обкомов. Многорядное кольцо это тяжелей и ухватистей прочих. Все, что было местнического и неповоротливого в старину, что по-кабаньи веками держало оборону против всякого свежего ветра, что не давало сначала крестить, затем объединять Русь, а потом брить бороды и танцевать на ассамблеях, а потом обзаводиться университетами и избавляться от крепостного права, все то, что мешало дать конституцию Польше, самоуправление Финляндии, отменить черту оседлости, ввести парламентаризм, что так искренне ненавидело саму мысль о свободе выезда и вольной печати, но что, так рабски оживляясь, рукоплескало любому сигналу сверху на ограничение и зажим — все это, благополучно просуществовав века, сидит там и сейчас. Затылки главных лиц, похожие на поросшие мохом бульжники, размытые лица замзавотделов, гладкопричесанные инструкторы и, вместо знания иностранных языков, умение читать между строк, да серые здания — с флагом — на голых асфальтовых площадях. А вокруг этих забытых богом городов — гниющие рыжие свалки, перламутровые отбросы мясокомбинатов, на которых уже самовывелся особый вид сухопутной чайки, розоватые от выступивших наружу химикатов поля, курганы удобрений на берегах рек и белые ручьи, стекающие с этих берегов. А в городах — пустые магазины, захарканный вокзал да убогий воскресный базар — десятипроцентный раствор хищных и юрких проныр в нищем растяпстве...

Россия хрипит в смирительной рубашке, которую сама на себе из века в век затягивает. Давит, давит и Россию, и Москву эта смирительная рубашка. Губернаторская власть, как пелось в одной песне, — хуже царской...

XVI

После того, как Грибов вернулся в Ленинград, прошло уже несколько месяцев. Он вернулся на тот же завод, с которого отправился на курсы в Москву, но место его оказалось занятым, и, так как он сразу же согласился на должность и пониже, и подешевле прежней, то о нем пошел слух, что вернулся он не доучившись, потому что опасно болен. Нелюдимость — как новую его черту — и темные очки, которые после возвращения он стал постоянно носить, восприняли как подтверждение диагноза.

Однажды, глубокой ночью, в дверь квартиры Грибова кто-то позвонил. Жена Грибова Вероника проснулась и, не зажигая света, чтобы никого не будить, вышла в прихожую.

Позвонили, оказалось, ошибочно, просто перепутали этажи. Вернувшись в спальню, Вероника почувствовала неладное и зажгла свет.

Грибов, с дикими глазами, босиком, стоял, вжавшись спиной в угол за шкафом.

— Худой сон? — спросила разумная, никогда не спрашивающая больше, чем можно, Вероника. — Таблетку дать?

...Такой боли в груди и такого страха Грибов не знал. А он, страх, все наваливался и наваливался, и боль все росла и росла, как будто ему, Грибову, предстояло что-то такое, чего никто и никогда не испытывал...

Ленинград

Алла АХУНДОВА

ОТКРЫТКИ С ВИДАМИ

* * *

У Радищева: «Чудище обло, огромно, озорно, стозевно и лаййй».
А у нас на углу телефон-автомат пахнет воблой,
И по улице ходит раздутый от пива трамвай.
То не толпы под пенно-пузырчатым облаком кружат,
Это сброшен над городом пьяный воздушный десант.
И, держась за стеклянные стропы раздувшихся кружек,
Приземляются там, где строчит, желтым пивом шипя, автомат.
Всех мотаает из стороны в сторону пена тугая,
Кто лежит, кто повис, кто болтает ногами жуком,
Опрокинутым на спину. Жителей бедных пугая,
Парашютную пену сдувают и топчут тупым башмаком.
Этот главный военный объект — на углу нашем, наша пивная,
Удивит хоть кого неожиданной самой развязкой,
Ведь десанту воздушному жизнь не подходит земная,
И на место их высадки мчит мотоцикл милицейский с коляской.
Да, у нас на углу телефон-автомат пахнет воблой,
И по улице ходит раздутый от пива трамвай...
У Радищева — «чудище обло, огромно, озорно, стозевно и лаййй» —
дословно,
А у нас — проявление позорных явлений наследия прошлого
и ай-яй-яй!

* * *

Где это было? И было ли? Было. В Афоне,
В Новом Афоне, уже за стеной монастырской,
На ограждающей храм от помойки зловонной,
От санаторно-курортной заразы российской.

«Знать я не знала и ведать не ведала, что перед смертью
Буду просить подаянья у вас, неимущих» —
Это сказала старуха. И где? Не на паперти, на парапете
Маленькой арки, с двух лестниц к обрыву ведущих.

Женщина это сказала, недавно, в двадцатом столетье,
Тем, кто купил в девятнадцатый белый билетик...
Женщина это сказала, не нищая с виду, поверьте,
Белые волосы, белая кожа и белый беретик.

Ей подавали, кто сколько, кто больше, кто меньше...
Больше и меньше чего?.. Никогда не узнаешь.
Больше, чем мало и меньше, чем много для женщин,
Тех, подавая которым, уже обираешь.

Что мы сказали? И было ли сказано это?
Мол, от тюрьмы и сумы зарекаться не будем...

И на мгновение все мы не взвидели света
И устыдились, что и обещаем, как судим.

Место-то выбрано было какое для встречи!
Место на склоне горы, на самой середине.
Время-то выбрано было какое — ни утро, ни вечер,
Даже не полдень, у белого дня в сердцевине.

Только теперь понимаю, зачем это именно место,
Только теперь понимаю, зачем это именно время...
Вверх возносились заборы ремонтного треста,
Смоквы роняли на землю иссохшее семя.

Где это было? Везде и всегда, повсеместно...
Только теперь понимаю, зачем это было.
Перекреститься на храм обернулась... А крест-то? Где крест-то?
И поспешили уйти. С нами крестная сила!

* * *

Купленная в Кайруане
Дудочка моя сломалась...
В Кайруане, как в дурмане,
По базару я слонялась.
Не сержусь я на торговца,
На торговца-нечестивца.
Не осталось кроме солнца
Тех событий очевидца.

... Снова требуют знамений
От пророка Мухаммеда,
Ни в одном из поселений
Не уверовали в это.
И «пучками сновидений»
Признают слова поэта.
Мол, таких являлось много
С устным словом или книжным,
Мол, поэт измыслил Бога
Измышлением облыжным.
Пусть укажет, где дорога,
Ну а мы покуда вьждем...

Светит истина, не старясь,
Морщат море разнотолки,
Ложь, об камешек ударясь,
Разбивается в осколки.
Тени, вышедши из ниши,
Все своих хозяев ищут,
И того Господь превыше,
Что ему еще припишут.
Ныне так же, как и ране —
Откровение и... малость:
Купленная в Кайруане
Дудочка моя сломалась.

* * *

Родиться б в Сиди-Бу-Саиде,
Дожить до голубых седи,
Твердить в молитве и касыде:
Аллах один, и я один.
Ходить весь год в простой холстине,
Сливаясь с белизною стен,
Читать Коран и чтить святыни,
А между тем и вместе с тем —
С чужим невежеством лукавить,
Но прошлого не осквернив,

Монету римскую чеканить,
 Для древности подзеленив.
 Выращивать анис и спаржу,
 Ловить моллюсков, прясть иль шить,
 Возить всё это на продажу,
 А там и лавочку открыть.
 И перед этой лавкой сидя,
 Товаров сдерживать обвал...
 Блажен, кто в Сиди-Бу-Саиде
 Земную жизнь облюбовал!
 Кто, голову покрывши кефи,
 Сидел в кофейне, пил, дышал,
 И о здоровье словом «кейфе»
 Своих знакомых вопрошал.
 Здесь можешь в рог пастуший, турий,
 Трубить и будешь людям люб,
 Лишь признавай в архитектуре
 Свод, но поставленный на куб.
 И не жалея лазурной краски
 На рамы окон и дверей...
 Кто не нарушит жанра сказки,
 Тот попадет в нее скорей.

Эх, кабы нам бы, тоже там бы
 И очутиться! Но, боюсь,
 Мои мечтательные ямбы
 Ассимилируют аруз.
 Мечтательность — всегда измена
 Реальности. Ее закон
 Велик колоннам Карфагена
 Османский подпирать балкон.
 Надгробья из времен Хавсида
 Ложиться в зелень льежских трав,
 Как древне-римская апсида
 На византийский архитрав.
 Мечтатели — всегда убийцы
 Реальности. Беда от них.
 Осталось что от финикийцев?
 Что, кроме фиников одних?
 Мечтатель — безобидный с виду,
 А запоем — и — наповал!
 Такой вот Сиди-Бу-Саиду
 При мне однажды воспевал.
 Как в бело-голубую прорубь
 Кофейни провалиться нам?
 Прохладно. Тихо. Гулит голубь.
 Курильщик... Булькает кальян.

Но глаз поэта ненасытен,
 Полет мечты — неуследим...

...Сидеть бы в Сиди-Бу-Саиде!..
 А мы с тобою — где сидим?!

НАИВНОСТЬ

Те же сосны, те же ели,
Те же даже тополя...
Неужели, неужели
Та же самая земля?

Неужели за границей
Заграницы вовсе нет?
И крестьянка заслонится,
Глядя поезду вослед.

Ну точь в точности такой же
Заскорузлую рукой?
Невозможно, невозможно,
Чтоб и солнце, чуть попозже
Опустилось за рекой!

Да, совсем не те морозы,
Реже лес, и ярче розы,
Чище — в домиках уют...
Но увидела — и в слёзы —
Представляете, берёзы,
Здесь, в Германии, растут!

* * *

Как нарисованная — грядка,
А домик — хоть сейчас в букварь!
На всем лежит печать порядка,
Печать порядка и печаль.
Стою, прикидывая глазом,
С досадой легкой, ах ты, чёрт!
Так вот как торжествуют разум,
Нерасточительность, расчёт?
Здесь так справляют новоселье,
Как выучили наизусть.

В его размеренном веселье
Неуловимейшая грусть.
Никто чужой не постучится,
Случайный гость не забредёт...
Лишь нарушителем границы
Крадётся Фридрих — рыжий кот.
Как дух, он бродит, всем мешая,
То резать дёрн, то резать торф...
Деревня новая, большая,
Печальный Хохен-Нойен-дорф.

* * *

Ой, чужая сторона,
Чем же ты меня прельстила?
Велика твоя вина,
И великую — простила.
Уж не тем ли, чем сильна
Христианская доктрина?
Или тем, что в дождь грустна
И цветущая долина?
Уж не тем ли, что стена,
Мне, чужой, и то постыла?

Не чужую же она,
А свою страну делила.
И чужая сторона —
Грех родимой отпустила,
И чужим крестом она,
Как свою перекрестила.
Все крестили: и окна,
Золотая крестовина,
И крестивших имена
Были Христофф и Кристина.

* * *

Что мне печаль земли германской?
 С своей бы справиться, с своей...
 Но вот, у кирхи гефсиманской
 Случилось жить в соседстве с ней,
 Так близко, что и живший рядом
 Шутил: — Рукою не задень!
 ... А ночью, там бродила садом
 Одна единственная тень.
 Она — то дивно удлинялась,
 И доставала до креста,
 То умаляясь, растворялась
 И унижалась до куста.
 Тень то таинственно троилась,
 То собиралась в тень одну...

Там что-то страшное творилось,
 И не в чем упрекнуть луну.
 Зияла мракот в те мгновенья
 Её пустая ячея...
 Ты, тень великого сомненья,
 О, я догадываюсь, чья.
 А на рассвете сад дрожащий
 Вознёс свой ропот до небес:
 — О чаше, он молил о чаше...
 Она не минула и здесь.
 Вдали от кирхи гефсиманской
 Благословляю эту даль.
 Одна — и у земли германской,
 И у моей земли печаль.

ТУНИССКАЯ РОМАШКА

У всякой пташки и замашки
 Свои... Везде свои цветы.
 Ну что особого в ромашке
 ТуниССкой увидала ты?

Не венчик лепестков невинный,
 А сгусточек, кровоподтек
 Черно-лиловой сердцевины
 Мое внимание привлек.

И, может, это все пустое,
 Но у российской-то, небось,
 Ромашки — сердце золотое,
 А в этой — кровью запеклось.

А, может, всюду прорастают
 Цветами чистые сердца?
 Убить их — просто не хватает
 Ни стали острой, ни свинца

Ромашек белые рубашки...
 Как смертников в любом краю
 Убитых в сердце, без промашки,
 Я, холодея, узнаю.

По ранке маленькой, смертельной
 В сердечке завязи живой...
 Российскую — от огнестрельной
 ТуниССкую — от штыковой.

Мы все эти ароматы,
 Как могли, переводили.
 Перевод — абракадабра.

Переводы эти — уксус.
Но спроси, как пахнет амбра?
Но спроси, чем пахнет мускус?

Ароматы знаю мяты,
И шафрана и аниса...
Склянку — с полки! Непонятно!
Пробку — вон! И полились
Ароматы рубайата,
Чудо-запахи хадиса...
Упоенья и восторга
Ароматы я вдыхала
И поэзия востока
Первый раз благоухала.

* * *

Перед лавкой благовоний
Охватил священный ужас.
Амбра — на одном флаконе,
На другом флаконе — мускус.
В этой синей склянке — мир,
А кипер — в другой, зеленой...
Веет ароматом лиры
И кифары сладкозвонной.
Аромат до нашей эры,
Запах Ветхого Завета...
Все эфиры, эфемеры
Воротились с того света.
Благовониями мифа
Мне наполните флакончик,
Я духами Суламифи
Надушу себе платочек,
И цари, и царства гибли,
Улетучивались эры...
Но осталось, чем богини
Умащались и гетеры.

Знала розового масла,
Знала персикового запах,
И гвоздичного прекрасно
Запах знала, что на запад
Их с востока привозили,
Запах имбиря, ванили,
Из поэзии, понятно...

* * *

Вдоль Эльбы, вдоль Эльбы
Летают не эльфы,
Полёт не валькирий,
Но автомобилей,

А на повороте,
Вдруг, с профилем Гёте
Какой-то прохожий,
Бессмертно похожий.
Но вот, уже Мейсен...
Он каменной мессой
Забытому Богу
Служа, сам дорогу
На землю не помнят.
Но каждый им поднят
До неба, до неба...
И всё же нелепа
Музея и храма
Последняя драма.

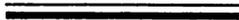
Опустимся ниже,
К реальности ближе.
Почувствовав голод,
Спускаемся в город.

Дорогой булыжной
Грохочет карета.
С бумажным плюмажем
В витрине — котлета.

В окне обелиски
Фарфоровой киске,
И прыскают соком
В таверне сосиски.
В саду Мефистофель
Копает картофель.
Надменный художник —
Мольберт и треножник,
И холст, где, похоже,
Бог — главный безбожник.

И снова вдоль Эльбы,
И снова не эльфы,
Полёт — не валькирий,
Но автомобилей...

День, загнанный в угол,
Несущий в заклад
Всё золото всех Нибелунгов —
Закат.



ОРФЕУС

Увлекаемый теплым плотным течением Орфеус медленно плыл по тоннелю. Кистеперые, ластоногие, утконосы, до сих пор приносящие детенышей в яйцах, вся эта дрянь, моллюски, отшельники, хитро упрятанные, вмурованные в стены и внезапно их покидающие, сладко кололи икры, бока. За Орфеусом тянулись исторгаемые чьими-то беззвучными спазмами клубы серо-зеленого, уробного света. Свет был не утренний, не дневной, не вечерний. Он был вневременной, тягучий, слеплый. Был этот свет сущим наказанием, был немалым испытанием, и потому Орфеуса раздражало ощущение, что плывет он всего-навсего по грубо вытянутой, хорошо промытой кишке, а не по сущему пеклу и аду. Кроме света, Орфеуса терзала медленная — в такт его гребкам — музыка...

— Это глухая музыка Глюка, — откладывая флейту часто говорила Кира, мило и почти незаметно коверкая слова. — Глухая, глухая — совсем, как вы, как я!

У нее был редкий дефект речи, сочетания «ло» и «лу» она произносила как «ле» и «лю». Ее и в школе всегда просили сказать что-нибудь содержащее эти слоги. Получалось: «молеко», «столевая», «масле».

И живя дальше, и продолжая жить, она всегда что-то теряла, как вот — начисто пропали веснушки; что-то приобретала, допустим, легчайшую хромоту левой ноги, но этот дефект, дефект речи, — оставался. И было в нем, несмотря на его бесплотность и невесомость, нечто незыблемое: как день, как вечный поезд за лесом, как тяжелые низкие облака весной. Но была и какая-то радость детства, радость, которая часто сменялась приступами меланхолии и тоски.

И сейчас в переходе метро, под землей, в красном тумане усталости, подводя к концу знаменитую глюковскую мелодию, она вспоминала, кто и как просил ее выговаривать эти слова на «лу» и на «ло».

И возникали перед ней дальние родственники и учителя, физкультурники, секционисты и секретарши, инструкторы секса и прабхупадисты, контролеры из кинотеатров, демократически настроенные тенора, консерваторы басы, потаскухи с последних курсов, оркестранты Ярославского музыкального училища, бывшая номенклатура, играющая на скачках... Собственная бабка Мария вламывалась, качала головой, долбя, как зеленый в черной накидке, с восковым прозрачным клювом дятел:

— Не доведет тебя гэта стервоза до пути, — и добавляла, шамкнув пустым ртом. — Ну, собирай свою музыку — семь часов!

К вечеру переход пустел. Часы наплыва давно прошли, народ разметало по хлевам и пещерам, по хавирам и норам. Но воздух перехода оставался. И жег ее, и жил в ней, превратившись в крутоухую цыганскую иглу, путешествующую по венам, вызванивающую от столкновений с металлическими частицами крови так, как звенели, падая на атласную подкладку лежащего перед Кирой берета, деньги никелевые, медные, мелкие...

Денег было немного, но все же больше, чем когда играли со Станиславом Аркадьевичем вдвоем. Флейта и гитара. Гитара и флейта. Думс-бамс-ждыбадым. Восьмые, четверти, шестнадцатые, рубли, двадцатикопеечные, гривенники, иногда трешка... Но игра вдвоем как-то меньше увлекала слушателей. Станислав Аркадьевич это вовремя понял, «промоделировал», как он сам говорил, и приходил теперь только вечером, терся поодаль: за одиночество и сиротство подавали щедрей.

Но сейчас время выхода, время жатвы еще не пришло, и Станислав Аркадьевич, сидя на диване напротив жены и улыбаясь, пил чай с молоком. Пил, обещал жене принести с ночного дежурства хомяка, еще кого-то...

Время еще не пришло — а переход был уже омерзительно пуст. И Орфеус стал чувствовать какие-то подозрения, только усиливавшиеся от колыхания серой зелени. Теперь его изводили не свет, не музыка, а дурацкое запрещение, не позволявшее обернуться и рассмотреть свою сегодняшнюю партнершу.

— Нашел с кем игры играть! — думал он о Станиславе Аркадьевиче, захлебываясь кислотой и злостью. — Дурак трехнутый!

Он думал и напрягался, но обернуться не мог. Мешали выставившие за спиной скалы, теснины с курящимися туманами, мешали дикие желтые поля с островками бурьяна на них, мешали нацепные белые крылья и сверток с бельем под мышкой.

— Ничего, — шептал Орфеус себе, — я ее еще посмотрю, я ее, я ... в хвост и в гриву! В хвост и в гриву!

— Ничего себе! — подумала Кира, мельком глянув на узкие ручные часы. Станислав Аркадьевич запаздывал. И она вспомнила, как рыжеволосый и сутулящийся, с белым широким лицом, он подобрал ее на вокзале, опоздавшую на ночной поезд, плачущую в углу, за прищелкивающими автоматами, и уговорил не ездить через день к себе в Ярославль, а жить у него на второй квартире в Орехове-Борисове. Жить, немного работать, иногда музицировать...

Станислав Аркадьевич был добр. Он даже обещал добавить на одно нужное дело, из-за которого Кира и торчала-то в переходе...

Но смазалось, обтрескалось и осыпалось кроткое воспоминание, и Кира начала играть снова: гибкая, длинная, веселая, несмотря на наливавшую ее какую-то странную слабость, тонкокожая, с большими, синеватыми, словно специально для флейты вылепленными губами, она брала дыхание и мягко выпускала в ствол чуть картавую скороговорку:

— Не оборачивайся — четыре шестнадцатых — Орфей! Не оборачивайся — восьмая с точкой, шестнадцатая — не оборачивайся! — четверть, половинная, четверть — я не останусь — шесть восьмушек — я не останусь в аду...

Томление Орфеуса достигло предела. Как! Выполнять условия этого индюка, проскочить стороной и не оглянуться назад! Что там за страшилище, что там опять за уродка, вместо покладистой Эвридики, вместо жалкой заезжей дурочки?

И тотчас выткнулся из-за колонн, из-за бронзовых амфор и классических изваяний Станислав Аркадьевич и мягко сказал Кире: «Собирай шкаматки. Все на сегодня. Тебя ждут. Ждут тебя... Деньги потом, — остановил ее ласковым жестом, — потом, потом...»

И в тот же миг Орфеус доплыл до конца тоннеля. Дальше начинался спуск вниз. И злость трепетала уже в каждом квадратике его тела, горела мелкими, повсюду раскиданными костерками. И он неожиданно чистым, сладостно-круглым голосом сказал себе: «По сути, все равно ведь», — и, разминая рукой мышцы шеи, стал медленно оборачиваться, и для Киры стал сквозь пелену ночи проступать вечный ад. И она, засыпая на руке круглоглового, беспокойного человека, пугавшего ее матерчатой змеей (он так и вошел к ней со змеей на левой руке, и, засыпая, все гладил атласную, великолепную и в нужном месте изогнутую спину, этой самой змеей, смешно раскрывавшей пасть и побалтывавшей красном жалом), и она, засыпая, думала: «Так слаще, так легче, так лучше». Думала и уходила вниз, по каменным колодцам, сквозь клубящуюся зелень от себя самой — навек, ни за чем, навсегда...

— Я... я... я... — шептала она. — Я ведь вернусь еще? Ведь все повторяется? Все повторится?

— Все уже есть. Все уже есть, — отвечали ей. — Все всегда было. Поэтому повторяется нечему. Все уже есть сейчас, и можно только выбирать из сотворенного для каждого из вас ряда...

Все уже было выбрано. И Орфеус снова вернется и войдет в ее нежную страну, страну рассыпающуюся от дуновений и крепнущую от насилий, войдет во втянутые вглубь шурфы, раздерет трепещущие лепестки. И она, зараженная влажной инфекцией дурных помыслов, останется лежать все в том же переходе, добравшись до него из Орехова на такси, чтобы упав здесь, не суметь доползти

до нужного дома, где помогали исправлять дефекты речи, изменяли звук внутреннего пространства... И будет вокруг так же томительно пусто, как и тогда, в первый раз, когда Орфеус, заглушая ее чуть слышную мелодию, и только начиная оборачиваться, прятал вихляющуюся матерчатую змею, с нераздвоенным красным жалом, и сматывался из квартиры Станислава Аркадьевича. Потому что путь Орфеуса ощущался им как путь к верховенству, вовне. Кира же оставалась в каменеющем от страха будущем, ни на кой ей не нужном, рядом со своей вынутой душой, с этим мелким колпачком, с этой пузырьчатой двуцветкой, на которую даже прародителю жизни тошно и горько смотреть. Так горько, что он мог бы и сам (если б только не знал тщетности этого), мог бы и сам крикнуть:

— Не оборачивайся, Орфей!



Алла КТОРОВА

ДО ПЕТРОВА ДНЯ

Прошли годы, многие годы. Если бы все мы двадцать лет тому назад вышли замуж на наших Володек, Жорок и Сергеев, то у нас могли бы уже быть и маленькие внуки. У Аськи вот дочь Наташка сразу после школы выскочила замуж, а ей только восемнадцать. Значит, у нашей Аськи скоро будет внук.

И вот, иду это я и вспоминаю все это...

* * *

А в это же время в новом микрорайоне этого же города, в одном из чудных, только что отстроенных домов повышенной этажности, в одном из этих элегантных красавцев — произошел ультраскандал.

Кто-то сделал шкodu: выставил на подоконник загранично-магнитофон и вместо того, чтобы пустить что-нибудь тужурно-амурное, поставил на полную мощность разудалую нашу «Летку-енку»:

Летка-енка, хоппель-попель,
Боссанова, тер-ри-кон...
Он вчера плясал в Европе,
А сегодня в Туле он.
Кто же этот быстрый парень?
Правильно! Артист Шубарин...

Что оставалось жильцам? Только тихо улыбаться. Они так и делали. И вдруг... Вместо последнего слова этой песенки-милашки прозвучало по схожести что-то такое, что заставило сплотиться даже Подлегаевых и Кошкиных и подать коллективное заявление-жалобу начальнику местного отделения милиции.

Электробезобразия были мгновенно остановлены, как только эстетический патруль ввалился на квартиру к восемнадцатилетней Жанне-Радость Н., временно конфисковал ее собственность за аморальность поступка и пригрозил арестом на пятнадцать суток за мелкое хулиганство, если этот колоссальный срамсию минуту не прекратится.

Юная Жанка-Радость Н. унизила свое человеческое достоинство с полным отчетом того, что она делает. Ей пришлось начать изъясняться на бойком молодежном жаргоне и беседу с дружиной вести в несколько приподнятых тонах:

— Вот гадство, — орала она, вцепившись в новый немецкий магнитофон. — Маг уводить? Офонарели, чи шо, или облученные вы? Легче, зануда... Частную собственность у нас даже конституция гарантирует. Эй ты, вахлачок! У тебя что, мозги не в порядке?

Чертенята в Жанке-Радость играли, как в вертушке.

Добровольными понятыми жабоподобно юлили вокруг этого светопрестваления две тетки, одетые в китайские розовые халаты, — соседки Кнарник Нерсесовна и Ангелина Кондратьевна, — похожие одна на другую как пословица на поговорку.

Перебранку их с Жанкой можно зарегистрировать, как яркий лингвистический фейерверк.

Буду великодушна — приведу его полностью.

— Примите меры, товарищи дружинники, примите меры, — сочно визжали розовые вонючки. — Подумать только, девчонке только восемнадцать исполнилось, а к ней дни и ночи мальчишня шляется. Вином каждый вечер пахнет, и вся

шея в засосах... Всякие тут к ней ходят, иностранцы даже, провоцируют... Вы спросите только, где она этот магнитофон взяла. Вы спросите только...

У Жанки в этот момент была во рту болгарская сигарета «Солнце». Меланхолично, сквозь сигарету, она скандировала:

— Закройтесь, суки таборные. Чего расквкались? Погодите... Вот только эти сикачи уйдут — вы у меня потявкаете!

Казалось, — еще одна секунда, и она пойдет плясать Спирию (с «заходом»).

Интересно было попасть в эту жилую точку в самый разгар сего красочного модерн-дебоширства.

* * *

Я медленно брела по улице Пестеля, подходя к косоглазому молчаливому дому (ой! у Достоевского, случайно, нет такого эпитета?) моей подруги юности, Альки Неплохой. На мне была красная атласная шляпа и такие же туфли, чтобы не затеряться в толпе.

Я не переписывалась с Алькой все эти интересные восемь лет и ничего не знала о ней. На лестнице за это осьмилетие ничего существенного не произошло. По-прежнему была тьма египетская, так же пахло кошками.

Соседи сказали, что Алька еще год назад получила комнату в новом доме и дали адрес. Я и пошла туда.

* * *

Однажды, вскоре после войны, в булочной, протянув хлебную карточку какой-то новенькой молодой продавщице, я почувствовала, как она отвесила и подала мне что-то гораздо больше и тяжелее обычного. Почти в два раза больше.

— За два дня! — бойко хриловатым голосом выкрикнула она и посмотрела на меня в упор.

А на моей карточке было только на «один день» и уже «на завтра».

.

Как-то, когда у прилавка никого не было, мы познакомились.

— Далеко живешь? — спросила она, шумно хлопнув дико накрашенными ресницами.

— Да... Нет... А что?

— Хочешь, в субботу приходи ко мне? Ребята из Фрунзе будут. Приходи? Я в этом доме живу. Третий подъезд — второй этаж — квартира двадцать, — механически легато отбарабанила она без пауз.

— Будем знакомы — Неплохова Альфа.

* * *

Я очень быстро подружилась с Алькой, и по вечерам мы гуляли под ручку вокруг Литейного, Белинского и Пестеля. Однажды постовой Иванов задержал нас за неправильный переход улицы. Я испугалась и заплатила штраф, а Алька уперлась как колонна, орала на Иванова, ругалась, лягалась, попала в милицию, но денег не отдала. Через месяц она все-таки получила повестку в суд, и пришлось десятку внести. Потом же все время, как только мы приближались к концу Белинского, Алька подходила к постовому и, если это был наш друг, отдавала ему честь и смиренно вопрошала:

— Товарищ Иванов, разрешите перейти?

Или, завидя вдалеке идущий трамвай, ложилась на рельсы и, громко и вульгарно хохоча, кричала:

— Анна Каренина!

Если же это был другой милиционер, то Алька скромно спрашивала:

— А Иванов наш где? Когда заступит-то? Только утром завтра? Ну, привет ему передавайте от его знакомых девушек...

* * *

Она жила в огромной темной комнате. Комната была разгорожена старым шкафом, буфетом, величиной с дом, и кроватями с занавесками. Перед самым окном стоял стол. Как удобно было встречаться в этой комнате по субботам и воскресеньям с нашими ребятами, юными курсантами-морьячками из училища Фрунзе!

Сначала мы сидели все вместе в самом светлом месте, у окна, а потом, по очереди, парочками, медленно удалялись в удобные для каждого закоулки алькиного жилья. Для моей матери все это имеет даже сейчас сугубо существенное значение, и до сих пор она пытается допытаться: что же, в конце концов, мы там, в этих уголках (в принципе?) — делали?

Собиралась наша компания всегда только у Альки, потому что там никого не было: родители погибли в блокаду, маленький брат был в садике на пятидневке, другой братишка учился в ремесленном и жил там же в общежитии.

* * *

Моя мать «раз и навсегда» пыталась прекратить мою дружбу с Алькой Неплоховой. Алька в свои 18 лет красила волосы перекисью, носила гремящие клипсы, покрывала ногти самым ярким лаком, выпщипывала брови и подводила ресницы. Что же в этом такого? Я тоже тогда несколько раз пыталась окрасить ресницы... Основное же вот: Алька курила. В 18 лет она курила папиросы «гвоздики». Мать истерически запрещала мне встречаться с Алькой и однажды, прыгнув на подоконник, заявила, что если я не перестану ходить к этой уличной девчонке, то она сию же минуту соскочит с пятого этажа — вниз!

Глядя на дико стоящую на подоконнике мать, я сначала немножко про себя заволновалась, но тут же немедленно успокоилась. Прыгай, даже лучше будет. И я злобно молчала, — не обещая ничего насчет Альки.

— Не смей дружить с этой мерзкой девкой! — блажила мать.

(— Сама ты девка, — тихо шептала я).

— Попробуй, зайти еще хоть раз к этой панельной шлюхе! — визжала она.

(— Сама ты шлюха! — Факт).

— В старое время нечестным девицам люди дегтем ворота мазали! — гордым, но тихим голосом вернулась бабка.

(Какая честная нашла!)

Я не хотела вслух произносить свои комментарии только потому, что от хамства мать приходила в бешенство и лезла драться.

— Ты в блокаду где была? А? Ты где была? — наступала я на нее, чуть подсакивая для устрашения. — Ты в эвакуации была? Да? В эвакуации? А Аля в госпитале с шестнадцати лет работала, кровь с гноем ведрами выливала. Ясно тебе? Или не ясно? Ты в эвакуации сидела, а она работала для победы.

Мать сделала громкий смех.

— Да, да, да! Вот это верно. Вот именно! Она работала. Для победы! Только никого так и не удалось победить. А то, что ее там, в этом госпитале, вся солдатня объездила, все это знают.

Я отворачивалась для того, чтобы не доставить матери огромного счастья увидеть, что я краснею. Краснеть я и сейчас умею и (клянусь — не вру!) — не так уж редко. Но матери своей (ставшей теперь весьма покладистой старушкой-дурочкой) — я заявляю: сейчас — пожалуйста! Но то, что ты мне сказала «такое» в мои шестнадцать лет — на смертном одре не прошу. И *непро-су!!!*

* * *

Но вот что заставила меня один раз писать Алька:

«Здравствуйте, Степан!
Вам пишет родная сестра Али...»

Вся тема этой эпистолы на четырех страницах варьировалась вокруг следующего:

«Вот передо мной лежит в коляске мой маленький племянник Стёпочка, — писала я вслед за монологом Альки, — и он так грустно смотрит на меня своими голубенькими глазками, потому что нет у него папы».

Вчерне конспирация была такова: разжалобить красавца Степана несуществующим от незабвенной любви сыном, тоже Стёпочкой, и вернуть его. Сама Алька горда. Она даже не сообщила ему о рождении ребенка, она хочет воспитывать сына сама. Я же, родная сестра, не выдержала ее благородства и, украв адрес, написала Степану тайком от нее.

Мы с трепетом ждали ответа. И — бейте в литавры! — ответ пришел!

«Здравствуйте, незнакомая сестра Али!

Какое я могу иметь отношение к вашему Стёпочке, когда Аля после меня жила со всем батальоном? Затем досвиданьице с сибирским морозным приветом к вам,

Степан Куколев».

И Алька совсем не расстроилась! Я бы, если бы мне так, то я бы с ума сошла. А она — ничего. Даже, когда я ее спросила, где письмо негодяя Степана, чтобы подсчитать ошибки, подчеркнуть их красным карандашом, поставить двойку и отправить ему обратно, — она ответила, что пошла в уборную, разорвала письмо и спустила.

* * *

То у ней был Юрка Синев, то Володька Мирзоян, то бандит (настоящий, с отсидки только пришедший), страшномордый Жорка Демидовский, — то вдруг появился откуда-то кудрявый, интеллигентный Додик. Додик тоже не обещал жениться. Мы утешали, а Алька, покуривая, неопределенно тянула:

— Да-а-а... девочки, вам хорошо-о-о...!

Но твердо объявила нам, что хочет кудрявого сына. Вот и все. С Додиком кудрявого сына не вышло, но вскоре появился Андрей, с университетским значком на костюме. С исторического. С Андреем она... это... (как тянула моя бабка)... очень долго, месяца три, кажется, а потом появился сын Никита.

.

Это был жопастенький младенец, с ноготками как слюда. Алька его обожала, и так же страстно любили ребенка все мы, ее четыре подруги. Ветка с ним гуляла в Летнем саду, Аська стояла в Ленторге за байковыми одеяльцами, Сонька Казанская (она сейчас за границей в посольстве работает) — искала ночной горшочек по посудным, а я бегала в детскую молочную кухню за усиленным питанием. И вставала для этого (между прочим) — в шесть часов утра...

.

Я с тихим восторгом целовала его пальчики на ножках — чистенькие розовые улитки, а он дергал меня за волосы своими мокрыми, обсосанными пальчиками.

Но Никитка умер через четыре месяца, и на похоронах я слышала, как этот знаменитый Андрей с исторического кому-то говорил:

— Ничего нет удивительного, что у такой матери умер ребенок!

После смерти Никитки Алька бросила работу без увольнения, занавесила окна и смотрела, не отрываясь, на свидетельство о смерти сына, вставленное в специальную рамку.

Мы уже боялись, как бы она с ума не сошла.

А моя мать, эта совершенно bestолковая тетка, эта балда... балда... бросилась в другую крайность — редела. От жалости к Альке. Она даже чуть в рельсу не забила — хотела идти в университет к секретарю комсомольской организации и «доказывать» на Андрея.

Вот так.

* * *

А вот какой произошел несколько лет тому назад случай.

В дверь кв. 167, корпус Д, дом 3 по Ново-Энному проспекту, в только что вошедшем в эксплуатацию микрорайоне — постучали.

На лестничной площадке стояло двое интересных мужчин (мужчина пришел!). Один был одет умопомрачительно, во все иностранное. Другой был тоже... эрзац-элегантен. Этот, чуть попроще, спросил гражданку Неплохову Альфу, работника прилавка.

Веселая вдова Кнар^ик Нерсесовна забежала к Альке в комнату и зашипела:

— Аля! Скорее! Ну, хоть переоденьтесь же, наконец! Там же мужчины! А этот халат на вас — просто позор! Хайтаракутю!

Для большей крепости Кнар^ик возопила это слово еще раз, но уже на своем родном языке, по-армянски.

Алька не успела надеть чистого халата.

Покраснев, она внимательно смотрела на иностранца и не успела проявить еще ни удивления, ни смущения, ни радости, как он вдруг нежно забормотал:

— Военнопленн... военнопленн... — и схватил Алькину руку.

Сейчас я объясню, в чем дело.

* * *

Однажды, в те далекие загадочные годы, когда наши матери были для нас самыми злейшими врагами, мы как-то гуляли с Алькой в зимний день. На углу Белинского и Моховой она остановила меня.

— Чего ты?

— Ничего. Посмотри-ка. Как ты думаешь, если его кормить хорошо, он скоро интересным станет?

.

На углу Белинского и Моховой, около разрушенной в бомбежку церкви, уже несколько недель с утра становился военный. Он караулил с ружьем худого подростка с меловым лицом, который, держа полудетскими руками лопату, разбивал утрамбованные зимой пласты снега и сбрасывал их через решетку в подземный сток.

Подростку было... лет... 17... 18.

На ресницах у него висели детские слезы, на кончике носа — влага. Руки были большие, но очень жалкие, ноги в сапожных оттоптках были обернуты до колен серой материей.

Солдат механически покрикивал:

— Давай проходи, проходи, девчаты! С военнопленным разговорчики вос-с-спрещаются! Давай проходи, проходи, деушки! С военнопленным разговорчики не доз-з-зволюются!

Это был военнопленный из самых последних, мобилизованных Гитлером в самом конце войны, когда взрослых мужчин уже не осталось. И хотя это был немец, а у меня самой отца и всех дядей, троих, тоже убило в войну, но... все-таки мне было его немножко жалко, потому что он был похож на нашего Гарьку. Ког-

да мы ездили в деревню, с нами был Гарька, двоюродный брат. Все лето он сидел в деревенской уборной с дизентерией и радостно орал в хлопающую дверь:

— Уррррра! Папа несет еще один арбуз!

.

И вот тут-то Алька и спросила меня:

— Как ты думаешь, а если его кормить хорошо, он скоро интересным станет?

И тут же призналась, что уже давно таскает ему довески из своей булочной, и если она одна, то солдат — ничего. И понимать это надо так: в то время, когда мы считали по крошкам свои четыреста граммов, — у мальчишки-немца собиралось от довесок хлеба в четыре раза больше, чем у тех, кого обвешивала Алька. Она даже открылась мне, что под чашку весов она приклеивает кусочек теста, чтобы тянуло как будто правильно, а на самом деле чуть меньше...

И немец этот проклятый скоро поправился. И летом его перевели на стройку одного важного спецобъекта на окраине. После работы он пел вместе с другими пленными фрицами и играл на баварской дудочке.

А прохожие стояли, слушали, хвалили музыкантов. И мы, само собою, тоже...

И вот, иду я на алькину новую квартиру и вспоминаю все это.

.

Дверь мне открыла девчонка лет семнадцати.

— Аля Неплохова здесь живет? — спросила я мрачно.

Девочка сделала странное движение вперед, подвела губы к носу и громко ответила:

— Ее дома нет.

— А когда придет, не знаете случайно?

— Случайно знаю. Никогда.

Я решила, что девчонка хулиганит, но она нехотя сказала:

— Маму этим летом, двенадцатого июля, громом убило.

.

Я... что-то горестно зачестила... и еле сдерживала страшный свербеж в носу...

А девица недовольно молчала.

.

— Вы Жанна?

— Я Жанна.

— Так. Вета и Аська заходят к вам?

— Тетя Вета заходит, а тетя Аська недавно уехала к дочке в Симферополь.

* * *

Пришлось, что ли, и нашему поколению открывать счет? Давно ли разве мы носили шапочки «испанки» и играли в штандр? Давно ли? Не вчера, что ли, мы по-тихому от наших троглодитов-учителей собирались на танцы у Надьки Васильевой с мальчишками из 312 школы? И ждали с бешеным нетерпением, когда же, наконец, откроют каток?

Разве давно?

И вот вдруг — сразу.

Неожиданно умерла наша очаровательная подруга Нина Фохт.
Умер тихий красавец Ися Ломберг и веселый урод Валька Мызникова.
Током на заводе был убит Женя Тартов, и погибли оба Сергея.
Умер Олег.

* * *

Наше Панургово стадо сходит теперь с ума по полированной мебели. Полированный шифоньер! Комод! Книжные полки! — и сервант с копейной посудой и с разноцветными фужерами, переливающимися всеми цветами радуги,— за стеклом!

Жанна впустила меня к себе в комнату. Помня, как Алька когда-то тратила дни и часы на вышивание салфеточек ришелье и подушечек гладью на пяльцах, — я поразились. Где же наимоднейшие «журнальные столики»? Где «неотъемлемый ингредиент всякой современной квартиры» — декоративные цветы в сочетании с керамикой? Где на гладких (!!!) стенах эстампы (вам известно, что это такое?) и «Подсолнухи» Ван-Гога, по которым сходит с ума все наше тупье...?

В комнате Альки Неплоховой, бывшей продавщицы Леновошторга, было все сверхэлегантно. И мы с вами со своим вкусом можем вполне закрыться.

* * *

Я сидела и разговаривала с Жанной-Радость.

— Да, он пишет часто. Он даже вызов прислал, чтобы маму отпустили к нему в гости. Нам письмо из «Советской России» пришло.

.

Я навострилась.

В редакцию газеты «Советская Россия», в отдел розысков, пришло письмо из Австрии* от Хельмута Кормана, с просьбой разыскать в Ленинграде фройлен Алю из булочной на улице Пестеля.

Сам Хельмут — бывший военнопленный, а ныне — член общества австрийско-советской дружбы.

Он также хозяин огромного ресторана в Вене.

И дальше: приехал Хельмут Корман в Ленинград и пришел в элегантном костюме в гости к фройлен Альфе. А потом посыпались посылки с такими вещами, которые нам с вами никогда не снились и не приснятся даже в страшном сне. В результате Альку даже кто-то... куда-то... к кому-то...

Но все обошлось, и зажила моя Алька как в сказке. Только вот через пять месяцев после этого Альку Неплохову двенадцатого июля громом убило.

Неприятная история, конечно, — но сказка кончилась.

* * *

Они поехали с Жанкой в Лугу на воскресенье к аськиному дядьке, доброму, толстому налиму. Полковнику в отставке. В настоящее время он выращивает клубнику на своем индивидуальном. Когда сошли с поезда, началась страшная гроза. Жанка испугалась, а Алька храбро сказала:

— Бежим, Жанк, а?

— Ой, боюсь...

— Чего, малахольная? Вон, смотри, деда идет. Дедушка, а дедушка! Подождите нас, вместе побегим. А то эта дурочка боится.

* Какое счастье, что он оказался австрийцем, а не немцем! Узнав это, я долго от счастья плясала качучу, деловито подбрасывая в воздух свой чепчик.

Они и пошли вместе.

Старик все время по-хорошему ободрял:

— А чего бояться? Гроза, она есть гроза. Миллион раз я в своей жизни в грозу попадал. Двенадцатое июля сегодня, Петров день по-старому. А в Петров день всегда гроза. Хотя и народная примета, а не предрассудок. Это тебе любой ученый подтвердит, даже космонавт. Двенадцатого июля всегда обязательно дождь и гром с грозой. Чисто научное явление.

Жанка плакала от страха, орала и хотела даже бросаться на землю, а Алька хохотала и приговаривала:

— Ну, чего блажишь-то, Псишка Иванна? Заткнись, говорю. Ведь если убьет-то, то кого? Меня. Я грешница. А она орет.

— Ну, как живешь-то?

— Весело и прохладно.

— Ничего, значит?

— Не «ничего», а очень хорошо.

— За маму получаешь?

— Нет, мне восемнадцать есть уже.

— Работаете где, или еще учитеесь?

— Сначала училась на парикмахершу, а потом продавщицей пошла, как мама. Не пыльно и денежно.

Я заискивающе продолжала беседу:

— В каком магазине работаете-то?

— Сейчас в «Готовом платье», — Жанка громко захохотала, — в секции «Человеку — Радость», — с организованной улыбкой за прилавком.

— А раньше?

— В Главовощторге. Выперли оттуда.

— А мы жаловаться пойдём, — закричала я, — у девочки мать в грозу убило, а они... За что?

Жанна-Радость лукаво хихикнула в рукавок.

— За принудительную продажу свежего огурца только в наборе с зеленым луком.

— Это... как?

— А то не знаете? Небось, не из Америки приехали! Лук — грязь одна, никто не берет, а огурцы — дефицит. Ну, кто сопротивлялся лук брать, тому и огурца не отпускала.

Я поползала глазками по полу, чтобы получилось не так грубо, и сказала:

— В торговле у нас опасно. Они тащат, а ты отвечай. Не боишься?

— Было бы кого. Все воруют.

— Ну уж преувеличивать-то...

— Преувеличивать... Не углядишь, — прямо из-под задницы вырвут...

По этому незначительному комментарию я поняла, что отроковица Жанна-Радость была весьма востра на язык и на зуб. Каленая девушка.

А внешне — Господи Боже мой! — внешне она была похожа на ангела, на святую Урсуну, играющую на лютне. А глаза-то, глаза... ну просто зыбь поднебесная...

Ей-Богу так.

.

Ну что с такими глазами делать-то? Как жить? И я, особо гундосым голосом, спросила:

— А мальчик есть у тебя? Дружишь с кем?

— Встречалась тут с одним. На военке сейчас. Да ну их...

Было пора уходить и, чтобы завоевать ее расположение и дать понять, что она может на меня смотреть, как на тетю Вету и тетю Аську, — я решила сделать главный ход конем.

И, не посмотревши в святцы, к-а-а-к бухну:

— Тебе... может надо что-нибудь?

Она фыркнула.

— Да ничего мне не надо. А если письмо писать будете тете Соне Казанской за границу, то фото хипист попросите прислать. У них правда ребята бусы носят, а девчата, как парни? Тут как-то по «голосу» слышала...

Что ж... Конечно, правда. Нам время тлеть, а вам цвести. Ладно. Попрошу Соньку. Пришлет.

— Ой! — вдруг радостно закричала девочка. — У вас американские сигаретки? Лаки страйк? Вы мне пачечку, хоть пустую, не оставите, а? Только если не жалко?

* * *

Пустую пачку из-под сигарет Лаки страйк я Жанке-Радость Неплоховой оставила.

Да, я должна сказать, что ее имя — не плод моей фантазии.

Когда мы принесли ее в загс регистрировать в 1950 году, Алька велела писать ее имя так: Жанна-Радость Неплохова. Начальница загса пробовала поднять хай, требуя отчество любое, ну, хоть само Алькино, если она мать-одиночка, но Алька переорала ее.

— Какое вам еще отчество? Это еще что за буржуазные предрассудки? Она будет жить при коммунизме, тогда никаких отчеств не будет!

* * *

— Все равно, хоть и не сказала, а ладно, — бормотала я, идя по улице (я обожаю разговаривать сама с собой), — вот приеду другой раз, не загадавши если, и Жанке этой что-нибудь надо такое, чтобы все от зависти подошли. Особенно соседки. Какого бы ей гостинчика-то, а? Чего-нибудь сладенького? Или у Соньки сапожки белые пластиковые попросить прислать? Пошикарит хоть.

О матери же ее, о моей непутевой подруге Альке, — не плачьте, как не плакала я. Известно, что все, убитые во время грозы, будут в царствии небесном. Народная примета.

Да покоится ея душа в кущах райских.

* * *

Сегодня ночью была ужасная гроза. Мы спали черт-ти где, в каком-то фанерном летнем домике. И под впечатлением всего вышенаписанного, мне стал сниться сон. Сон... был довольно сложный, но сложности я обойду. А суть его в следующем: сначала — будто нас всех убило. Потом, что все — живы, а убита только я. И племянники-стервецы выбежали на улицу и говорят: «Да подумай-ешь? Все равно, она была уже старая». И кто-то потом деловито прибавил: «Рецепта гречневой каши с содой я не знаю».

* * *

В каких-то священных книгах сказано, что только одна доля сна — суть и может сбыться, а все остальное — чепуха, глупости, сущая бессмыслица. Так и жизнь. Думала — нет ей конца, а оказалась она короче куриного гребешка.

— Жизнь, ты где?

— А то не видишь? Ушла, как вода в песок.

— Шут с тобой. Ладно. Ну, а жить-то стоило?

— Х-х-х-оссподи, я-то почему знаю?

Вот сучка бледная! Ведь обнадеживала, все время обнадеживала! А тут — не успела я оглянуться — уж пора на горох, воробьев пугать становиться.

* * *

Теперь спокойно объявляю вам: быстры, как волны, дни нашей жизни. И ничего нет в этом выражении ни хрестоматийного, ни затрепанного.

Попрошу выслушать мой монолог:

Хочешь, Жанна, мини-юбку носить до пупка? Вот только до этого места? Надень и ступай.

Видишь, Радость, вон того парня, настоящего кошмара, босого, лохматого и, наверно, вшивого, — но! — зато «жолы мордочка»? Нравится он тебе? Еще бы? Ну тогда — смело вперед! Заявляю тебе: только теперь дошло до меня, что все мои жизненные «ошибки» — равны нулю. Возьмем хоть сегодняшний день. Вот сегодня утром я два часа перетираю на то, чтобы сварить щи с мясом. Заботилась о съестном — вместо того, чтобы повышать свой интеллектуальный и моральный метраж. Ну не дура? Как есть. И всегда была такой. Никогда, никогда я не делала в своей жизни то, что хотела. А почему? Страх ради иудейска. Я боялась.

А хотелось мне в жизни больше всего только одного: сидеть на берегу океана (на душе спокойно и стройно) — и пускать змея...

* * *

Язык с доисторических времен и костей не приобрел и атавизму не подвергся. А я, еретица, как думаю, так и говорю: дорожи временем, дни лукавы. Пока смерть не умерла, — пой, Жанка, пляши, играй на черемисских гусях.

Соловьиное время — до Петрова дня.

США, 1968.

ДОЧКИ, МАТЕРИ, ПТИЦЫ И ОСТРОВА

Тоня простая, как три рубля. Смотрит на крышу, думает — крыша. Смотрит на ребенка, думает — ребенок. Без всяких там прилагательных и дополнений, что сейчас у многих. Если крыша, то обязательно худая, а если ребенок, то какой дурак теперь детей рождает? Никакой же гарантии выкормить и вырастить... Тоню даже нельзя на такие мысли сбить специально. Она глазки выпучит, губки подожмет и скажет обиженно так: «Да ну вас... Я после войны родилась, но знаю: в войну и не так жили...»

Надо сказать, что эти слова — «Я после войны родилась», — Тоня повторяла часто, и была тут нехитрая хитрость подчеркнуть свой возраст. Нестарая. Те, которые до войны, старые. А я даже не в сорок шестом, а в сорок восьмом рожденная, в самом декабре месяце. И еще Тоня любила повторять: «Я белье мокрое вешаю низом вниз. Просто не представляю, как это можно захватить прищепками подол и чтоб рукава болтались. Это какую надо голову на плечах иметь?»

Что еще сказать про Тоню? Она любила магазинные котлеты и носила только отрезное, «под пояс» или «под резинку». Она обожала кино, особенно наше, «Женщины», «Офицеры», «Мужики», книжки не читала принципиально: зрение — это зрение, и чтоб его тратить? Тоня жалела негров за их вид. Вот ведь не повезло людям. А также и желтую расу. На этом основании ее всегда неудержимо тянуло взять за руку негра или китайца и привести к себе домой и всячески обогреть, накормить, потому что все они несчастные сразу в отличие от нее сразу счастливой. Она ненавидела и боялась Америку, и потому, в отличие от всех, в ДОСААФ платила сознательно, а военных просто обожала, потому что, если бы не они, то что с нами было бы? Подумать страшно.

Пришла пора сказать о тониной внешности. Она была ничего. Выбивались из общего впечатления губы, черновато-набрякшие, как будто она их накусила, или там ее кто взасос. Ничего подобного, губы такими были всегда, и утром, и вечером. А если б кто видел после взасосов, то не говорил бы вообще, тогда у нее губы были, как мясо, парное имею в виду, а то может в голову войти мороженое, и тогда полное представления о тониных губах не получится.

А остальное было, как у всех. Глаза не большие — не маленькие. Нос тоже норма. Волосы, правда, сеченые от химии, но ничего, чуть-чуть начешешь — стоймя стоят, а Тоне это важно. Она по нынешним меркам маленькая, метр пятьдесят пять. Так что волосики вверх, под пятку каблук венский, и уже ничего фигурка. Не худая, не полная, поясочком перепоясанная.

Работала Тоня регистраторшей в поликлинике и ценила свою работу необыкновенно. При врачах и при лекарстве жить сейчас — лучше не надо. И какая же она была умная, что не пошла в свое время учиться на медсестру, потому что теперь у них одни неприятности. Больных все больше, шприцов нет, лекарств — тоже, все на их голову больной вываливает, а она посиживает себе в окошечке. «Адрес? Фамилия?» А всех денег все равно не заработаешь. Сколько ей одной надо? Сын уже самостоятельный. Офицер. Он ей в жизни вообще ничего не стоил. С отцом рос, а потом в суворовском. Но ведь всякое в жизни бывает? Всякое. Высокий такой офицер. Сын. Приезжал в Москву. Остановивался у товарища, а к ней заходил. Они на «вы». Ну и что? Не пьет, не курит... Член партии. Есть отказался. Но у нее, правда, ничего особенного и не было, чтоб настаивать. Котлеты и макароны она готовит на три дня. Он пришел в третий. Какой там уже вкус? Правда, был кекс. «Давайте чай заварим? У меня тридцать шестой номер.» — «Спасибо. Я жидкости употребляю мало.» — «Правильно, — сказала она. — Почки в организме на втором месте после сердца.» — «Ну еще есть мозг», — уточнил сын. «Мозг, мозг! Он разве гонит воду? Не скажите, не скажи-

те... Я до мозга еще печень поставлю...» — «Мозг умирает раньше всех», — сказал сын. — «А! — засмеялась Тоня. — Это же еще когда! Мы-то живые...»

Такой был умный разговор. Вывела сына, посадила на трамвай. Шла и думала: хороший сын. Правильно она тогда поступила, что оставила его мужу. У того был характер, а она была молодая, глупая. Это сейчас она знает, что почему. А тогда — ну без ума! Нужен ей был этот сосед? Пришел, расселся. А как рассядешься в восьмиметровке? Это уже надо переступить через ноги. Она раз переступила, два, а на третий он колено приподнял, она на него в ходе движения и села. Секундное получилось дело. Она еще тогда думала: почему для мужчин это имеет такое решающее значение? Так бы все и кануло, если б сосед — вот какие есть люди, как на добро отвечают! — тут же мужу все и не рассказал. «Твоя, сказал, де-ше-вая». И всё, вся любовь. Иди, говорит, откуда пришла, ребенка не получишь. И чтоб в двадцать четыре часа. Конечно, на ее сегодняшний ум, то разве она позволила бы? Отсудила бы две трети жилья, как пить дать. Но тогда... Тогда она переживала очень это самое слово — дешевая. Так плакала, так плакала... Уехала она к матери, барак их скоро снесли и дали им однокомнатную квартиру. Если б она не выкинула паспорт по дороге от мужа (глупый поступок), то дали бы им в расчете на ребеночка двухкомнатную, но у нее паспорт был чистый, она числилась, можно сказать, девушкой. Царство небесное маме, она скоро умерла от рака. А одной зачем ей двухкомнатная? Мало ли? Уплотнить могли.

Мама ей много рассказывала, как уплотняли до войны и после. Мама до барака дважды жила в проходных комнатах по уплотнению. Замуж там выходила. У них с мужем первая ночь, а мимо соседи шасть-шасть. «Я потом людям в глаза смотреть не могла». Это мать. А она, Тоня, была не на стороне матери, а на стороне соседней. На самом деле! Проходишь мимо, а тут такое... Хотя если быть справедливой, она в результате этого получилась, но все равно, могли бы родители — царство небесное им — и поаккуратней. Это все к вопросу об уплотнении. Барак в материнной жизни оказался прогрессом! Отдельная комната, пусть в общем коридоре. Конечно, тут слово. Барак. Но это мы уже заелись. Это нам дай, дай, дай! А на самом деле — прогресс. Комната была большая, двадцать метров, два окна. Печка. Топка из коридора. Удобства потом приделали, но стало хуже. Когда бегали во двор, воздух в бараке был здоровее. Потому что люди разные, и не каждый имеет привычку за собой сдернуть. Есть такие, что не считают нужным. Тут, если отвлечься, многое можно рассказать о народе, но Тоня это не любит. Тоня радуется жизни. И своей личной удаче. Вот живет же, как кум королю. Дочка ей сказала: «Я постараюсь получить свое». Она у нее в интернате всю жизнь. Сейчас кончает школу. Девочка развитая, уже член райкома комсомола. Знамя всегда выносит. Голос у нее густой такой, торжественный. Вообще девочка оригинальная. Так главврач говорит: «Девочка у вас оригинальная». Тоня задумалась над словом. Что бы оно значило? Конечно, в дочке много от отца. Отец — казах. Разрез глаз. И волос густой-густой, как мех. Но отец, конечно, по характеру размазня. Родители ему сказали — возвращайся, он и подчинился. А он мог тут у них закрепиться. Его брали в ЖЭК электриком. Там сплошь татары, но он им пришелся по душе. Халды-булды, и договорились. Им лишь бы не русский Ваня. Такая пошла жизнь. Вани у них только на подхвате. Поддай-принеси, а еще для пугала. «Хозяйка, у тебя тут вся техника там-ра-ра-рам... Полный абзац. Капремонт — это лучшее, а то и выселение...» Кошмар, ужас. Татары молчат, Ваня жуткую картину рисует, дальше вступает порядок цифр, спасающий от капремонта. Так вот тониного мужа брали не Ваней работать, его брали гордо молчать и брать хорошие «бабки», но родители на своем языке написали: «Возвращайся», и все. Как бритвой. Господи! Да ну его в жопу! Дочка оказалась девочкой очень серьезной. «Еще чего — жить в одной комнате! У меня план — трехкомнатная квартира, машина «Лада» и собака. И не какой-нибудь там песик-бобик или эти маленькие скользкие гниды, которых носят под мышкой, а собака как волк. Собака — остров. Ньюфаундленд». Почему остров, думала Тоня? Потому что большая, отвечала сама себе. Дочка скажет, не подумает. Есть же и маленькие острова. Она, Тоня, помнит школьную карту. Там эти Курилы мелко-мелко набрызганы. Чистые собачки-моськи, если уж по-собачьи считать.

Тоня знает, дочка намечтала — дочка выполнит. У нее такое выражение: «У меня все схвачено». Она в партию подала, в интернате отпали, ей ведь нет восемнадцати, но как же зауважали! Отселили их сразу с одной полуотличницей в отдельную комнатку. Полуотличница у дочки ходит в шестерках. Никакого вида, три волосины на голове, очки, сутулость. Дочка со своим мехом и голосом... Не сравнить... Тоня сказала главврачу: «Я жизнью своей довольна. Я вообще не понимаю этих жалоб. Чего людям надо? В конце концов никто у нас с голоду не умер».

А тут возьми и привяжись хвороба. То жар, то холод, то голова закружится, то сердце застучит. Что бы она делала, не работай в поликлинике. А тут ей сразу организовали Б 12, по врачам пропустили. Гинеколог сказал: «Климакс у тебя, Тоня». Невропатолог: «Вегетативно-сосудистая дистония, и не морочь людям голову». А главврач подытожила: «Это, Тоня, едино... Живете без мужчины... Организм нервничает. Вот и старитесь...»

Тоня в душе оскорбилась. Нашли причину. Да ей это сроду и не надо было, ровно постольку-поскольку. Не этим голова занята.

Но засело. Вместе со злостью. И на первого своего, и на того соседа, что ее через колено бросил, и на казаха, будь он проклят. Чего бы не жить? Сейчас жековцы — первый народ. С магазином у них «контакт — есть контакт». И в смысле зарплаты. Они там ее хорошо делят. Дочке, конечно, такое не скажешь, что у нее зависимая от мужчины болезнь. Стыдно. Она смолоду не была до этого падкая, а теперь что и говорить... Но разговор случился. Дочка на седьмое ноября после торжественного приехала, села на софу, платье на ней трикотажное серое с синим, на шестнадцать лет купленное, уже потянулось зараза-ткань, но в целом еще ничего, но надо думать, что дальше и что на выпускной, а дочка, как услышала ее мысли, говорит: «Ты, чего, мам, не найдешь себе мужчину? Мне бы лучше могла помочь. От отца не алименты, а смех один. Чем они там думают в своем Казахстане? Что там у них за заработки? И ты тоже... Крутнулась бы! В кооператив какой...» — «Болею я...» — «Интересно, чем?» — спросила дочь. «От одиночества,» — гордо сказала Тоня. Хороший такой разговор намечался. Дочка засмеялась: «А я тебе что? Я знаю, некоторые ходят по участку колоть». — «Что колоть?» — не поняла Тоня, хотя что тут не понять человеку, имеющему отношение к медицине? Но Тоня шла в мыслях совсем в другом направлении — направлении отсутствия мужчины, и связь уколов, в смысле инъекций, с главной темой не просматривалась, тем более что она ре-гис-тра-тор, а не медсестра и ей это делать не надо; что плюс, а не минус. Их сестрички рассказывают, какое это наказание: и старики вонючие, неподъемные, и грубость в отношении, и пятый без лифта, и хулиганье в подъездах, и претензии «больно, больно», можно подумать, укол — это пятаку почесать, это же внедрение в тело, это и должно быть больно, а не приятно. Поэтому Тоня, сообразив, что имеет в виду дочь, возмутилась, а дочь в свою очередь тоже возмутилась, нельзя же всю жизнь жить на копейки и не проявлять инициативу, и ждать, что к берегу приплывет. Что ей приплыло, что? «А квартира отдельная? — закричала Тоня. — Это что? Сколько людей мается!» — «Ладно, — сказала дочь. — С тобой все ясно. Ты у меня тоже казах в своем роде... Как отец... Минималы вы у меня... А я страдаю...» — «Страдай! — возмутилась Тоня. — Голодом сидишь, что ли?» Но дочь уже не хотела разговаривать, пошарилась по шкафчикам, «что тут у тебя в рот?», похватила и исчезла. Но на пороге четко так, прямо в лицо бросила: «Вдовец союзного значения, вот кто тебе нужен».

Тоня понесла ведро с мусором. Выбила его о край контейнера, пахнуло на нее рыбой, хуже ее в смысле вони нет ничего. Вот почему так, почему? Пошла в кусты возле трансформаторной будки нарвать травы, чтобы обтереть ведро изнутри, а то пойдешь назад, кого встретишь, скажет: «Вот эта Тоня мусор заванивает, а еще медицинский работник».

Вот туда в кусты он и пришел, парень этот, с петухом с раздавленной головой и в коричневом пере. Петух в пере, не парень.

— Берешь на лапшу? — спросил парень. — Птица парная. Домашняя. Я его по ошибке прищемил.

Тоня, женщина городская, с птицей в пере дела сроду не имела. Но теоретически как опарить знала. А тут еще острое желание — так враз захотелось лапши, парень сказал — лапша, а у нее сразу слюна набежала полный рот, и без разницы, что петух раздавленный, что висит кровавой головой вниз, нет у нее на это отвращения или там аллергии. И Тоня про это подумала, какая, мол, я, оказывается, негребливая. Вонючее ведро травой тру, на петуха дохлого в пере спокойно смотрю. И ничего... Вроде так и надо.

— Сколько? — спросила она.

Парень засмеялся и сказал, какие там деньги, в трансформаторной будке есть кладовка, и пусть она с ним пойдет туда на пять минут.

— Да я с ведром, — засомневалась Тоня, ощупывая пальцами грязную ладонь, ощущая мокрые подмышки и вообще...

— Оставь, оставь ведро, — повторил парень. И рукой сделал, как поманил.

Тоня шла и старалась думать верхнюю мысль: она идет целево — за птицей, теперь ее так в магазине не купишь, не то, что год тому назад, а ей бульон самое то в малокровии, в общем, Тоня в мыслях напирала на необходимость питания. На самом же дне тониного сознания кувыркалось другое — поманил — пошла — и это заставляло Тонию ежиться, потому что вот она идет в будку известно зачем, и это для нее плохо, не такая она женщина, а вот идет. Чертовы врачи ее на это дело толкают, — вскрикнуло в ней. Врачи! Вот кто виноват, потому и иду, а на самом деле очень хочется лапши с крылышком, хрусть зубами и высосать.

В общем, действие в будке мы описывать не будем. Как сказала по телевизору одна теперешняя писательница, у которой всяких слов полон рот, — французы на этот счет определения придумали, а мы, русские, нет. Мы в отставании описания таких вещей находимся, и это никуда не годится, и на нас сказывается, дурковатые мы, потому что, как же без слов на эту важнейшую тему, которой все человечество подряд занимается каждый день и каждую секунду, а мы обходимся черт-те чем, жестами, как дикари, может, от этого и такое наше счастье?

Тоня вышла из будки — ошалелая, и веса в ней было ноль. Кровь борзо бегала по сосудикам, Тоня просто ощущала, как напрягаются самые малюсенькие, самые ничтожные в теле капилляры, что весь ее траченный дистонией и анемией организм вибрирует от притока сил, подумалось — а Б-12 не дает такого быстрого эффекта. И какорбоксилаза по сравнению с этим говно. Тоня потом и петуха опарила, и лапшу сварила, и никакой тебе усталости, вроде она не в конце срок восьмого рожденная, а в семидесятом. Есть разница?

На этом столько-то дней продержалась, и ей все: «Тоня, вы так хорошо выглядите! Так выглядите!»

Однажды Тоня проснулась и четко, четко подумала: за этого парня она все бы отдала. Работу, дочку, квартиру, все... Он, зараза, так в нее проник, что жить без него она теперь не сможет; жуткие, конечно, мысли, Тоня даже осознавала их жуткость и себя останавливала: «Ну, насчет квартиры это я зря...»

Она стала крутиться возле трансформаторной будки. Для этого разорилась на новое помойное ведро. Салатное с оранжевой крышкой. Держала его в неимоверной чистоте. Мусор носила в свертке, а ведро пустое. Для вида. Поставит в него выпростанный пакет от молока и все. А сама вокруг кладовки, будки рыщет, рыщет. Откуда он тогда появился? Чей он? Из какого дома? Разговора ведь у них, кроме как о петухе не было, зацепиться не за что.

Однажды она его, наконец-таки, увидела. Рыли какую-то во дворе траншею, мужики возле нее стояли. Нет, не те, что рыли. Те, которые рыли, уже три дня, как ушли. Грязи вокруг оставили! Тоня шла с работы, увидела — гужуются возле ямы работяги, решила сказать, что она о них думает. Хорошие слова во рту собрались, отборные, можно сказать. И тут — бац... Он... Стоит к ней боком... Такой весь, как из металла... В смысле крепкий... Сталь... Все тонины слова, как корова языком слизала, она замерла и не знает, что ей теперь делать. Туда ей или сюда. А он — ноль внимания. Идет какая-то баба мимо, ну и идет, чего, собственно, разворачиваться. Тоня остановилась почти рядом и стала ждать случая. Вот спросите, какого? Сердце из груди готово выпрыгнуть, и слова приперлись во-

обще странные. «Я его люблю». Кого?! Дура! Мужики стояли, плевали в траншею, разговор у них содержательный. «У-у...», «О-о...», «Гы...», «Ну-у...», «Е-ё...»

Но им понятно. И Тоне тоже понятно. Они так все разговаривают. Но в данном случае их разговор значения не имеет. Нам сейчас важно положение Тони невдалеке от траншеи и ее упорный взгляд на парня, повернись, мол, зараза...

И он повернулся, резко так, сильные от Тони шли токи, и вскинул подбородок вверх, мол, чего тебе... Слов у Тони не было, поэтому она слабо как-то, как раненая, махнула ему рукой. Парень сказал мужикам «шас» и перепрыгнул через траншею... Тут надо сказать, какой Тоня испытала восторг и наслаждение, когда он — раз! — и с одной кучи переместился на другую. У нее в горле возникло распирающее ощущение за такое его умение, никакой другой мужик так бы не смог, не было ни у кого таких длинных ног и такого маха, он один был — самое то! Как еще скажешь? Пока парень парил над траншеей, Тоня окончательно и бесповоротно убедилась, что за такого все можно отдать и будет мало...

— Тебе чего? — спросил парень.

Стоял распахнутый, и кожа его нежная, белая виднелась под воротничком.

— Петуха помнишь? — засмузилась Тоня, слабая ногами от нежной кожи. «Упаду, как подкошенная», — думала.

— Какого петуха? — не понял парень, но — опять же! — и ум хороший имел — вспомнил! — А! — сказал и пошел назад. — Больше петухов нету. Кризис птицепрома!

— А и не надо, — затараторила Тоня. — Не надо! Не надо! Не надо!

— А чего тогда надо? — спросил парень, и нога его уже напряглась для перепрыгивания траншеи.

Тоня стала быстро соображать, какие слова годится сказать, чтоб он перестал напрягаться этой своей прекрасной ногой... И даже поверхностно так подумалось, хорошо бы свернуть ему эту ногу в траншее, вот тогда бы он уже никуда не делся, Тоня бы его забрала себе и все! И уже у нее стала напрягаться нога для небольшого, но эффектного удара по драгоценной голени. Если носком да прямо в середину, может быть сильная боль, и не обязательно с переломом. И дело было уже за малым — за ударом, но парень — молодец какой! — дотумкал, наконец, что Тоня не просто так переминается тут рядом. Что у нее есть цель, человечеству понятная.

— Намекаешь? — спросил парень.

— Намекаю, — ответила Тоня, и хоть вся, вся стала она красная, и в животе у нее зашевелилась муть, и сердце выдало две подряд экстрасистолы — бух! бух! — но Тоня все это преодолела, потому что вопрос стоял или — или...

— Без петуха дело не пойдет, — засмеялся парень и добавил даже вроде сочувственно. — Тяжелый у тебя, тетка, случай...

— Да, ладно! — ответила Тоня, пренебрегая «теткой». — Делов! Я в тридцать пятой живу. Приходи в воскресенье после обеда! Будет тебе петух!

И она первая повернулась и ушла, потому что считала, что больше, чем она сказала, ей уже не сказать. Все у нее внутри колотилось, и была одна нервная мысль: он, конечно, придет, а петуха нет. Что может его заменить? Первой пришла в голову пол-литра. «А это тебе петух! Ха-ха-ха!» И дзинь-дзинь стаканами. А он возьмет и развернется назад. Конечно, это маловероятно. Если судить по компании на куче. Чтоб от этого кто-то ушел... Не родился еще такой русский... Но, с другой стороны, а если он принципиальный? Залупился на слове — и все. Среди мужиков есть такие, а если уж честно, то ей только такие и попадались. Упрямые, хоть кол на голове теши. Такая у нее судьба: к ней только такая порода притягивается. Хотя про парня не скажешь — притянулся, скорей — она его тянет, и если уж до конца про это думать, то ей это неприятно и даже стыдно, сроду за ней такого не числилось, но вот... Случилось... И нет назад хода, и не хочет она назад хода. Она его искала, нашла, и не дура она, чтоб его из рук выпустить, потому что — что там говорить! — она все за него отдаст, за этого дурачка молодого. За одну его длинную ногу отдаст все, за глаза его серые, слава Богу, теперь рассмотрела. Серый-серый у него глаз, но не тусклит — сверкает. Ей врач, кото-

рый по глазам лечит, говорил: это признак здоровья — сверкание. Это энергия выпирает изнутри от сильного напора.

В воскресенье Тоня с утра поехала на базар. Живой птицы было мало. Можно сказать, без выбора. А петух — красавец! Великан — вообще был один, и уже его торговали для курятника. Сговор, правда, не получался, не сходились в цене, и этот самый красавец-петух вполне мог оказаться у Тони, но у нее, как назло, пошло раскручиваться логическое мышление. Для одного раза петух получался дороговат. Если прибавить и десять рублей на водку, и кусок мяса, который пришлось взять, и опять же огурец-помидор, то получалось ничего себе. И пока она туда-сюда считала, то петух ушел. Правда, не в курятник, а на холодец. Так сказала дама, которая схватила его за лапы: «Мне, говорит, обязательно к говяжьей лытке нужен петушинный навар».

Тоня, которая до этого стеснялась сказать, что она берет петуха «для убийства», с ненавистью и с уважением одновременно посмотрела на даму, которая без всяких-яких заявляет, что ей нужен навар, что нет лучшей смеси для холодца, чем петух с лыткой, и чем петух старше, тем даже лучше. Все равно все у нее на огне стоит часов пять. Не меньше.

Одним словом — два слова. Обломилась Тоне курочка Ряба, едва вышедшая из садиковского возраста. Цыпленок-переросток. Но Тоня взяла ее, уже не включая мыслительный аппарат: от него одни неприятности.

В конце концов, что такое птица в ее деле? То, что называется, пароль. Знак. Он к ней войдет, а навстречу ему вспорхнет курица. Правда, тот петух не вспархивал, а висел себе спокойненько вниз головой. Но ведь Тоня домой его зовет. У нее и птица живая, и, извините, постель чистая, а не доски навалом. Так что, за исключением петуха, у нее все в плюсе. И даже в степени.

Вообразила сцену: он звонит, а она открывает ему дверь, а по коридору кокошет курица. «Вы за птицей?» — спросит Тоня тонко, будто ничего не имеется в виду. «О! — скажет он. — Ваша на ногах!» — «Ага!» — ответит она. — Заходите. Вы мне мертвого, а я вам живую. Значит, с вас больше и причитается». — «Больше — это сколько?» — спросит парень. «Заходите, договоримся.» И так далее...

Тоня представляла их за столом, и как она подаст, и как положит, и нальет... Главное же не представлялось, потому что Тоню охватывал такой жар, что надо было идти к крану и холодной водой брызгать в лицо. Вода, правда, к лицу не приставала, потому что Тоня намазюкалась кремом, которому года три, не меньше, изжелтелся весь и на щеках лежал серыми комочками, но другого у Тони не было, она к таким делам относилась безразлично, она не верила, что косметикой лицо можно исправить. Глупости. Крашенные женщины — они и есть крашенные женщины. Еще сильнее видно, сколько лет на самом деле. И сегодня она намазалась исключительно, чтоб отбить запах кухни. У нее и пробные духи есть, и она их, конечно, пустит в дело. Но это уже в самом конце.

А курица рябая между прочим лежала-лежала связанная и собралась помирать. Запрокинула голову, открыла клюв, а глаз ее пошел затекать мутной серой пленкой. Тоня испугалась, что она просто сдохнет и станет трупом и тогда что? Надо было срочно принимать решение, пока эта слабая малолетка была жива. И Тоня приняла. Она сунула поникшую куриную голову в притвор двери и хлопнула дверью. Даже крови почти не было. «Конечно, — подумала, — никогда не получается так, как хочется, но в чем-то, может, так и надо?.. Ты мне битую птицу, и я тебе битую. Видишь, не заискиваю. По нулям у нас с тобой...»

В конце концов Тоня пошла и умылась с мылом, потому что крем этот долбаный достал ее. Стала кожа стягиваться не там, где надо, где надо глаз потянуло. Правда, когда умылась, глаз все равно тянуло. Такое впечатление, что хотелось глазу сбежать куда-то на висок, даже пустота там, соответствующая объему глаза, дырка, образовалась, и Тоня теперь все за глаз хваталась, проверяла, на месте ли он.

С виду же все было нормально. «В конце концов — это самое главное — с виду», — думала Тоня. Хороша бы она была, позвала гостя, а у самой глаз уже на виске, и тянет за собой нос и щеку. Она таких в поликлинике насмотрелась, не дай Бог. Парез называется. Ой, не дай Бог! Тоня кинулась к зеркалу и еще раз

придирчиво, с опупыванием себя рассмотрела. Ничего. В виске у нее бывает и пустота, и колет, и стучит, и тянет. Это из-за курицы чертовой она распсиховалась. Была живой, стала мертвой. Больную, значит, сволочи, ей продали. Иначе с чего бы так быстро? Хорошо, что успела ее дверью. Теперь сварить можно будет... А самостоятельно сдохшую она бы сроду в рот не взяла. Хотя что мы знаем про то, что едим? Каких нам государство подсовывает — живых, резаных или мертвых резаных? А те же кооператоры? Тут ведь совсем без гарантий. Они и человечиной торганут без сомнения. Это такой народ. Отребье.

И тут раздался звонок в дверь. Тоня от неожиданности аж присела. Это ж неужели? Так рано? Хорошо, что умылась, так у нее все готово. Вот снимет фартук, выгвазданный, выбросит его, нацепит новый, белоснежный, ягодами покрытый, с карманами и нагрудничком, а на нем спелая вишневая веточка. Гарнитур «Вишня», цена 12 рублей, будь ты проклята, индивидуально-трудова деятельность.

За дверью же стояла дочка. Неправильно стояла, она должна была стоять в Ленинграде, у них туда экскурсия была намечена. Разве ж бы Тоня так сказала смело про воскресенье, если б не знала, что дочка еще в пятницу уехала?

— Ты чего? — спросила Тоня.

— А ты чего? — спросила дочка.

— Ты ж уехала, — сказала Тоня.

— Уехала-приехала, — ответила дочка. — Да чего ты, мам, вяжешься?

Дочка переступила порог и увидела курицу.

— Цыпа, цыпа, цыпа, — закричала она и толкнула ее ногой. — Ниче себе. Чем это ее так?

И она, опять же ногой поворачивала курицу туда-сюда, туда-сюда.

Тоня, когда нервничает, смотрит в окно. Ничего, правда, не видит, а смотрит. И сейчас стала, потому что, как быть, не знала. «У меня понятие есть, — думала, — дочь не выгонишь». — «Выгонишь, выгонишь, — отвечала сама себе. — Куда ж ты денешься. Не младенца же? Она совсем уже взрослая, может, и у нее такое уже есть...» Есть или не есть? Застучало сердце. Ведь вот сроду таких мыслей не приходило. Сроду. На эти темы — ни, ни... Даже про менструацию они говорили, только если там: «Мам, вата у тебя есть?»

А тут у Тони такое событие, а от дочери в квартире тесно и вообще... И не было выхода, потому что Тоня — порядочная женщина, а не какая-нибудь потаскушка, потому у нее в жизни и случился недостаток в мужчинах, что она считается с мнением и ей не все равно, что люди скажут, а дочка, конечно, сволочь, явилась зараза, кто ее ждал, и надо, надо ее выгнать, чего это она с матерью не считается, в конце концов!

Дочка же обнаружила приготовление в кастрюлях, и стаканчики граненые пятидесятиграммовые, доньшком вверх стояли, подсыхали, значит.

— Господи! — заорала дочка. — Так к тебе мужик, что ли? А я не соображу, чего это ты в вишнях... Ладно, я линия...

Она ломанула полбатона, схватила кусок колбасы и, засмеявшись матери в лицо, хлопнула дверью.

Тоня кинулась на площадку.

— Вечером приходи! Вечером! Я лапшу сварю.

Тоня вернулась со слезами на глазах. Вот у нее дети как дети. Взять хоть сына, хоть дочь. С каким понятием выросли, это ведь ее заслуга, не чья-нибудь. И не имеет значения, что они с ней, считай, не жили. Молоком она их кормила? Кормила. Вот они и стали такими. Сын лейтенант, чистоплотный такой, крепкий, жидкости мало употребляет, и дочка тоже умная, идейная, в отдельной комнате живет. Она, Тоня, сегодня же напишет сыну письмо, пригласит в гости, надо, напишет, познакомиться вам с сестрой.

Она выглянула в окно и увидела, что дочка сидит на лавочке. Тоня кинулась на балкон. «Уходи!» — закричала. «Ладно тебе! — ответила дочь. Я ем!» — «Ну пусть поест», — подумала Тоня.

А дочка сидела и пялилась на подъезд, ей хотелось узнать, кто придет к матери. Не охладон ли... С нее, дуры, станется... Вырядилась в вишни. Курицу где-

то выловила. Нет! Чтобы в жизни чего-то добиться, ей никаких указаний не надо — делай только наоборот матери. Мать у нее — показатель неверного пути. Мать не стала школу кончать, она — кончает. Мать не жила общественной жизнью, она — ею очень даже живет, у матери желания и мечты коротенькие, как и мозги, а у нее — заброс будь здоров, она даже в Кремле себя мысленно допускает. Почему бы нет?! Если сейчас в подъезд зайдет нормальный мужик, прилично одетый, не пьяный, на здоровье тебе, мама родная. Живи полноценной жизнью. Ну, а если алкаш, она тут же это дело поломает. Спустит его с лестницы и матери наподдаст. Тут как раз и появился мужик с черной бутылкой в вытянутой до земли авоське. Шел и смотрел на окна их подъезда. «Господи! — подумала дочка. — Где ж она такого нашла?» Штаны широченные, обтерханые, морда небритая, пиджак в такую обтяжку, что разрез сзади разошелся треугольником, в котором торчал вывороченный карман. Об-ра-зец! Подумала дочка. Я его сейчас... И она даже сделала шаг в его сторону, а мужик прошел мимо подъезда. То, что она встала со скамейки, было моментом в этой истории решающим. Потому что человек, если он намерился идти, должен идти, в нем уже возникла энергия движения, и не так просто все в человеке поломать обратно. Вот дочка и стояла, раскачиваясь на носках, приготовленная для резкого хода и резкого поступка.

...А он, как из земли. И протягивает ей нечеловечески желтую дыньку. Так уютно лежала она на его широкой ладони. Дынька «колхозница». Дынька-женщинка, которую оглаживали крепкие мужские пальцы. А дынька млела.

— Надо? — спросил парень, и серые его глаза обежали дочку с ног до головы и обратно до ног, где и остановились.

— И сколько? — спросила дочка своим хорошим, в крике призывов поставленным голосом.

— Пойдем договоримся, — ответил парень, кивая в сторону трансформаторной будки. И дочка безоговорочно поняла, что ничего не остается, как идти следом. Потому что хуже нет запущенной и нереализованной энергии движения.

Они одновременно посмотрели на окна дома и увидели размахивающую птицей и кричащую Тоню, на что дочка лениво подумала: «Чего машет, дура?» А парень тоже — не исключено — подумал — дура. А какие другие слова можно произнести в голове, видя женщину с дохлой птицей в окошке.

На самом же деле Тоня не кричала. Это они ошиблись, глядя вверх и через стекло. Тоня, конечно, открыла рот для крика, все правильно, так и было, другого и быть не могло, если поставить хоть кого на ее место. Закричишь тут! Завопишь! И Тоня — человек, подобный всем другим людям — именно для крика открыла рот, но перед самым возникновением звука ее от самой макушечки до пяточек так ударила боль, что звука уже не получилось! Боль перегородила путь звуку, вышло одно сипение. Тоню хватило только на то, чтобы развернуться к кухонному столу и лечь на него грудью. Она так и висела на нем, как какая-нибудь каракатица в обмороке, обвисая стол руками и ногами. И угол стола вонзился ей прямехонько между ног. Неожиданное острое наслаждение пронзило ее всю, и Тоня аж взлетела. Тело невесомое, легкое, гибкое — отделилось от стола и парило в долбаной невесомости, есть, значит, она, зараза, существует на самом деле. Мешала только битая птица, когтем держащая ее пальцы, не будь ее, вылетела бы Тоня в форточку, вон какая она стала изященькая, как струйка дыма, что тает вдруг в сияньи дня... Ей бы без птицы этой проклятой лететь и лететь, так как именно теперь ей нет преград ни в море, ни на суше и надо только сбросить балласт в виде курицы, и тогда взвьются кострами синие ночи, но именно от курицы — больше не от чего, все остальное в ней наслаждалось и пело, — именно курица не пустила ее в вольный полет, более того она исхитрилась — битая, а сильная — ударить ее о столешницу всей грудной клеткой, и последним вскрикнуло в ней наслаждение, и курица, подмигнув ей нераздавленным левым глазом, сказала четким человеческим голосом: «Остановка остров Ньюфаундленд... Конечная...»

ДЕБЮТ ЧЕРНЫХ КОНЕЙ

Если бы жизнь можно было описать с помощью алгебраического тождества, где любовь и ненависть, страсть и рассудок, простодушие и коварство абсолютно уравнивают друг друга, то история, которую я хочу рассказать, пришлась бы как нельзя более кстати, а так она рискует угодить в разряд курьезов, хотя, надеюсь, не станет от этого хуже, может быть, даже лучше, ибо чем, как не курьезами, приправляется протертый супчик буден. Конечно, есть среди наших читателей и вегетарианцы, предпочитающие постные стихи и бессоловые романы, но таких я заранее прошу не мучиться и отсылаю их к литературным последователям Брэгга.

Прошлой осенью я провел десять дней в Абхазии, в курортном местечке, в доме знакомой гречанки, где кроме меня жили еще два москвича, молодая пара с малышом из Ленинграда, литовка с внучкой и большая, шумная семья, кажется, из Донецка. Я чувствовал себя участником хэппенинга, который происходил в тесном дворике, на пятачке между колодцем, кухней-временкой и курятником. Здесь, под навесом уютным виноградной лозой, стоял длинный стол — главная деталь реквизита и, одновременно, смысловой центр импровизированного спектакля, что разыгрывался изо дня в день, с вариациями, без пауз и остановок, с коротким антрактом на три-четыре часа, те самые, когда кошки серы. Первым, еще до зари, подавал голос малыш за тонкой фанерной перегородкой — условным барьером, что искусственно воздвигают между собой москвичи и ленинградцы. Под самым окном комнатухи в полуподвале, где вместе со мной добровольно погребли себя еще двое любителей морских купаний, нервно взвизгивал приبلудный пес. Хлопала дверь пристройки — шахтерская династия начинала паломничество к святым местам. Вспыхнул свет в кухне, загромыхали жестянки и чугунки — Гришина жена, почти оглохшая в своем аэропорту, сочиняет завтрак. Сам Гриша запускает колодезный насос. Их дети, малолетние террористы, готовятся совершить первый боевой вылет. Во двор выходит куриный бог, чье превосходство нехотя признает даже петух: в руках у человека ведро с отборным пшеном вперемешку с чем-то таким, чему и названия-то нет, а если есть, то очень мудреное, латинское, ибо человек заведует аптекой, и зовут его Федор, и женат он на Гришиной младшей сестре, которая, это знает каждый цыпленок, ждет ребенка, иначе бы зачем день-деньской жужжать швейной машинке — приданое шьет Софа, тут и думать нечего. Но если Софа станет еще нескоро, то другая сестра, Ольга — она-то и пригласила меня погостить, — уже всю хозяйничает на кухне. Тем временем накормленный малыш симпатичных ленинградцев затевает возню с недовольным псом, мучительно соображающим по утрам, где он накануне зарыл свою сахарную косточку. Шахтерская династия дружно приступает к обряду омовения. Из подсобки что-то пищит по-литовски куколка шести лет. Автомобильные гудки — это вернулись со свадьбы Ольгины родители, чье появление благословляет с верхней террасы чутко спящая бабушка.

Так, или примерно так, разыгрывался пролог к главному, дневному действию, оно обычно происходило на нескольких открытых площадках, но преимущественно во дворе, а точнее — за длинным столом под навесом, в сопровождении кудахтанья несушек, жужжания упомянутой швейной машинки и ненавязчивого бормотания двух телевизоров, цветного и черно-белого, стоявших перед кухней, один на другом, и умолкавших далеко за полночь. Но если пролог к спектаклю я воспринимал как бы вчуже, то дальнейшие перипетии происходили уже при моем непосредственном участии. Я сразу стал едва ли не нейтральным, хотя

и бездейственным персонажем — уже потому, что был гостем и, следовательно, идеальным пищеприемником в глазах трех женщин. Вскоре, однако, мое ампула несколько расширилось. Подозреваю, что под удар, вольно или невольно, меня подставил Гриша, напевший бабушке, что я печатаюсь в московских журналах (единственная серьезная публикация, которой я могу пока похвастаться, это объявление в «Рекламе»: «Готов напечатать рассказ, 1 авторский лист, в любом журнале. Зарубежные не предлагать...») и что через меня они все могут войти в Историю. Видимо, культ печатного слова так развит среди абхазских греков, что я даже не слишком удивился, когда на третий день двор заполнился ходоками. Приходили соседи, чтобы написать с моей помощью письмо министру с предложением построить, наконец, грязелечебницу рядом с их домом, на месте непросыхающей лужи, целительными свойствами которой испокон веку пользуются местные жители; под покровом ночи ко мне пробрался суетливый человек с головой, стянутой эластичным бинтом, и театральным шепотом стал умолять, чтобы я сообщил в органы о преступной деятельности здешней мафии, тайно, у подножия горы, за глухим забором со знаком «М» испытывающей взрывные устройства такой силы, что у него треснул череп; спустился с гор чабан, чтобы возбудить дело против отары, отказавшейся сдавать «левую» шерсть... Я сидел за обеденным столом под навесом, прогнувшимся от отяжелевших виноградных кистей, среди дымящейся мамалыги и лаваша, и жареных цыплят, среди бутылок и бутылей, и, не разгибаясь, писал ходатайства, жалобы, проекты. Никогда еще, без преувеличения, я не работал столь интенсивно, а главное, никогда не пробовал себя в таких разных жанрах одновременно.

Бабушка принимала живое участие в моей работе, это выражалось в том, что о каждом ходатае, в его присутствии, она рассказывала всю подноготную, от мелкого разбоя в голопузом прошлом до джинсовых аттракционов в тряпичном настоящем, причем рассказывала с таким знанием дела, что оставалось только гадать о ее собственной роли в этих похождениях. С пугающей обстоятельностью она разворачивала очередной компрометантный свиток, и горе тому, кто пытался внести в этот список поправки или уточнения. Почему-то зацепился в памяти ее рассказ о некоем дальнем родственнике, который на свадьбе дочери, складывая в холщовый мешок денежные подношения, не забывал выписывать на листке точную сумму и фамилию дарителя, с тем чтобы впоследствии не дать себя застать врасплох органам БХСС.

И вот однажды, когда я, помнится, как раз закончил составлять для нервного молодого человека заявление в милицию с просьбой выдать ему новый паспорт или, по крайней мере, сделать вкладыш в старом, ибо молодой человек мечтал вступить в брак, а отметку об этом важном событии в его жизни, как выяснилось, негде было ставить, разве в графе «Воинская повинность», поскольку в предыдущей, «Семейное положение», густо татуированной различными загсами страны, живого места не было, в тот тихий воскресный день, да, воскресный, потому как именно по воскресеньям сходились в кулачном поединке два клана, две ветви фамильного древа Онуфриади, которые в будни не соприкасались по причине непримиримой и загадочной для меня вражды, а может быть, по причине двухметрового забора, что разделял два соседних участка, каменного забора, выкрашенного в желтый цвет ненависти, и вот в одно такое тихое воскресенье, когда утренние бои отшумели, и кое-кому оказывалась первая, а подчас сразу и вторая медицинская помощь, когда до вечерней схватки оставалось еще часа два-три, в этой паузе, когда, истомленная полдненным зноем, смолкала птаха в пыльных ветвях хурмы, и самый воздух дышал любовью и всепрощением, бабушка попросила меня принести ей книжку из спальни. Я поднялся на верхнюю террасу, прошел через гостиную с настоящей лепниной, через комнату сестер, где на колонках системы «Акаи» демонстрировался комплект трусиков «неделька», по коридорчику сквозь строй банок с греческими маслинами — эдакое эллинистическое вкрапление, удачно оживлявшее интерьер, и наконец оказался в спальне бабушки. Здесь царили чистота и казарменный порядок. Я без труда разыскал на полке нужную книгу и уже собирался уходить, когда взгляд мой упал на тумбочку в нише. Там были расставлены шахматные фигуры. Я подо-

шел поближе, чтобы оценить позицию. Следующим ходом белые получали мат. А если?.. Я двинул белую пешку на h 4... Все равно мат, только двумя ходами позже. Я восстановил прежнюю позицию и вышел из спальни.

Бабушка поила чаем нервного жениха, но стоило мне протянуть ей потрепанный, без обложки том, как она забыла о своем госте. Она бережно приняла до дыр зачитанную книгу, раскрыла ее наугад и стала читать про себя, явно волнуясь и от волнения пролистывая по несколько страниц. Молчание наливалось тяжестью, даже шпулька в швейной машинке завертелась рывками. Нервный жених предпринял скрытый маневр в направлении дальнего конца стола, забыв о злополучном паспорте. Внезапно бабушка оторвалась от книги и, устремив на жениха гиперболоидные свои зрачки в запавших глазницах, не то от себя, не то цитируя по памяти, произнесла:

— В любви-страсти совершенное счастье заключается не столько в близости, сколько в последнем шаге к ней.

Жених одеревенел. Умолкла швейная машинка. Даже в курятнике, как мне показалось, произошло некоторое замешательство. А бабушка тяжело вздохнула и снова отдалась чтению. Софа с точно таким же вздохом, в котором сквозило не только понимание, но и молчаливое одобрение бабушкиных потаенных мыслей, завертела ручку зингеровской машинки. Через несколько минут бабушка положила книгу на колени, лицо ее выражало задумчивость.

— Он прав, — сказала она негромко. — Гордой женщине больше всего досаждают люди мелкие, ничтожные, и свою досаду она вымещает на благородных душах. — Бабушка рассеянно поправила загнутый угол клеенки. — Из гордости женщина способна пойти за дурака соседа, только бы побольнее уязвить кумира своего сердца. Да, за дурака! — убежденно повторила она, обращаясь почему-то к жениху, который под ее взглядом переходил в новую стадию — окаменение.

— А что это у вас там в комнате за партия стоит? — попытался я перевести разговор в более спокойное русло. Софья полыхнула в мою сторону глазами, но я не понял знака и продолжал с развязностью бабушкиного компаньона:

— Сказать по правде, в этом положении я бы не рискнул сыграть за белых.

— За черных тоже, — последовала хлесткая отповедь.

Я прикусил язык.

— Может, я пойду, а? — подал голос жених и потянулся через весь стол за паспортом.

Его никто не удерживал.

— Хватит уже шить приданое, — сказала бабушка, едва за гостем захлопнулась железная калитка, — можно подумать, что ты курица, которая высидивает десяток яиц. Нет бы с мужем посидеть — вон какой у Федора фонарь под глазом, а ведь им скоро опять сходятся.

Софья резко поднялась, насколько это позволял восьмимесячный живот, и ушла в большой дом. Мы остались вдвоем с бабушкой.

— Ты на меня, старуху, не обижайся, я как про это вспомню, сама не своя становлюсь. Ишь, глаз сразу пошел! Ладно, раз так, слушай. Вот ты смотришь на меня, на мои руки в темных пятнах, и думаешь... не перебивай! и думаешь — страшна старушка, как смертный грех. А знаешь ты, как меня в молодости звали? Еленой Прекрасной. Там у меня наверху фотография висит — ты посмотри, посмотри. Костас у родной матери золотой браслет украл — доказать хотел, что для меня он готов на все. Вот я об него ноги и вытирала... а через год мы обвенчались. Смешно, да? После этого Нико и зачистил к нам. Придет и сидит — час, два, а потом, слова не сказав, уходит. Костасу моему что, охота сидеть — пускай сидит. Нико ему хоть и двоюродный, а брат, из одного комля выросли, но мне-то какво? Я даже обрадовалась, когда они за шахматы засели, ну, думаю, хоть так, все легче будет. Легче! А видеть его чуть не каждый божий день?! Правда, со мной он ни о чем таком не заговаривал, врать не буду. Даже на день ангела, когда принес мне вот эту книгу, Стендаля, ничего не сказал, да только я, когда они ушли играть, раскрыла на закладке, а там подчеркнуто... сейчас... — Она полистала затрепанный том. — Вот... «Единственное лекарство от ревности состоит,

быть может, в очень близком наблюдении счастья соперника». Да-а... — она помолчала. — Знаешь, я ничего не соображаю в этих шахматах, но как-то муж, довольный своей победой над бедным Нико (он почти всегда у него выигрывал), стал показывать мне на доске какие-то ходы, я внимательно его слушала, а под конец спрашиваю: «Так почему он тебе проиграл?» Муж долго хохотал, потом говорит: «Проиграл и будет проигрывать. Потому что упрямым, как бык. Я иду пешкой, и он пешкой, я слоном, и он слоном». — «А так нельзя?» — спросила я. «Кто сказал, что нельзя? — начал горячиться Костас. — Я сказал, что нельзя? Можно! Все можно! Но у меня же темп, понимаешь ты это! Темп у меня!» Я, конечно, ничего не поняла, он назвал меня дурой и зарекся толковать со мной о шахматах...

Только сейчас бабушка заметила, что мухи совершенно беспардонно залезают в банку с вареньем из фейхоа — уже лет пять она безуспешно пыталась угостить им правнуков в обход ненасытных внуков, что напоминало классическую сценку в городском парке, когда разбитые воровбы разноворывают лучшие крошки из-под носа у голубей, которым эти крошки предназначались. Бабушка отогнала мух и закрыла банку полиэтиленовой крышкой.

— Но один раз, — она помедлила, словно проверяя свою память, — еще один раз он заговорил со мной о шахматах. Это было перед самой войной, прошло наверное пять или шесть лет...

— Вы хотите сказать, что все эти годы они продолжали сражаться за доской?

— Можешь себе представить. Когда зимой тридцать девятого Костаса положили в больницу с подозрением на желтуху, сестра Нико, ты ее видел, по его просьбе две недели носила моему муженьку передачи в больницу. Уже после мы узнали, что в этих пухлых свертках не было ничего кроме очередного хода.

— Вы сказали, Елена Харлампиевна, — напомнил я, — что ваш муж еще один раз говорил с вами о шахматах.

— Да. После той партии, что стоит на доске по сей день. Это была их последняя партия. — Бабушкина спина вдруг разогнулась, глаза заблестели, и на мгновение я увидел перед собой ту самую Елену, Елену Прекрасную, ради которой не грех было стащить у матери золотой браслет. — Он проиграл тогда.

— Кто? Нико?

— Мой муж, — сказала она почти бесстрастно, но, странно, в ее тоне мне почудился оттенок торжества. — Это был тот редкий случай, когда он проиграл. И как проиграл!

— Да, эффектная ловушка, — согласился я.

— Я не о ловушке, — улыбнулась бабушка. — Они играли, как тогда говорили, «на интерес».

— То есть на деньги?

— Не обязательно. На деньги, на охотничье ружье, мало ли на что. Онуфри-ади — семья богатая.

— И что же ваш муж проиграл в тот раз? — спросил я, в свою очередь улыбаясь. — Корову?

Тут я почувствовал, как под немигающим бабушкиным взглядом моя улыбка съеживается, точно проколотый иголкой воздушный шарик.

— Меня, — сказала она просто.

— Кого? — не понял я.

— Меня, — повторила она.

Я попробовал выдуть из себя новую улыбку.

— Муж тоже решил, что Нико шутит, — как ни в чем не бывало продолжала бабушка, — но он был так в себе уверен, что принял это дерзкое, это оскорбительное пари. После, пытаясь передо мной оправдаться, он божился, что не допускал даже мысли о поражении. Он знал страсть Нико копировать его ходы и потому остановился на дебюте четырех коней — видишь, не такая уж я дура, кое-что усвоила — остановился на нем как на беспроигрышном. Этот дебют у них уже встречался, и всегда Костас белыми ставил Нико мат. Не знаю, правда ли это, но так мне муж потом объяснял.

— Что же произошло?

— Неизвестно. Он был тогда как помешанный. Что-то выкрикивал, рвал на себе волосы... хотел убить меня, себя, его. До того договорился, что это я все подстроила.

— А может быть, Нико... — я замялся, подыскивая слово, — может быть, он сыграл не совсем корректно?

— То есть смужлевал? — безжалостно уточнила бабушка. — Нико никогда бы этого не сделал! — Кажется, впервые она повысила голос; впрочем, тут же взяла себя в руки. — Неужели ты думаешь, что мой муж сто раз не проверил каждый ход? Да он дотемна просидел над этой чертовой доской.

— И не нашел ошибки?

— Не нашел.

Я смотрел исподтишка на бабушку, старую, совершенно седую, всю в черном, отчего она казалась почти бесплотной, и не решался задать вопрос, который вертелся у меня на языке.

— Знаю, о чем хочешь спросить. Ты хочешь спросить, выполнил ли муж условия пари? Я тебе так отвечу: он был слишком слаб, чтобы послать меня на такое. Он валялся у меня в ногах, хватался за ружье, но когда среди ночи я поднялась с постели и начала одеваться, он притворился, что спит.

Она замолчала, молчал и я, даже две курицы молча охаживали друг дружку в смертельной схватке за арбузную корку.

— А Нико, он не притворялся, — продолжала бабушка. — Нет, этот не притворялся. Он ждал меня... Ждал, чтобы отвергнуть. Представь себе! Нико выставил меня за дверь!.. Но об этом мой муж, как ты понимаешь, не узнал, и еще до рассвета они отправились на Белые скалы. Ты был там?

Да, я там был. В день моего приезда ленинградцы взяли меня с собой на Белые скалы, оказавшиеся каменными наплывами вроде свечных наростов, у самого моря, примерно в получасе быстрой ходьбы. Белые скалы... красивое место, ничего не скажешь... разве что безлюдное, особенно в такую рань.

— Значит, тебе не нужно объяснять, как это далеко отсюда. Но я услышала. За окном только-только растеклось «молочко», когда я услышала два выстрела, почти одновременно.

Я ждал чего-то еще, но бабушка тяжело поднялась со скамьи и начала собирать грязные тарелки.

— И все? — вырвалось у меня. Я почувствовал, до чего же наивно это прозвучало. Так мог бы ребенок, услышав грустную сказку, выразить свое несогласие с жестоким финалом.

В ответ бабушка пожала плечами.

— Помоги-ка мне убрать посуду от греха подальше, — только и сказала она. — Скоро начнут. — Она задрала голову, словно ожидая небесного знамения: вот сейчас ударит в землю молния, этаким золотой посох, и можно будет начинать.

И вдруг меня осенило! Ведь это из-за нее, из-за бабушки, они сходятся здесь каждое воскресенье!.. Ну конечно! Вот уже сорок пять лет две ветви семейства Онуфриады, деда, отца, а теперь и сыновья, бьются в кровь из-за некогда прекрасной женщины, и каждая сторона надеется доказать, хотя бы с полувековым опозданием, обоснованность изначальных притязаний, и нет для тех и других ничего важнее, ибо доказать это — значит восстановить земной первопорядок, когда любовь была равнозначна себе самой и не требовала поправок на размер приданого либо родственные связи, и когда высшая справедливость подразумевала высшую справедливость, только это и ничего больше, что едва ли уместно толковать в духе современного тезиса «выживает сильнейший», и пусть эти новоявленные Ахиллы и Патроклы, такие же воинственные, такие же наивные, до второго пришествия ничего не докажут друг другу, зато каждую неделю они неопровержимо доказывают этой гордой старухе и вместе с ней всему человечеству торжество духа над жалкой материей...

— Да ты никак оглох! — неожиданно прорвалось до моего сознания. Бабушка чуть не в нос совала мне тарелки. — Вот и корми вас! А ну неси, голубок, на кухню.

Я принял из ее рук горку посуды с запекшимися пятнами соуса и похрустывающими между тарелок куриными косточками. Когда я все перетаскал в кухню, мне было велено унести Стендаля обратно. В спальне бабушки я примостился на продавленном диване, в пазухе меж торчащих штопором пружин, и углубился в текст. По тексту, надо сказать, хорошо прошлись карандашом. Одна фраза была обведена красным: «Для девушки гораздо большее нарушение стыдливости — лечь в постель с человеком, которого она видела два раза в жизни, после того, как в церкви сказали несколько слов по-латыни, нежели невольно уступить человеку, которого она обожает уже два года». Да это же про них! — мелькнула первая мысль. А за ней вторая — это не она обвела красным, это он! Я заторопился, боясь, как бы меня не застигли на месте преступления, я перелистывал истончившиеся, с распущенными краями страницы, выхватывая наугад какие-то куски, и вдруг меня словно током ударило: я трижды перечитал фразу, не веря собственным глазам... но тут послышались шаги на террасе, я вскочил, точно вор, пойманый на месте преступления, сунул Стендаля в какую-то щель на полке и быстро вышел.

На террасе Гриша, одетый, завалился спать — очевидно в комнате его вконец заели комары.

Перед заходом солнца они в очередной раз «сошлись». Из своей каморки в полуподвале я слышал, как Нико-маленький, внучатый племянник того легендарного Нико, призывал в свидетели Христа Спасителя, что противник нарушает неписанные законы кулачного боя, я слышал, как Андрей Константинович, сын Костаса, гостеприимно распахнувший передо мной, чужим человеком, двери своего дома, громогласно торжествовал после своего коронного удара снизу в челюсть... чьего голоса я не слышал, так это голоса бабушки, но я ни на полноты не сомневался, что в эти святые минуты она, как всегда, сидит в плетеном кресле на верхней террасе и с высоты, подобно Афине Палладе, заинтересованно наблюдает за ходом поединка. Я же при слабой поддержке лампочки, превращенной мухами в подсвеченное изнутри перепелиное яйцо, спешил записать поразившую меня историю. Бабушка, я чувствовал, не сказала чего-то важного. Но чего? Возможно, она сама этого не знала... не знала? А как же фраза из Стендаля? Не могла же эта фраза, в самом деле, ускользнуть от ее внимания, хоть она и не была подчеркнута? И дебют этот... четырех коней... отчего он меня так тревожит? Муж, сказала она, не нашел ошибки, сто раз проверил каждый ход и не нашел... Но почему, собственно, я должен верить ее мужу? Выигрыш Нико не был случайностью, это ясно, слишком высока была для него ставка, а это значит... Здесь ниточка моих рассуждений раз за разом обрывалась. Надо сходить переписать позицию, вот что. И уже отсюда танцевать. Положим, с моей шахматной эрудицией много не «натанцуешь»... ничего, вернусь в Москву, там разберемся... Да, признаюсь честно, меня тогда здорово разобрало, а если мной овладевает какая-то идея, я могу достать слона в целлофане.

Заранее извиняюсь за скороговорку о том, как незаметно пробежали для меня последние деньки «у моря», о том, что домой я увозил бабушкины ткемали и, да-да, божественное варенье из фейхоа, что обратного билета у меня не было, и Гришина жена Таня оформила меня на рейс «подсадкой» — услуга за услугу, ведь я составил от имени девочек-дежурных письмо в управление Аэрофлота, в письме же по-женски эмоционально рассказал, как они гложут на летном поле, не получая за это даже надбавки. Не то чтобы все это было не важно, но сейчас, сию минуту я, как, вероятно, и вы, читатель, уже там, в Москве, где, хочется верить, нас ждет разгадка этой странной истории.

На другой день после прилета в Москву, во вторник, я позвонил в Центральный шахматный клуб и с огорчением услышал, что библиотека работает только по вечерам. Чтобы скоротать время, я ходил в кино на какую-то белиберду, дважды — на нервной почве — позавтракал (и остался голодным), пошатался по городу. К четырем часам как штык я стоял перед уютным особнячком на Гоголевском бульваре. В библиотеке мне выдали литературу по теории дебютов, коробку с деревянными фигурками и картонную складную доску. Не прошло и часа, как я нашел то, что искал. Не без волнения я разыграл роковую партию,

окончившуюся двумя выстрелами. Оказалось, что в тридцать шестом году этот дебют избрала газета «Вечерняя Москва» в партии против своих читателей. До одиннадцатого хода черные в точности копировали ходы белых. Дальнейшее продолжение симметрии очень скоро грозило читателям матом, поэтому на одиннадцатый ход белых fд2 они взяли слонем на f3. Впрочем, это их тоже не спасло, и на двадцатом ходу они признали свое поражение.

Была ли известна Нико Онуфриади эта курьезная партия? Думаю, не ошибусь, если отвечу утвердительно. Но ведь он-то, Нико, выиграл за черных! Да, выиграл... после того как неоднократно проигрывал, сознательно идя по ложной тропинке, проложенной читателями «Вечерней Москвы». Да, он вновь и вновь проигрывал своему брату и сопернику, заранее готовясь к главной партии своей жизни. И когда решающая минута настала, он на одиннадцатом ходу сыграл по-новому — с шахом взял конем на f3. Убаюканный легкими победами, ничего не подозревающий соперник сделал последующие ходы, в сущности, под его диктовку. На четырнадцатом ходу Нико скромно ушел королем в угол доски... и белые оказались в ловушке! На К:6 следует Jg8. Мат! Запоздалая попытка открыть «форточку» белому королю тоже, как я убедился еще тогда, в бабушкиной спальне, ведет к мату. Ну и ну! У Костаса, наверно, глаза на лоб полезли. Если бы его хватил удар, я бы не удивился.

Вы спросите: с чего я взял, что Нико непременно должен был знать об этой партии? А если знал, то за каким чертом он так долго играл с соперником в поддавки?.. Стоп! А давайте спросим себя: к а к долго? Если мне не изменяет память, между первой и последней попытками Костаса приобщить жену к древней игре прошло пять или шесть лет, последний же, этот, можно сказать, преддвулетний разговор произошел перед войной. Стало быть... Не торопись, здесь требуется абсолютная точность. Я отправился в библиотеку Ленина и в картотеке, на фамилию Стендаль, он же Анри Бейль, разыскал тот самый том из пятнадцатитомного собрания сочинений, что был подарен Елене Прекрасной. Тридцать пятый год издания! Молодец старушка, все правильно — шесть лет. Вот, значит, когда в голове этого безумца возник его фантастический план! Я о той фразе у Стендаля, что так меня поразила...

Итак, именно тогда, в тридцать пятом, Нико зачастил в дом своего брата. Думаю, что поначалу у него не было четкой программы действий. Думаю, на мысль взять себе в союзники «зеркальные» шахматы его натолкнула заметка в «Вечерней Москве». Гениальная, между прочим, мысль. Как еще, спрошу я вас, «запрограммируешь» соперника на нужный тебе результат? О, я сразу не поверил в эти его бесчисленные проигрыши! Тот, кого Прекрасная Елена любит вот уже пятьдесят лет, не мог быть заурядным человеком. Любит, любит! «Он был так доволен своей победой над бедным Нико», — обронила она. Это слово — «бедный» — дорогого стоит... Великий хитрец, он в этой игре в кошки-мышки так часто отдавал себя на съедение, что рисковал вконец утратить навыки охотника. Но еще более удивительно его долготерпение. Чуть не каждый день, в течение шести лет, приходил в дом той, которая принадлежит другому, и, ничем себя не выдавая, снова и снова проигрывать тщеславному глупцу — согласитесь, на это способен не каждый. Я прикинул в уме: за шесть лет они сыграли полторы тысячи партий. Дебюты, разумеется, варьировались, однако до определенного момента он всегда, судя по всему, зеркально повторял ходы противника, выдавая это за свою странность, или «упрямство», как полагал Костас, а на самом деле исподволь приучая последнего к мысли, что так будет вечно. В этом море партий, наверняка, не раз встретился дебют четырех коней (да ведь Костас и сам в этом признался!), но, удивительное дело, Нико вновь и вновь отказывался от своего шанса. Он не имел права рисковать! И предложил он свое удивительное пари, конечно же, не до начала их решающей партии, а после, когда их кони, белые и воронье, рванули друг другу навстречу, роняя пену с губ, и все сразу стало ясно, и оба ружья выстрелили беззвучно, чтобы чуть позже, на рассвете, эхо прокатилось среди Белых скал. Но тогда почему, спросим себя, пройдя свой крестный путь и оказавшись на пороге блаженства, он так и не переступил порога? Боюсь, что э т а загадка мне не по зубам...

Моя история близится к концу. Я пересматриваю первые страницы и не могу отделаться от двойственного ощущения: если главный, любовно-шахматный, сюжет написан в общем-то просто и убедительно, то все, что ему предшествует, кажется мне недотянутым — в описании домашнего уклада проскальзывает чужая интонация, периоды порой тяжелы и одышливы, юмор, как говорится, от лукавого. Что делать, самое фальшивое в искусстве — это правда жизни.

Не могу распрощаться с читателем на грустной ноте. Партия сыграна, фигуры возвращаются на исходные позиции, что ж делать нам?.. Я бродил бесцельно под дождем и думал о моей прекрасной гречанке. Мне хотелось пожертвовать для нее если не жизнью, то... то... Я поехал на Кузнецкий мост, потолкался среди «чернокнижников», и уже на следующий день мне была вручена, всего за пять номиналов, книга в бумажной обложке двусмысленного цвета, со столь же двусмысленной виньеткой, изображавшей не то лопнувшее от ожирения сердце, не то бомбу замедленного действия, к которой неумолимо подбирается по бикфордову шнуру петушинный огонек страсти. Это был Стендаль. Я отослал книгу бабушке. В книгу я вложил закладку. Бабушка раскроет Стендаля и тут же наверняка обратит внимание на подчеркнутую красным фразу: «...женщину можно выиграть, как партию в шахматы».

* * *

Поставив точку, я в последний раз окинул взглядом поле боя. И вдруг меня как током ударило. Какая слепота! Стоит ведь сыграть: 15. Лfc1 Лg8+ 16. Крf1 Сg2+ 17. Кре1, и белые ушли от мата. Костас м о г спастись! Бедный мой герой — твоя мечта едва не лопнула, словно воздушный шарик. Но рассказ уже написан. Я рад, что подарил тебе эту иллюзию, пускай ценой своей ошибки.

Яков ДЫМАРСКИЙ

НЕПРИКАЯННЫЙ КРАЙ
У ПОРОГА УКРАИНЫ

* * *

Определяются мотивы.
Кто не повесился, те живы,
Кто переизбран — на коне.
Мы, разве по привычке, лживы,
Хотя растеряны вполне.

Еще свистит фальцет суфлера —
Отпала неизбежность флера,
Отчетлив контур. Наконец
И дело наше — не афера,
И сребролюбец — не подлец.

Казалось, не было предела
Долготерпению. И дело
Мы подменяли на дела.
Но сколько бабка ни болела,
А все ж к обедне померла.

В наследство нам осталась малость:
Одним никчемная усталость,
Другим — классический балет.
Беседка старая осталась,
А речки и в помине нет.

Покуда капиталы мелки,
Мы опасаемся подделки —
Твердим классический урок,
Как прежде изумруды белки
Перегрызаем страсти впрок —

Железный век не за горами!
И все же, что же будет с нами?
Со всеми нами. Всей страной
С ее лесами да полями,
Да пресловутыми морями,
С ее повадкой молодой?

* * *

Минус тринадцать на мерзлую землю свалилось,
лишь бы озимые сеяли в сжатые сроки.
Раньше в такой ситуации богу молились,
«господи-боже» твердили и разные — страстные — строки.

Господи-боже! Сказали вчера на райкоме,
вымерзнет все... И махнул выступавший рукою.
Минус тринадцать... Допустим, в республике Коми —
это одно, в октябре и в Донбассе — другое.

После того, как погибли массивы карбона,
после того, как упали пласты антрацита,
стали постоем грядущей излучиной Дона
идол побоищ и нищенский дух экоцида.

Нет! никогда здесь не знали неистовства веры.
Жили наскоками, как укрывались от ветра.
Что здесь примеры из нашей и до нашей эры,
если добыча пошла с полтора километра.

В чем провинились, и кто покарал так безбожно
райские кущи? В аду очутились кромешном.
Вот почему появляются так осторожно
эти озимые и погибают — поспешно.

Райское место? Да это же голое место —
там, где был рай. Или будет (чтоб нас не обидеть).
Из кабинета все можно увидеть, из кресла
не поднимаясь. Что, собственно, можно увидеть?

1986

* * *

От голодной неволи спасая,
обращая в раба и вола,
полутемная, мерзлая, злая —
лишь бы только живая была.

полновесная, что с тобой стало?
Где твой теплый, податливый пласт?
А была тяжелее металла.
Пустоцвет теперь, пенопласт.

Ты, которой привыкли гордиться
и которую стерли на треть,
и мечтали с тобой породниться,
и — попутно — тобой овладеть,

Стыдно мять? Невозможно коснуться:
под рукой обращаются в прах
полудетские крохкие грудцы,
предвещая забвенье и крах.

Эта — наша, а эта — чужая.
Эта — чья-то, а эта — моя.
Вся ты сжалась в комок, угрожая,
о помиловании моля.

1984

* * *

Снег идет на старинных картинах,
Настоящий нетающий снег,
Осыпая ни в чем не повинных —
Виноватых во всем и за всех.

Снег идет сквозь бессмертные строки.
Прямо сказано: снег идет.
А метель заметает пороги
И петляет всю ночь напролет.

Наши гении, наши таланты
Побледневшие хлопья жуют.
С пониманием ждут секунданты,
Санитарки безропотно ждут —

Слава богу! не в знойной пустыне,
Не в пустыне безжизненной рек —
На родной белоснежной холстине
Помирает родной человек.

Снегопад засыпает эстраду...
Между тем всесоюзный экран
Объявляет неделями кряду:
Плюс один, гололед и туман.

От обжитых просторов валдайских
До тюменских — и дальше — болот,
От дунайских до тмутараканских
Дождь со снегом за снегом идет.

То, чего опасался Овидий,
Чем спасался опальный поэт —
Я ни белого снега не видел,
Ни стихов не слыхал столько лет.

Никакие другие стихии
Никакие другие стихи —
Никогда никакие другие —
Не заменят. И ни на какие...

1986

* * *

На каком языке говорят!
Я едва все слова понимаю.
Два столетия подряд
То ли речь, то ли мову внимаю.
Где-то здесь, говорят, в двух шагах

Протекала Каяла.
Место гиблое — страх.
То ли места, действительно, мало,
То ли мало степей
За Уралом пылят ковылями,
Чтобы брать из горбатых полей
Хлеб и уголь — горстями.
Чтобы выйти за край
Представлений о нашей бескрайней,
Неприкаянный край
Пригвоздить у порога Украины.
Что за каторжный труд
Истощил эти земли и норы!
Наши люди идут
Из ворот проходных коридоров.
Наши реки текут
Меж остывших грудей терриконов.
Наши речи рекут
Языком пролетарских законов.

1986

* * *

У народа свои сокровенные планы.
Чем он занят сейчас, невдомек никому.
Кто вчера впереди, завтра быть одному.
А по совести только дубы-великаны.

Тополя-однолюбы, залечившие раны,
И усталые ели, и — все. Потому
Не несут свой железный поклон ни к кому,
Поравнявшись на них, работающие краны.

И, покинув бетонный ублюдок, опять
Над бетонным орут и орудуют. Вспять
Не желая идти ни в какую.
Оглянутся едва, на мгновенье замрут...
Неужели и этот квартал обживут
И устроят здесь жизнь дорогую?

1977

ЗАРУБЕЖНАЯ ПРОЗА

Милорад ПАВИЧ

ПЕЙЗАЖ, НАРИСОВАННЫЙ ЧАЕМ

Роман для любителей кроссвордов

Перевод с сербскохорватского Н. Вагановой и Р. Греckoй

Серб Милорад Павич (род. 1929 г.) — романист и филолог («Языковая память и поэтическая форма» — 1976, «История, сословие и стиль» — 1985), начинал как поэт (первый стихотворный сборник «Палимпсесты» — 1967). Затем была «малая проза» — книги новелл («Железный занавес» — 1971, «Кони святого Марка» — 1976, «Русская борзая» — 1979, «Новые белградские рассказы» — 1981) и т. д.

Однако мировую известность принесла Павичу «проза большая». Первый же его роман — «Хазарский словарь» (1984) переведен практически на все культурные языки; в СССР — в «Иностранной литературе» за 1991 г.; литобозреватели «Нью-Йорк таймс» отвели ему место в первой семерке. В списке бестселлеров (1988), причем, под номером один, оказался этот роман и во Франции. Но больше всего понравился «Хазарский словарь» в Испании; по мнению мадридских критиков, это «первый роман XXI века».

В скоростном порядке переводит мир и «Пейзаж, нарисованный чаем» (1988), кстати, чрезвычайно читаемый и в Югославии, — уже вышли французское, немецкое, канадское, американское, итальянское, австрийское и т. д. и т. д. издания. Вскоре после публикации «Пейзажа...» Милорад Павич выдвинут кандидатом на соискание Нобелевской премии.

«Согласие» печатает «Пейзаж, нарисованный чаем» в полном объеме, в мастерском, на наш взгляд, переводе, и мы предполагаем, что первая встреча с живым югославским классиком не останется без продолжения.

СОДЕРЖАНИЕ

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 6 |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 4 |
| 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 |
| 4 | 2 | | | | | |

По горизонтали 1

По вертикали 2

Ни единой пощечины, которую можно было вlepить, не следует уносить с собой в могилу!

Был когда-то у нас в школе один товарищ, любивший повторять сию посьовицу, однако по виду его было не сказать, что именно так он полагал о пощечинах. По правде говоря, он походил на тех, кто медленно схватывает, да быстро забывает. «День бежит быстрее зайца, промелькнет — и нет его», — говаривал он; был он хорошенький, но неприметный, словно рассказы, которые послушаешь да дважды забудешь. В дни юности нашей на меня и прочих учеников произвел он большое впечатление одним пустячком, мелким и вовсе неважным, сболтнувши, по своему обычаю, нечто, что всем пришлось по вкусу. Поглядывая на окружавших нас прелестниц, которые прощают глупость молодым людям, а некрасивым не прощают ума, он изрек: «Всех их мы употребим вчера!» То ли высказал догадку, что на ренуаровской картине «Мулен де ла Галетт» пары кружатся под вальс «Последняя голубая среда». То ли придумал еще какую чушь, в то время для нас значительную. Поскольку я, естественно, неохотно запоминаю тех, кто произвел на меня хорошее впечатление, но, напротив, в ту же секунду предаю их полному забвению, едва ли я о нем еще что-нибудь вспомню.

Между тем, некоторые события, совершенно новые и недавние, привлекли к нему внимание всех нас, кто живет в Белграде — теперь, столько десятков лет спустя, когда одни лишь часы говорят нам правду, когда все мы до такой степени друг друга забыли, что я, решившись кое-что написать об этом человеке, должен был сознаться самому себе, что я забыл, как его зовут. Так что пока эта повесть, или же этот кроссворд, — ибо каждое повествование использует прием скрещивания слов, — лишен даже имени героя. Но вот как он выглядел, когда случилось нам недавно опять его увидеть.

Вошел среднего роста блондин с двумя проборами в волосах на индейский манер. С ним пришла шляпа, полная забот, и кисет из козлиного гульфика, набитый трубками. Голова его ни за что не желала помещаться в середине упомянутой шляпы, а шея — в середине воротничка, но все-таки он был красив. Меня в нем главным образом раздражало то, что больше всего нравилось женщинам — мускулистые ноги, из которых одна была старше, и его невероятное проворство — та часть красоты, которая не поддается изображению. Рюмки он сначала наливал, а потом отталкивал от себя, но при этом не проливалось ни капли. Но он был не только проворен. Он был из тех, кому улыбнулась фортуна.

Подобно бегунам на короткие дистанции, что пускаются во всю прыть в один миг с выстрелом стартового пистолета и приходят первыми, потому что начали движение одновременно с поданным знаком, так и он (достигнув уже солидного возраста) вдруг сообразил, что у каждого из нас на два своих кармана приходится один чужой, в который без стеснения утекает все, что нам удается скопить. А сообразив, сделал резкий поворот. Наиболее удачную часть своей жизни он прожил в Соединенных Штатах Америки и в других странах, став владельцем мощного треста, финансовым магнатом, будучи если не компаньоном Сэма Уолтона и Куцуми, то по крайней мере наступаая им на пятки. Теперь он прилетел вместе со своей резко изваянной тенью на собственном самолете, чтобы повидать однокашников в этой корчме с клетчатými скатертями, потому что он любил рыбу, а рыбу лучше всего готовят там, где клетчатые скатерти. За четверть века странствий он в сновидениях по-прежнему не умел водить машину и ни одной ночи не ночевал за границей. В Америке ли, в Вене или в Швейцарии ему снилось, как он волочит ноги по Земуну или спит в Белграде в каких-то железных санях с колокольчиками, которые начинают звенеть, стоит ему во сне пошевелиться.

Увидев меня, он развел руками и закричал: «Миша, мощи мои живые, да от тебя одни глаза остались!» Я, хоть и не разобрался, кто это передо мной стоит, сделал вид, что вспомнил его и что все нормально. А в общем, вполне логично, что он запомнил мое имя по тем же причинам, по которым я забыл, как его зовут. Я тоже прекрасно помню всех, на кого я произвел хорошее впечатление, ибо человек всегда мыслит ниже своих возможностей, а моменты добрых впечатлений редки, и надо их спасать от забвения, потому что те, ради кого мы так старались, эти мгновения непременно забудут.

Зметив, что я его не узнаю, он не отвернулся, но уселся рядом и продолжил разговор все с той же сердечностью, не переставая отстукивать по столу, как по роялю, какую-то польку, причем на скатерти оставались следы от ногтей, подобные нотам.

— Не беспокойся, — добавил он, точно читая мои мысли, — все наши воспоминания, чувства и помыслы должны получить вечное пристанище в других мирах, от нас почти не зависящих. Ведь больше ходят друг на друга (каковы бы они ни были) мысли двух разных людей, чем человек и его собственная мысль...

Тогда он только что похоронил мать, и в тот вечер он поведал мне необычную притчу, в которой отразилось и его горе, и известная странность — судя по притче, можно было подумать, что это он умер, а мать осталась в живых.

— Итак, — рассказывал он, — у одной вдовы умер сын, и мать о нем сильно тосковала. Слезами изошла, всю соль из себя выплакала, и слезы у нее текли несолоные. Однажды ночью заснула она в слезах и увидела во сне какой-то сад — половина его цветет под солнцем, люди гуляют и радуются, а другая половина вся в грязи, во тьме, под дождем. И среди этой грязи вдруг видит вдова своего сына! — «Видишь, мама, — говорит он ей, — все здесь наслаждаются радостями, как живые, а эта слякоть вокруг меня — от твоих слез...»

Что делать — перестала вдова плакать о сыне. А он ей вскоре опять во сне явился и показал свой сад, теперь уже под солнцем, только вот ничего в нем не растет, не плодится, как в соседних садах. Ведь все на свете должно плодиться и размножаться, а сады цветут, потому что живые плодятся.

Уразумела мать и эту притчу, вышла опять замуж и вскоре родила прекрасного младенца, чья улыбка принесла первый урожай с яблони в саду брата...

Так вот, эта немудреная сказочка, — заключил свою речь мой незнакомый собеседник, — не заслуживала бы внимания, не будь возможности ее переложить, придавши ей особый смысл. Не следует толковать ее буквально. Тот свет и сады, в которых гуляет сын вдовы — ведь это мир наших мыслей, чувств, воспоминаний. Разве не ясно с первого взгляда, насколько это все неземные вещи, далекие от нас самих, ведь мы — не более, чем их якорь на этом свете. А сын ее в этой сказке — не что иное, как ее мысль, любовь или воспоминание, ибо что такое наши воспоминания и влюбленности, как не наши дети в иных мирах? Все это, как я уже говорил, и зависит и не зависит от нас. Иногда стоит нам улыбнуться — и там, в нашей памяти, в нашей любви засияет солнце, подарим женщине ребенка — и там, в наших мыслях, завяжется плод познания, а наши земные слезы могут развесть слякоть где-то далеко, в нашей душе... Возможно, я не сумел понять все, что можно понять из этого рассказа, но...

— Но это не причина, чтобы не выпить еще по рюмочке, — я перевел разговор в другое русло, мы чокнулись, и я с рюмкой в руке повернулся к тем, кто сидел рядом. При этом я думал: «У этого не иначе как даже из задницы уши торчат, надо с ним поосторожней!»

Но тот, к кому я обернулся (тоже однокашник, вообще говоря, жулик, способный и стул из-под себя украсть) сразу перешел к делу и сообщил, что Атанас Свиляр (вот оно, наконец, так прочно забытое имя) недавно вместе с группой деловых людей из США удостоился приема у нашего Президента. Представь себе, Атанас Свиляр, которому раньше и жениться-то было не на что, а где уж газету купить — и вдруг в резиденции на Дединье, в Белом дворце, у самого Президента Социалистической Федеративной Республики Югославии.

— Мне, как и тебе, — продолжал он, следя за тем, чтобы американский гость

нас не услышал, — всегда казалось, что у этого Атанаса Свиlara мозги враскорячку. Но, видишь, как мы ошиблись! Представь, его фамилия вовсе не Свилар, его настоящее имя — Афанасий Федорович Разин. Ни больше, ни меньше! Точно у русского князя или у их казацкого царя, что пьет водку, запрокинув голову, прямо из бутылки, держа ее за горлышко в зубах. Недаром мать с детства называла его на «вы»! Видишь, истина-то не в корзинке и не в мерке, а в чугунной гирьке! Русская фамилия нашего Афанасия затерялась где-то в Сибири вместе с папашей. Мать его вернулась из России в Белград и чего только, говорят, не вытворяла, чтоб избавиться от ребенка, но все же Афанасий появился на свет. Итак, вместо того, чтобы глушить водку, разбивая стакан о шпору, а тарелку швырять в потолок, мальчик вырос, ничего не ведая о своем происхождении, несчастным Тасой Свиларом с голубыми глазами, глядящими, словно сквозь лед. Ну, например, ему и в голову не приходило, что шутливая история об известном московском математике, которая обошла весь Белград, относится к его родному папочке. Что же касается самого отца, Федора Алексеевича Разина, то после него в России осталась роскошная московская квартира, в которой всегда царят осенние сумерки, и упомянутая однажды в петроградскую субботу

ПОТЕШНАЯ ИСТОРИЯ О ФЕДОРЕ АЛЕКСЕЕВИЧЕ РАЗИНЕ.

В сталинские времена жил-был в Москве один видный математик. Звали его Федор Алексеевич Разин. Когда-то он был красавцем и прекрасно пел, теперь же ему было не до песен, у него был полный рот иссохших зубов, а улыбка, подобно откушенной краюшке, еле-еле держалась в левой половине челюсти.

Как это иногда бывает в жизни, поражения его врагов в области математики были использованы другими коллегами; собственные же его поражения обернули в свою пользу его друзья. Бог знает, с каких времен в университете, все еще крепкий, хотя и одной ногой шагнувший в старость, он любил говаривать: «Теперь каждому сопляку, изволите ли видеть, пятьдесят лет!» До крайности нескладный в жизненных делах, отец нашего Атанаса Свиlara был явно не от мира сего и до такой степени погружен в математику, что по всей Москве ходили изречения профессора Разина, вроде следующего: «Хорошее вино должно оставлять во рту терпкий вкус математической ошибки».

Так вот, в одно прекрасное утро Федора Алексеевича Разина посетил в его кабинете совершенно не знакомый ему человек. В руках у него была колода карт из тех, что делаются по изображениям святых на иконах. Он разложил их по столу Разина, причем первым вышел Николай угодник; потом бросил святую Параскеву Пятницу, святого Илью Громовержца и остановился на Святом Духе. Затем посетитель, человек совсем молодой, сообщил, как бы мимоходом, что огромный международный авторитет профессора налагает большие обязанности на всех, в том числе и на самого Федора Алексеевича. И без малейших обиняков предложил Разину вступить в Коммунистическую партию. Собравши одним движением со стола все карты, кроме святого Николая, он заключил, придвинувшись к Федору Алексеевичу вплотную:

— Любое дело должно отлежаться. Если за ночь оно подойдет на дрожжах, как тесто, значит, оно поспело. Твое дело созрело, и его надо печь. Возможен широкий международный отклик...

Профессор отнекивался, что, мол, он не разбирается в таких вещах, да и немолод уже, что все его время поглощает научная работа на кафедре, но все было впустую. Гость громко отхаркался, хотел было плюнуть посреди кабинета, передумал, проглотил, но потом не выдержал и все-таки размазал ногой по полу свой несостоявшийся плевок.

— Мы тебе это припомним, — добавил он, — мы ничье время не убиваем. У нас и так хватает чего убивать. — Он забрал Николая угодника и вышел. Федора Алексеевича вступили в партию, и вскоре он получил приглашение на свое первое собрание.

За ним зашел факультетский швейцар, маленького роста человечек, у которого вечно слезился левый глаз, ровесник профессора и, можно сказать, при-

ятель. Они вошли в длинный коридор, заполненный стульями и табачным дымом, таким густым, что его можно было расчесывать. Они уселись, и собрание началось. Профессор, чья методичность и организованность в работе вошли в поговорку, сразу же принялся записывать каждое слово. Он закидывал ногу на ногу и записывал, вертя кончиком ботинка. Так же он вел себя и на двух последующих собраниях, а на третьем попросил слова. Поняв за истекшее время, что именно ожидается в данный момент от организации, к которой он с недавних пор принадлежит, он дома разработал систему необходимых мер, которые следовало бы применить, чтобы достичь желаемого результата. Как математик он знал, что в жизни за каждый день красоты надо платить днем уродства. Все свои выкладки он перенес в математические формулы, диктовавшие определенное решение путем неумолимой логики цифр.

По дороге на собрание он купил себе пирожок, ибо на работе сильно проголодался, засунул его в карман и направился в знакомый коридор.

Разумеется, он уже успел понять, что инвентарь светлого будущего в сущности переброшен из подвалов прошлого: тяжеленные тюки давно забытого, истлевшего и гнилого старья были доставлены на новые, еще необжитые места. И он сказал об этом на собрании своим неисторченным языком цифр, подчеркнув, что то, чего требуют товарищ А из комитета и уважаемый товарищ В из обслуживающего персонала, не может в результате принести С (как они того ожидают), но принесет У, и в соответствии с этим, чтобы получить желаемое С, необходимо и логично было бы изменить как раз то, что они... В общем, тот, кто хочет изменить мир, должен быть хуже этого мира, иначе ничего не выйдет.

На этом месте, посреди незаконченной фразы, его прервал чей-то робкий голос из первого ряда:

— Извините, товарищ профессор, можно у вас попросить кусочек пирожка? — Кто-то соблазнился притягательным ароматом пирога с луком, исходившим из профессорского кармана.

Разин слегка запнулся, вытащил из кармана пирог и передал его швейцару (ибо это он попросил пирожка), но впечатление от его выступления было уже нарушено. И пока профессор через пень-колоду склеивал конец своей речи, чья-то рука настойчиво потянула его за полу пиджака и заставила сесть. Это снова оказался швейцар.

— У вас есть деньги? — спросил он шепотом, как только профессор опустил-ся на стул рядом с ним.

— Что-что?!

— Федор Алексеевич, есть у вас с собой деньги?

— Есть немного... а вам зачем?

— Ни о чем не спрашивайте. Возьмите-ка, только так, чтобы никто не заметил... Здесь тридцать рублей. Слушайте меня внимательно. Говорю ради вашей же пользы. Не вздумайте отсюда идти домой. Только не домой. Домой вам вообще больше нельзя. Ни за что! Никогда. Езжайте прямо на Рижский вокзал или еще на какой другой и берите билет на первый уходящий поезд. На какой угодно. Не выходите, пока не доедете до конечной станции. Чем дальше проедете, тем лучше. Там можете сойти. Никому не говорите, кто вы есть. А потом уж как придется... Небо вас укроет, а ветер завтрак принесет... Уходите сейчас же...

Федор Алексеевич, который не много понимал в земных делах, накиннул пальто, подбитое ватой, и последовал совету приятеля.

На третий день пути, совсем оголодав, засмотревшись на утренний пейзаж, точно вином нарисованный на стекле вагонного окна, он сунул руку в карман и нащупал там пирог. Тот самый, который швейцар у него попросил и который незаметно опять засунул ему в карман. Пирожок пришелся как нельзя впору, что лысому шапка, но не успел он в него вцепиться зубами, как раздался свисток кондуктора, вырвавший у него изо рта недоеденный кусок, и все стали выходить. Это была конечная станция. «Русскому человеку только в дороге хорошо», — со страхом подумал Федор Алексеевич. Он вышел из вагона и нырнул в бесконечную тишину, которая постепенно нарастала с каждой верстой, отдалявшей его от Москвы. Он ступал по снегу, глубокому, как тишина, и смотрел на домики, под-

вешенные за трубы на своих дымах, приколоченных к невидимому небу, точно колокола на колокольне. Сипло скулил привязанный пес. Он топтался на ветке дерева, словно птица, потому что короткая цепь не позволяла ему сделать себе логово в снегу.

Разин огляделся вокруг. Идти было некуда, делать нечего. Все было занесено снегом, а в то время в России гостиниц не было даже и в Москве, а здесь и по-давно. Здесь через пять минут от человека остаются только зябнущие уши. Он заметил у какой-то двери прислоненную к ней лопату и, ни о чем не думая, просто чтобы согреться, стал разгребать снег.

Становилось все морознее, так что и губы страшно было облизнуть, но поскольку, как уже было сказано, Федор Алексеевич был силен, а системы в работе ему было не занимать, дело продвигалось как нельзя лучше. Он не только разгреб полутораметровые сугробы, проделав дорожку к дому, от которого начал, но и принялся теперь под прямым углом к ней очищать проезжую часть. Это занятие привело его к заключению, что вечность и бесконечность несимметричны друг другу, и он забавлялся, пытаясь проверить сию мысль математическим путем. По дороге он смел наносы с какой-то витрины и заметил едва заметное объявление. Дыша в стекло, он прочитал:

ФОТОГРАФИРОВАНИЕ ДУШИ В ТРЕХ ИЗМЕРЕНИЯХ.

РЕНТГЕНОСКОПИЯ СНОВ.

Заказы принимаются за семь дней. Проводится генеральная репетиция. Пользуются спросом сны всех форматов, как цветные, так и черно-белые. Особый гонорар выплачивается за успешно снятые воспоминания, пригодные для воспроизведения. Звукзаписи детских снов будут приобретаться по особо льготным ценам и распространяться среди коллекционеров.

Разин заволновался. Он почувствовал, будто невидимая рука стерла у него с лица брови, усы и уши, и уже взялся было за ручку двери, но тут заметил под невероятным объявлением приписку карандашом:

Мастерская по меньшей мере закрыта.

Разин улыбнулся с облегчением, но от этого мороз ворвался в горло, и ему пришлось срочно продолжить работу. К полудню он добрался до центральной площади, и тут его заметили.

Жители городка сразу сообразили, что перед ними — лучший чистильщик снега с тех пор, как снег начал выпадать в этих краях, и отвели его прямехонько в городскую команду по поддержанию чистоты на улицах. «Взялся неведомо откуда какой-то неизвестный, — сказали они, — но с лопатой обращаться умеет». Ему дали чай, сахар и чайную ложечку, правда, дырявую и с ручкой, вывернутой так, точно кто-то, обладающий огромной силой, попытался выжать из этой несчастной ложки слезу, чай или каплю масла. Разин пригрелся у печки и немало изумился, хлебнувши чая. Это был знаменитый белый чай, тот самый, что в царской России продавался по десяти рублей серебром за фунт*. Если этим чаем поили собак, они становились такими свирепыми, что всех и каждого раздирали в клочья.

Но не успел он расспросить, откуда у них здесь такой чай, как снова оказался перед сугробом, на этот раз в черневшей на белом снегу группе городских чистильщиков. Он прислушался к тишине, с которой отныне было покончено, и с еще большим усердием накинулся на снег, ибо работа сулила ему и ночлег вместе с прочими дворниками.

Так началась его новая жизнь. Он стирал носки снегом, пил чай из снежной воды и чистил снег, а в конце зимы был провозглашен лучшим дворником в своей смене. Просыпаясь, Разин видел отпечаток своего уха на служившем ему вместо изголовья полотенце, промокшем от слюны и слез, а проснувшись, начинал вновь и вновь, как бешеный, чистить снег. На следующую зиму о нем уже писали местные газеты, а через два года в центральной «Правде» появилась статья о его трудовых подвигах. Профессор стал лучшим снегочистильщиком в области и одним из лучших в стране. Иногда по ночам ему снились то двенад-

* Имеется в виду водка, которую иносказательно называли «белым чаем» (прим. перев.).

цать кораблей под именами двенадцати апостолов, то распятие и балдахин, влекомые тринадцатью всадниками, которые пытались на скаку догнать четырнадцатого. Когда же этот четырнадцатый оказался в тени распятия, они остановились.

— Кто ты? — спросили его, не слезая с коней, ученики Иисуса Христа, собравшись вокруг распятия. — Я — четырнадцатый ученик, — ответил им неизвестный из-под балдахина, — и Разин проснулся. Все лицо у него было обсыпано какими-то песчинками. Он стер их ладонью и заключил, что это были высохшие слезы из его снов. Во сне он плакал о своем сыне, которого никогда не видел, хотя знал, что он у него есть. Очевидно, его сны и слезы опаздывали, они все еще приходили из его прежней жизни. Потом он встал и хотел взяться за лопату.

Но в то утро лопату ему не дали. Его попросили задержаться в бараке. Лучшего дворника области хотел видеть некий молодой человек. Кончики его усов, как и краешки его бровей, скрывались под шарфом, которым была обмотана его голова. Взгляд его упал, как облачко пыли, на лицо Федора Алексеевича, молодой человек стащил vareжку с одной руки, и в ней появилась зажженная папироса. Он зачихнул ее в рот, достал большой кусок сала и ножик, заточенный в расчете на левшу. Левою рукою он ловко отрезал ломоть, протянул его Федору Алексеевичу и сразу перешел к сути дела. Слава лучшего снегочистильщика, сопутствующая Алексею Федоровичу (под этим именем Разин объявился по своему новому местопребыванию, и так его здесь звали), ко многому обязывает всех, в том числе и самого Алексея Федоровича. Поэтому он должен вступить в коммунистическую партию. Причем незамедлительно. Это имело бы весьма положительный отклик также и за пределами области, так сказать, в широком аспекте...

Услышав это предложение, Разин похолодел. Мозг его заработал с бешеной скоростью, но, услышав кашель ветра в окошке, он прекратил свои размышления и произнес:

— Дорогой товарищ, я ведь неграмотный. Разве можно таких принимать в партию?

— Ничего, Алексей Федорович, ничего. Таких, как ты, у нас много. Наша Наталья Филипповна Скаргина показывает им буквы, ведет, значит, ликбез, вот мы вас туда и определим, к прочим неграмотным. Как научишься грамоте, начнешь и на собрания приходить, а до тех пор примерно с месяц мы тебя беспокоить не будем.

Федор Алексеевич направился к Наталье Филипповне. В красиво срубленном деревянном доме в прихожей стояла куча лопат и двадцать четыре пары валенок. Он тоже разулся и вошел в комнату с чрезвычайно низким потолком, заставленную партами. За ними сидели двадцать четыре посетителя ликбеза, ведомого Натальей Филипповной. От их мокрой одежды шел пар, они покусывали вставочки своих ручек и выводили под диктовку Скаргиной букву «и»: «Ведем тонкую косую линию, а затем прямую с нажимом...» В углу подпрыгивала топившаяся печка-буржуйка, проливая воду из кипевшего железного чайника. Наталья Филипповна восседала за столом. Увидев новичка, который спиной обтирал потолок, она радостно обратилась к нему со следующим приветствием:

— Нагинай, нагинай головку-то! Так и нужно, когда с учительшей здороваться! Затем и потолок пониже сделан, чтобы вас прижимать, чтоб вы тут не форсали!

Она усадила Федора Алексеевича за парту и дала ему стакан чаю, причем выяснилось, что Наталья Филипповна Скаргина не сидела, а стояла за своим столом, ибо она была такого росточка, что, когда учительша сидела, можно было подумать, что она стоит. Затем Наталья Филипповна повернулась к доске, достала из уха кусочек мела и перешла к уроку арифметики.

— Один прибавить один, — писала и громко складывала вслух Наталья Филипповна, — или один плюс один будет два! И в понедельник, и во вторник — всегда. И вчера было два, и будет во веки веков два и только два.

В комнате было жарко, печь начала скакать, точно с цепи сорвалась, и все громко повторяли вслух: «Один плюс один будет два».

Федор Алексеевич и сам взял карандаш, чтобы переписать написанное на доске. Но не выдержал. Он вдруг осознал, что с тех пор, как взялся за лопату и начал чистить снег, он перестал потеть, и все, что не испарилось за это время, должно было из него куда-то выйти. Итак, впервые за последнее время он не выдержал. Он решительно встал, ударившись головой о потолок, вышел к доске и, к изумлению всех присутствующих, прежним своим уверенным голосом обратился к онемевшей Наталье Филипповне.

— Да ведь это, дорогая Наталья Филипповна, математика XIX века. Позвольте вам заметить! Сегодняшняя, современная математика придерживается совсем иных концепций. Ей известно, что один плюс один отнюдь не всегда будет два. Дайте-ка мне на минутку мел, и я вам это докажу.

И Федор Алексеевич начал со своей врожденной быстротой писать на доске цифры. Уравнение выстраивалось за уравнением, в аудитории стояла мертвая тишина, профессор впервые за последние несколько лет занялся своим делом; правда, поневоле согнувшись, он не мог как следует видеть то, что писал, мел как-то странно скрипел, и неожиданно, совершенно против ожиданий Федора Алексеевича, результат вдруг получился опять $1 + 1 = 2$.

— Минуточку! — воскликнул Федор Алексеевич. — Тут что-то не так! Секунду, секунду, сейчас мы увидим, где вкралась погрешность!

Однако в голове у него вертелась какая-то бессмыслица: «Все проигранные карточные партии составляют одно целое». Из-за этого он не мог считать. Мысли гремели в нем, и грохот мыслей заглушал все остальное. Но беспримерный опыт выручил профессора. Он понял, где найдет ошибку, и рука его, постукивая мелком, полетела по рядам написанных цифр, с которых уже начала осыпаться белая пыль.

В ту же минуту весь класс, все двадцать четыре дворника, все, кроме учительницы Натальи Филипповны Скаргиной, стали громко подсказывать ему решение:

— Постоянная Планка! Постоянная Планка!

Corporatae illustrae

«ABC
ENGINEERING & PHARMACEUTICALS»
(Californiae)

FUNDATORI
ILLUSTRISSIMO
DOTINO

ARCHITECTAE ATHANASIO RAZIN

ob
decimum vitae lustrum
hic tomus
a sodalibus amicisque
in observandi signum
dedicatur

ОСНОВАТЕЛЮ
ИЗВЕСТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

«ABC
ENGINEERING & PHARMACEUTICALS»
(Калифорния)

достойнейшему Господину
АРХИТЕКТОРУ АФАНАСИЮ РАЗИНУ

к юбилею
его жизни

сей ПАМЯТНЫЙ АЛЬБОМ
в знак дружбы и уважения
посвящается.

1 по вертикали

Подготавливая сей Памятный Альбом, посвященный нашему другу, школьному товарищу и благодетелю, архитектору Афанасию Федоровичу Разину (он же Атанас Свилар), — начал он с того, что писал свое имя языком на спине красивейшей женщины нашего поколения, ныне же вписал сие имя золотыми буквами в звездные книги деяний нашего столетия, ибо стал он великим основателем новой математики, человеком, чья ночь стоит десяти дней, — редколлегия, разумеется, помнила о том, что абсолютной истины о его жизни и трудах мы никогда не узнаем. Ибо, как говаривал сам Разин, истина не выносит перемены континентов, а точность наших уравнений вечно грешит опозданиями. Греческое «нет» вовсе не идентично по значению еврейскому «нет».

Следует сразу оговориться, что здесь мы не будем касаться профессиональной стороны деятельности нашего Афанасия Федоровича Разина, архитектора и основателя «ABC Engineering & Pharmaceuticals — California». Достаточно упомянуть, что его сны быстрее снов других людей, что скорость их больше лошадиной и что его телефоны ржут, как целая конюшня жеребцов, сообщающих свои сны. Интересующихся этой стороной жизни архитектора Разина мы отсылаем к источникам куда более компетентным и полным, чем такие альбомы, как наш, хотя альбомы сии и составляются от всей души в честь тех, кому, как говорится, целый джаз-банд может играть с той минуты, как подобная особа начнет умываться поутру. Достаточно сведений о делах его и его треста можно почерпнуть из монографии «ABC Engineering & Pharmaceuticals (Ohio, 1981) и часового документального фильма «Colours in the World Without» («Цвет с точки зрения черно-белой техники»), снятого в 1980 г. в Калифорнии.

Когда и каким образом архитектор Разин сколотил состояние, которого хватило бы на несколько поколений, — никому, кроме него самого, не известно. А здесь, среди его школьных товарищей, ходит только легенда о том, как в первую свою заграничную поездку он купил стул. Обыкновенный стул из деревянных и металлических частей. Это был садовый стульчик, в каком-то не то венском, не то швейцарском парке — один из тех, что берут на прокат за две марки в час любители посидеть в холодке в тени каштанов. Итак, он приобрел один из этих стульев, привязанный цепью к дереву, но приобрел не на день и не на два, а навсегда. Затем он купил в книжном магазине, расположенном то ли на парижском бульваре Сен-Жермен, то ли где-то в Цюрихе, — магазине, куда он любил время от времени заходить и болтать с букинистом, листая книги, — итак, он попросил продать ему один из стульев, стоявших там для удобства посетителей. Он сразу успокоил книгопродавца, сказавши, что в его отсутствие на стул может садиться кто угодно, но на случай своих посещений он хочет иметь в магазине свой собственный стул. И он его получил.

Потом он приобрел плетеный соломенный стул в кафе отеля «Грабен» в Вене, и тут его одолела настоящая страсть к всевозможным сиденьям. По ночам он нервно скреб подбородок, а днем покупал сиденья где попало — он платил за откидные стулья в кинотеатрах Парижа, купил целый диванчик в поезде Стокгольм — Мюнхен, он оплачивал выгесанные из камня скамейки на кладбищах от *Campro santo di Genova* до Мехико. В Лондоне он купил два кресла во втором

ряду оперы Ковент Гарден, а также две скамьи в лондонском соборе святого Павла. Приобрел месть Разин и обшитую бархатом скамеечку в Лувре, постоянное место в самолете, совершающем рейсы между Парижем и Нью-Йорком, складной полотняный стульчик на палубе парохода, курсирующего между Александрией и Хайфой. И, наконец, в довершение всего, архитектором Разиным было приобретено за баснословную сумму место в итальянском парламенте, но отнюдь не для того, чтобы на нем сидеть или, боже упаси, голосовать. Он купил это место ради того, чтобы в печатный каталог сидений, кресел, стульев и скамеек, находящихся во владении г-на арх. Разина на широчайших просторах от бирманских храмов до Собора святого Петра в Риме, было внесено и это парламентское кресло.

К каждому из купленных сидений, на которые он, скорее всего, так никогда и не присел, велел он прикрепить табличку со своим именем и фамилией. Каким образом благоприобретенные сиденья, стулья и скамейки привели Разина к богатству и почету — об этом легенда умалчивает. Легенда говорит только, что работал он столь упорно, что во время обеда, пока он обдумывал свои будущие планы, очки у него не раз падали с носа в баранью похлебку со шпинатом. Итак, об этом, нам не известном Разине, и о его делах здесь речи не будет.

Здесь, в вышеупомянутом «Альбоме», центром внимания будет происхождение, жизнь и характер Разина — человека, который различал сны средиземноморского типа от снов типа китайского; как мы уже сказали, архитектора, который однажды заявил, что разница между сербским и хорватским языком состоит в том, что один и тот же язык в сербском варианте ретуширован в дорическом стиле, а хорватский — в духе разноцветной готики, и, наконец, но не в последнюю очередь, речь пойдет о человеке, который владел шестью различными приемами игры в кости. Мы коснемся и судьбы его родителей: отца, известного московского математика, человека, убежденного в том, что XX век никогда не кончится, и матери Анны, урожденной Николич, в замужестве Разиной, во втором браке Свилар; она-то и внушила сыну мысль, что жизнь не может быть лекарством от смерти, хотя смерть — безусловно лекарство от жизни. Эхо ее дивного голоса разносилось по трем континентам, а ее ресницы, словно пеплом присыпанные, невозможно было забыть. Усмешка ее, прокалывавшая щеки, сопровождала архитектора Разина на первых порах, когда счастье еще улыбалось ему из-за закрытой двери.

Ибо, уже добившись успеха и положения в обществе, архитектор Разин продолжал ощущать нечто, похожее на сопротивление материала, инерцию судьбы или перегрев времени. Он сам рассказывает, как в первые дни по прибытии в белый свет дверные звонки отказывались звонить под его пальцами, рубашки же на нем перестали пачкаться, но зато ужасно мялись; он был так силен, что мог разорвать ремень, напрягши живот, но зато ему казалось, что птицы блеют, как козы, а чернила упорно засыхали в перьях, когда надо было подписать очередной договор с обозначенной в нем баснословной суммой. Тогда-то он и понял, что человек стареет не постепенно, в соответствии с ходом часовых стрелок, но порой за три дня может состариться больше, чем за год. Все окружавшее его вело себя по-прежнему: трубки его по-прежнему не тянули; небо летело над ним, испещренное птицами, как спинка форели пятнами; кровать под ним опрокидывалась на бок, как утлый челн, убаюкивая его; по-прежнему, как все несчастливые люди, он поздравлял друзей с новым годом в конце предшествующего, чтобы хоть к ним удача спиной не повернулась, как к нему; а между тем храмовый собор его деяний был уже возведен — высокий, прекрасный, пуп земли и ключ к ней, могучий вепрь, у которого на спине колышутся травы; Афанасий Разин уже выигрывал гонку, а время вокруг него продолжало стоять, как порой останавливается в тумане даже время императоров. Любили его только Витача и деньги.

Но любили так сильно, как никого другого, с тех пор, как был распят Иисус Христос.

А затем, полегоньку, вслед за госпожой Витачей и за деньгами, все остальное тоже потянулось к нему и осталось при нем, включая многочисленных дру-

зей и коллег по профессии, чьи воспоминания толпятся на этих страницах, подобно детям Легенды, ибо Легенда, как мы уже говорили, остается недосыгаемой.

Далее, как полагается, особое внимание будет уделено тем редким, к сожалению, страницам, которые соизволил написать о себе сам юбиляр, друг наш Афанасий Разин. Эти страницы исписаны пальцами, скрюченными так, точно архитектор собирался крестить бумагу, а не писать на ней, и входят они обычно в знаменитые его записные книжки, прославленные прекрасными рисунками, которые он делал на обложках. В эти свои любимые записные книжки большого формата он годами вносил заметки, важные не для его дел, но исключительно для его частной жизни, начиная с кроссвордов, вырезанных из всех газет Европы и Америки, и кончая архитектурными проектами, о которых речь пойдет впереди.

Сиих записок самого Афанасия Федоровича сохранилось не так уж много, но все сохранившееся внесено в наш Альбом. Во-первых, его дневник, относящийся к поре встреч нашего героя в белградской опере с юной Витачей Милут, которой потом суждено было стать госпожой Разиной. В те времена она цедила слова, делая между ними значительные промежутки; говоря, то и дело останавливалась, точно брови выщипывала волосок за волоском. Во-вторых, сюда вошли таинственные тексты о трех сестрах — Ольге, Азре и Цецилии. Сии тексты переписаны рукою Разина, но с первых же строк заметно, что сочинял их не он. Они записаны, правда, якобы со слов самого Афанасия Федоровича неизвестным лицом в те поры, когда Разин был уже директором «ABC Engineering & Pharmaceuticals». Хотя это лжесвидетельство, с нашей точки зрения, крайне недостоверно, мы предлагаем его вниманию читателя по двум причинам, из которых каждая сама по себе достаточна, чтобы оправдать его появление. Во-первых, все три рассказа о сестрах внесены самим Разиным в его записную книжку. Во-вторых, за недостатком данных о том, каким же образом осуществился головокружительный взлет карьеры нашего героя, тексты о трех сестрах удачно заполняют образовавшуюся пустоту.

Итак, кое-кто еще помнит, как наш Афанасий когда-то хлебал простецкий суп с тертым сыром, как он писал свои «вирши, прочитанные на подножке трамвая перед тем, как соскочить на площади Теразие». Таким людям просто невозможно представить себе происшедшую с ним метаморфозу. Посетитель предвоенных белградских киношек, где к фильму, исполненному по преимуществу в желтом колере, подавался телячий шашлык на маленьком железном вертеле и пиво с яйцами, окрашенными луковой кожурой, стал обладателем двух процентов мирового дохода от применения ядерной энергии в мирных целях.

Эту загадку могли бы частично прояснить семейные фотографии Разина и Витачи Милут. Однако, иллюстративный материал, уже собранный нами и подготовленный к публикации в Альбоме, был изъят по настоянию самого Афанасия Федоровича. Зато редакторам Альбома были любезнейше предоставлены канцелярией г-на Разина некоторые другие документы из семейного архива, а также копии трех писем, посланных неизвестным шпионом некоего неопознанного дона Донино Азереду своему патрону. Эти письма относятся непосредственно к жизни г-на Разина с г-жой Витачей. Включены в Альбом и упоминавшиеся ранее мемуары госпожи Свилар, матери нашего друга и благодетеля, написанные по заказу какого-то журналиста. Неизвестно, однако, были они когда-либо опубликованы или нет.

Здесь не лишне будет заметить, что, оказавшись в начале своего пути в Вене, не такой уж молодой архитектор Разин прежде всего совершил три поступка. Во-первых, он отбросил и забыл свою прежнюю фамилию Свилар, под которой получил диплом в Белграде и женился в первый раз. Во-вторых, поменял местами день и ночь и впервые в жизни стал работать днем, отказавшись от прежней своей привычки работать по ночам. И, в-третьих, поставил перед собой цель: полюбить все, чего он до сих пор не любил! Тем самым он перешел, как он сам утверждает, на сторону своих врагов, и дела его сразу пошли на лад.

В первые же дни своих странствий г-н Разин нанес визит другому видному лицу из числа наших соплеменников, оказавшихся в Вене. Представляется, что именно эта встреча стала источником его деловых удач. Архитектор Обрен Опсеница был известен под именем «господина, которому снятся запахи». Квартира его располагалась поблизости от Бургтеатра, у ног его, точно живой зверь, покоилась рысья шкура, превращенная в мех для раздувания огня. У Обрена Опсеницы были волосы цвета стекла, на концах загибающиеся, словно удочки, а лицо лишено выражения, как коровья лепешка. При этом он был известен как человек настолько ловкий, что может языком поменять местами косточки двух вишен, оказавшихся у него во рту. Он ел ножом, пренебрегая вилкой, и завязывал галстук двойным узлом. Разина он принял чрезвычайно любезно.

Оба они улыбнулись, причем у Опсеницы закрылись сразу оба глаза, и уселись. Хозяин дома имел привычку оставлять где попало в своих комнатах рюмки из цветного стекла и горного хрусталя, часто недопитые, и вечно облизывал ногти на руках. Он начал с того, что готов предоставить своему гостю наличные средства для осуществления архитектурных замыслов, которые Свиляр (теперь уже Разин) выдвигал еще в молодости на их общей родине, но которые там не удалось осуществить, хотя оба они к этому стремились...

— Я к тебе за деньгами пришел, а не за добрыми пожеланиями, — ответил ему Разин, — что же касается твоего предложения, то лучшие известные мне образцы строительного искусства — это один сортир во Франции, одна тюрьма в Испании и одно кладбище в Италии. Стоит ли после этого быть архитектором?

И тут Афанасий Разин что-то шепнул Обрену Опсенице. Последний облизнул ногти, легонько ударил своей тростью по кончику разинского ботинка и дал деньги. Из этой-то неожиданно возобновленной дружбы, из имевшейся наличности, из их сотрудничества и вырос постепенно величественный калифорнийский трест архитектора Разина ABC Engineering & Pharmaceuticals.

5 по вертикали

Как сейчас помню: совсем молодым, когда я еще не носил фамилию Разин, которую ношу сейчас, и сам не знал, кто я такой, когда я жил бедно и ветер свистел в моих карманах, случилось мне однажды оказаться на вечеринке у знакомых. Я подпирал стенку в углу, стесняясь и своей одежды, и своего возраста, когда ко мне подошла хозяйка дома и усадила на один из тех старинных диванов, что умеют на своих шести ножках полегоньку передвигаться по комнате. Я сразу почувствовал себя словно в седле. Сидевшая рядом со мной девушка, не мигая, смотрела на меня, и ее взгляд, вначале горячий, встретившись с моим, постепенно становился холодным. Когда он совсем остыл, девушка сказала, что хочет поведать мне одну историю, приключившуюся с ней и с ее сестрой. И поведала.

— Осенью 1949 года мы с сестрой собирались в оперу. Те, чья молодость пришлась на это время, помнили тогдашний обычай в антракте выходить без пальто на площадь перед театром, а потом возвращаться в теплый зал досматривать спектакль. Так тогда любили делать, и капельдинеры разрешали входить обратно с оторванным билетом. В тот вечер давали «Богему», и у нас было три билета: для нас с сестрой и для какого-то дальнего родственника, которого нам навязала наша мама, хотя мы его не знали и даже, кажется, никогда не видели.

— Интересно хоть взглянуть, что это за тип, — заметила, выходя из дома моя сестра. Но родственник у театра не появился по причинам, которые ему известны лучше, чем нам, и мы решили продать третий билет. В то время билеты в оперу и драму пользовались большим спросом, несмотря на то, что стоили они очень дорого. Вечер был прекрасный, хотя и остывал быстро, как оставленный на столе ужин. Шумливая молодежь толпилась перед театром, протискиваясь сквозь ветер, взметающий листву и потому похожий на пятнистую далматинскую собаку. Мы заметили юношу, который посреди всей этой толчеи пил

пиво прямо из бутылки, прислонившись к тумбе с афишами оперы. Нам почему-то стало его жаль, и мы предложили ему лишний билет.

— Будете сидеть во втором ряду кресел, — уточнила сестра.

Он, подумав, что мы хотим взять с него деньги и что такое хорошее место наверняка ему не по карману, ответил довольно неприветливо:

— Ничего, я и стоя допью.

Сестра отвернулась, но я втолковала ему, что мы уступаем билет бесплатно. Он оставил недопитую бутылку на тумбе, взял из рук сестры билет, и мы вошли в театр.

Брови и усы у него блестели, словно вылизанные. Он был довольно мил: чем-то надушен, а его нос, сам по себе красивый, чуть ли не переходил в подбородок, как иногда завтрак, случается, переходит в обед. Новый знакомец объявил нам, что не любит театра, так же, как, впрочем, театр его тоже недолюбливает. Опера, сказал он, представляется ему чем-то вроде разжигания огня с помощью труб, флейт и ударных инструментов, или раздувания огня прекрасных мелодий божественными голосами, хотя, с другой стороны, этот огонь, как и всякий другой, можно разжечь хоть кизяком.

Во время первого действия «Богемы» он тихо, но правильно и очень красиво насвистывал арии из «Тоски». Выйдя в антракте прогуляться перед театром, мы снова увидели его с бутылкой пива. Однако, к началу второго акта он не появился. Рядом с нами оказалась какая-то старая дама с пучком, начиненным перепелиными яйцами (вероятно, такая мода была в дни ее молодости). Это означало, что юноша совершил выгодную сделку. Получив от нас билет, за который он не заплатил ни динара, он уступил старушке оставшиеся две трети спектакля и на вырученные деньги отправился пить пиво. Так мы подумали, но мы, увы, ошиблись. В третьем акте рядом с нами появилась девочка лет десяти, с кривыми зубами и перевязанной рукой. Она принесла с собой в театр какую-то книгу и перелистывала ее в полутьме зрительного зала, едва уделяя внимание происходившему на сцене. По окончании спектакля ее встречали у выхода какой-то мужчина и весьма нарядная дама. Оказалось, что юноша пристроил и третий акт оперы. Выходя из театра, мы увидели, как он хлещет очередную бутылку пива, купленную на выручку от продажи нашего билета.

— Великолепная история, — заметил я незнакомке, — спасибо, что вы мне ее рассказали.

— Спасибо вам, что эта история произошла, — ответила она загадочно.

— Не понимаю, — отвечал я.

— Как?! Разве вы не узнали эту историю? — спросила она тогда.

— Н-нет, — пробормотал я нерешительно, чувствуя, что в моей памяти что-то начинает стремительно прорастать, как уши на школьной скамье. Но ничего не вспомнилось.

— Да ведь юноша, который тогда продал наш билет, — это были вы!

— Я?! — я искреннее изумился. Изумление мое было тем большим, что я действительно не мог припомнить ничего подобного, но в то же время я знал, и знал наверняка, что окаянная история не выдумана, что незнакомая мне девушка говорит правду. И я решился спросить:

— Откуда вам все это так точно известно? Вы ничего не перепутали?

— Ну, если я и перепутала, то вот вам моя сестра, которая отдала вам билет.

— А где сейчас ваша сестра? — спросил я, признаться, весьма глупо, просто, чтобы что-нибудь сказать.

— Здесь. Она сидит рядом с вами, по другую сторону. Собственно, сейчас мы сидим, как тогда в опере...

Тогда я наконец взглянул на свою соседку. У нее был профиль гречанки, который вдруг мне напомнил нарисованный рукой Пушкина профиль Амалии Ризнич на полях рукописи «Евгения Онегина». «Вылитая Амалия Ризнич, — подумал я. — Красивая брюнетка с губами, чей поцелуй называется «две зрелые вишни, да еще сладкая гусеница впридачу». Она безмятежно омывалась моим взглядом, а шестиногий диванчик-канapé уносил нас с ней куда-то сквозь теплый продыmlенный воздух гостиной. Я был уверен, что никогда раньше ее не

видел, но в глубине души чувствовал, что она-то меня знает. Ибо такова судьба дурного впечатления. Если вам случится на кого-то произвести дурное впечатление, вы никогда и ни за что не узнаете этого человека, и вообще весь этот случай предадите забвению со скоростью ловкой кражи.

— Ты меня видел, голубчик, — произнесла она, — очень даже прекрасно видел. Мы с тобой познакомились давным-давно. Задолго до того выхода в оперу. Мне было семь лет, и в руках у меня была кукла.

— И что же произошло?

— Ты, голубчик, меня спросил: наверное, трудно в семь лет родить ребенка?

— Что подделаешь, — начал я выкручиваться теперь уже перед второй сестрой, — человек похож на луковицу. Под каждой шкуркой оказывается следующая; вы ее снимаете и ожидаете увидеть бог знает что. Когда же добираетесь до конца, убеждаетесь, что в сердцевине ничего нет. Совсем ничего.

Не сводя с меня своих зеленых глаз, словно плававших в дожде, она сказала глубокоим, хрипловатым голосом:

— Ничего?! Вы говорите, ничего! Лук и вода. А слезы? Как же пролитые слезы? О них-то вы и забыли, господин мой.

Я понял, что надо как-то выпутываться. Никакие ссылки на Фрейда меня уже не спасут. И тут я сделал безошибочный ход и привел дело к решительному концу.

— А что же с тем родственником, — или кем он вам приходится — с тем, у кого ветер в голове? Ну, с тем, который в театр не явился? — спросил я как бы мимоходом. Почему он не явился?

— Явился, явился, — отвечала зеленоглазая очаровательница, — еще как явился!

— И что с ним произошло?

— Как что произошло?! Это были вы! Ведь вы — Атанас Свиляр, не так ли? Тогда мы, конечно, вас не могли узнать. Да и вы не знали, что две девушки, с которыми вы столкнулись в толпе, и есть ваши родственницы Вида и Витача Милут...

— А как поживает ваша матушка? — я попытался перевести разговор на семейные темы.

— Нашей мамы давно уже нет. Ее не было в живых уже тогда, во времена нашего выхода в оперу. Мы на нее сослались, чтобы расцветить рассказ. И вообще, вы нам вовсе не родственник...

Поскольку я не был их родственником, я стал мужем. В некотором роде, им обеим.

3 по вертикали

Сколько тетрадей с такими записями могло быть у архитектора Афанасия Разина, точно никто не знает. До нас дошли только три, но известно, что было их больше. Ибо, подобно тому, как некоторые люди вынуждены все время перемещаться в пространстве, ибо место их не удерживает, так иногда архитектор Разин не находил себя во времени, и в такие часы он погружался в свои записи. На обложке каждой тетради он нарисовал по пейзажу, и эти его работы на первый взгляд напоминали акварели, но мало-мальски внимательный наблюдатель вскоре установил бы, что это не акварель. Тетради с записями были большого формата, и на обложках могли при необходимости поместиться и архитектурные планы, и другие данные о различных постройках, которые привлекли внимание Разина. И вообще, в этих разинских тетрадках можно было найти много всякой всячины.

Например, с обратной стороны обложки одной из упомянутых тетрадей находился следующий список фамилий: братья Баташовы, Шемарин, Маликов, Тейле, Ваникин и Ломов. Судя по первой фамилии — братьев Ивана, Василия и Александра Баташовых, речь шла о владельцах известнейших заводов, производивших самовары в Туле и в других городах России. За списком следовала за-

метка о тайнах изготовления дорожных самоваров и об особом «языке самоваров», который упоминают в своих произведениях такие авторы, как Вяземский и Салтыков-Щедрин.

На следующей странице были вписаны от руки выдержки из книг, где речь идет о чае. Выписки из китайских и японских справочников, из восточной литературы и, наконец, из Гоголя, Достоевского и других писателей. Цитата из Пушкина, например, гласила:

Смеркалось; на столе, блистая,
Шипел вечерний самовар,
Китайский чайник нагревая;
Под ним клубился легкий пар.

Вслед за пушкинскими стихами был вписан текст, относительно которого Разин полагал, что его составил буддийский монах Даруму, тот самый, из чьей ресницы пророс первый чайный лист:

«Дни наши возникают таким образом, что наш первый день, подобно яйцу, из которого должен вылупиться цыпленок, несет в себе, питает и наконец рождает тридцатый день нашей жизни. Второй день зачинает и приносит следующий, тридцать первый день и так далее, пока из последнего яйца не вылупится мертвый цыпленок.

И точно так же, как чай составляет мысль фарфоровой чаши, из которой мы его пьем, наш тридцатый день есть мысль нашего первого дня, из которого он рождается...»

На четвертой и пятой страницах Разин записал первую из притч о трех сестрах — рассказ об Ольге — а вслед за ним перенес какой-то кроссворд из французской газеты.

Назначение этих тетрадей, несмотря на то, что нам до мельчайших подробностей известно содержание всех трех, все-таки до конца не ясно. Сам Разин в шутку говорил, что в них перемешаны эпические предметы его ненависти с лирическими, что он их заполнял в плоской тишине вечеров, волоча за собой свою нью-йоркскую тень, или в бесплодные утренние часы, проснувшись от холода во рту и обнаружив, что держит в зубах, точно пойманную дичь, свою вчерашнюю усмешку.

И все-таки можно сказать, что все эти тетради или же крупноформатные записные книжки отличала одна общая черта. Архитектор Разин заносил в них, проявляя поистине недюжинный интерес, данные обо всех местах пребывания, резиденциях, домах и летних дворцах, в которых когда-либо жил, работал или хотя бы ненадолго останавливался маршал Иосип Броз Тито, президент Социалистической Федеративной Республики Югославии, долголетний генеральный секретарь Коммунистической партии Югославии, член руководства Коммунистического интернационала, как записал сам Разин в одной из своих тетрадей. Так вот, большую часть тетрадей заполняют планы всех этих зданий, описания подъездных путей к ним, расположение покоев и опись инвентаря. Из этого следует, что архитектор Разин, долгие годы трудясь до изнеможения, в тресте «ABC Engineering & Pharmaceuticals» продолжал тосковать по своей первоначальной профессии, вытесненной его последующими деловыми успехами.

На обложке первой из тетрадей с записями (если только она первая) имелось подтверждение именно этой направленности интересов нашего героя. На ней был изображен пейзаж — высокий берег реки, на пригорке, среди зелени, большой особняк с пристройками, а вдали, у церкви, белели разбредшиеся, как овцы на пашне, белые кладбищенские кресты. Вид этот производил совершенно неожиданное впечатление — словно перед вами картина, написанная слезами или сквозь слезы увиденная. Свет и тень на ней вели себя так, точно имели пол — они были то мужского, то женского рода...

Итак, мы приближаемся к ключевому моменту нашего Альбома. Внизу, у края рисунка, рукою архитектора Разина было написано: *Camelia sinanis*. Это был пейзаж, нарисованный чаем. Интересно припомнить, что писал его архитектор

Разин, то есть человек, из ныне живущих людей быть может лучше всех знавший краски, их историю и технологию, ибо его трест, собственно, начался с изготовления химикатов и красок и только потом распространился и на другие производства. И вот именно этот человек совершенно отказался от красок, по крайней мере в классическом значении этого слова. Архитектор пользовался, вне всякого сомнения, кисточкой из иголок ежа; воду в реке он изобразил, окуная ее в «тропанас» — темный фруктовый чай, который он смешивал с бледно-розовым апельсиновым чаем и с ярко-красным ибискусом. Виноградники нарисованы густым оттенком лилового «исопа» с ромашкой; так он добился так называемого цвета «послеполуденной зелени». Небо писалось кисточкой из телячьего уха, которая окуналась в слегка разведенный чай сорта «соучунг», собранный в мае, смешанный с быстро высушенным зеленым. Дом и постройки нарисованы чаем из лотоса, а берег написан русским чаем, тем, что подается к соленому маслу, и китайским, собранным на высоте двух тысяч метров над уровнем моря. Камни обозначены так называемым «чайным шампанским» — знаменитым чаем «дарджилинг». В правом нижнем углу пейзажа было написано: «Летняя резиденция И. Б. Тито «Плавинац» на Дунае, близ города Смедерево, к востоку от Белграда».

Затем следовали копии нескольких подробных архитектурных проектов, относящихся к разным эпохам. Рукою самого архитектора Разина, наспех и, скорее всего, с натуры, зарисован был план летнего дома, здания в стиле классицизма. К нему был приложен роскошно оформленный план того же дома, только более просторного, датированный 1897 годом, подписанный архитектором Йованом Илкичем и заверенный печатью сербской династии Обреновичей; и, наконец, план, озаглавленный «Приложение к «Плавинцу» за подписью архитектора Богдана Богдановича»^{*}.

На следующих страницах излагается подробная история летней резиденции «Плавинац». Разин сообщает, что дом на холме Плавинац близ Дуная, в нескольких километрах от Смедерево, что на пути из Белграда, сооружен в 1831 году по приказанию князя Милоша Обреновича в качестве летней резиденции сербской правящей династии. Дом окружен виноградниками и угодьями, простирающимися гектаров на пять. Вначале постройка включала только жилые комнаты и погреб, но позже была расширена по плану, заказанному королевой Наталией из той же династии Обреновичей. Далее архитектор Разин сообщает, что в 1903 году, после убийства короля Сербии Александра Обреновича, королева-мать Наталия даровала дом и угодья полковнику Антонию Орешковичу, а затем, в шестидесятые годы нашего века (не ранее 1958 г. и не позднее 1961 г.), незадолго до первой конференции неприсоединившихся стран в Белграде, резиденция была обновлена в качестве загородной виллы маршала Йосипа Броз Тито на основе проекта архитектурной достройки, расширения и укрепления дома, разработанного архитектором Богданом Богдановичем. Особняк обставлялся стильной мебелью, которую продавали в те годы старые белградские семьи. Были завезены или отреставрированы имевшиеся в доме зеркала, люстры, светильники, канделябры, настольные, напольные и каминные часы, стекло, фарфор, керамика, изделия из благородных металлов, ковры, картины, географические карты и чертежи...

Далее, приводятся некоторые статические расчеты и чертежи самого Разина, прилагается каталог драгоценных предметов обстановки, картин и мебели — очевидно, инвентарь всего, что имеется на сегодня во дворце Плавинац. Поражает подробный характер описания и перечня предметов, включая и указания на их происхождение, и, к тому же, точно определено, где что в Плавинце находится.

Затем тетрадь остается незаполненной почти до самого конца. Начиная же с внутренней стороны задней обложки, Разин начал вписывать задом наперед предания о славных красавицах из семейства своей супруги. Так мы подходим к истории героини нашей книги, Витачи Милут, которая, впрочем, приобрела из-

^{*} Богдан Богданович — известный современный югославский архитектор (прим. перев.).

вестность под другой фамилией. Как пишет сам Разин, вписывая эти строки, он макал в чернила бороду, полную прошлонедельного пота, слез и соплей. Это предание повествует о прекрасных дамах — предках Витачи Милут, ставшей потом госпожой Разин — об их любовных похождениях, о графинях Жевуской и Амалии Ризнич-младшей. Разин слышал эту легенду из уст бабушки своей жены Витачи. Поскольку семейное предание (объясняющее некоторые странные наклонности героини этой книги Витачи Милут) пойдет у нас особым приложением, мы здесь о нем больше упоминать не будем, разве что приведем изречение, хорошо известное в семействе Милут:

«Никогда еще октябрь не приходил так часто, как в этом году...»

По вертикали



Никогда еще октябрь не приходил так часто, как в этом году; не успеешь дух перевести, как снова заявляется. По меньшей мере три раза, и все раньше срока...

Так шептала по-немецки в свою севрскую чашку мадемуазель Амалия Ризнич. В их семье вот уже сто лет осенью говорили по-немецки, зимой по-польски или по-русски, весной по-гречески и только летом по-сербски, как и приличествует семейству торговцев зерном. Все прошлые и будущие времена года сливались в ее сознании в одно, похожее на самое себя, как голод на голод. Весна переходила в следующую весну, русский язык — в русский язык, зима — в зиму, и только лето, в котором мадемуазель Ризнич в данную минуту пребывала, как в тюрьме, выпадало из этого ряда для того, чтобы на мгновенье, всего лишь на мгновенье занять свое временное календарное место между весной и осенью — между греческим и немецким.

Мадемуазель Амалия Ризнич была второй представительницей своей семьи, носившей это имя и фамилию. От бабушки по материнской линии она происходила из рода графов Жевуских. Тех самых Жевуских, в XVIII веке подаривших Польше несколько выдающихся государственных деятелей и литераторов, а в XIX веке прославившихся своими красивыми и незаурядными женщинами, чьи платья и прически до сих пор выставляют в музеях*. Первая, самая старшая Жевуская, Эвелина, была замужем за неким Ганским, а потом вторично вышла за французского романиста Оноре де Бальзака**. Вторая графиня Жевуская, сестра Эвелины Ганской — де Бальзак, Каролина, вышла замуж совсем молодой в знатную семью Собаньских, но ее брак оказался неудачным. В 1825 году, гостя в Крыму, а затем в Одессе у своей младшей сестры, третьей графини Жевуской, она встретила с поэтом Адамом Мицкевичем, и он посвятил ей самые красивые свои любовные сонеты. При жизни матери Амалии-младшей его стихи еще хранились среди семейных бумаг, и когда Амалия начала переплетать свои коллекции меню, то в одну из книжек попал и сонет Мицкевича, сложенный в честь ее бабушки, так как на другой стороне листа были переписаны блюда какого-то обеда 1857 года. Третья же из графинь Жевуских (родная бабушка нашей Амалии), Паулина, в доме которой и познакомились Собаньская и влюбленный в нее польский поэт, стала второй женой негоцианта и владельца кораблей Йована Ризнича. Ризнич происходил из той семьи богатей родом из Боки Которской, что в конце XVIII века раскинула сети своей коммерции далеко на Восток и на Север и начала скупать поместья в Воеводине, в Бачке, а зиму

* Сербский писатель, ставший позднее генералом Екатерины Великой, Симеон Пишчевич, арестовал в Варшаве в 1767 году графов Жевуских, отца и сына, и отправил их в заточение, ибо они противились вмешательству России в дела Польши, которого и сам Пишчевич, впрочем, не одобрял. (Прим. автора).

** См. переписку Бальзака с графинями Жевускими, опубликованную в Париже в 1969 г. (Прим. автора).

проводить в Вене. Из тех самых Ризничей, в доме которых был заведен обычай до захода солнца пить только закрыв глаза, из тех, чьего предка, прославившегося своей красотой, любовница одаривала дукатом за каждую улыбку.

На заре XIX века одна ветвь рода Ризничей переехала из Вены в Триест, чтобы быть поближе к множющейся семейной флотилии. Поэтому в начале XIX века дед Йована все еще пребывал то в Вене, то в воеводинских поместьях, а его отец Стеван уже успел пожертвовать сербской православной общине в Триесте шитую золотом хоругвь святого Спиридона. Сам же он удобно разместился в особняке на берегу одного из каналов, где стоял его флот в пятьдесят флагов. Домов у него тоже было пятьдесят.

— Ваша светлость! Позвольте вам представить бедняка, владеющего в этом городе всего лишь пятьюдесятью домами, — сказал губернатор Триеста Великому герцогу Людвигу Габсбургу, подводя к нему Стевана Ризничу.

Вместе со Стеваном Ризничем в Триест из Вены была доставлена и знаменитая «двухтарифная» улыбка его прадеда, которая передавалась из поколения в поколение и которую все мужчины в роде Ризничей обязаны были специально заучивать, коль скоро уж она не доставалась им генетическим путем. Эта улыбка более чем столетней давности у Ризничей в шутку называлась «карафиндл», или, по-итальянски, «карафина», что значит столовый флакончик для уксуса или масла. С этой улыбкой на устах, словно с фамильным гербом, триестинские Ризничичи, ничтоже сумняшеся, пригласили в домашние учителя своему сыну Йовану самого Досифея Обрадовича*. Для юного Ризничича выписывались из столиц книги, словари и календари. Затем он учился в Падуе и в Вене, где встретил девушку, ставшую его первой женой. К тому времени Ризничичи уже начали вывозить зерно во все стороны света. Особенно же прочная связь у них была с Одессой. Австрийским шпионам, сидевшим в венецианских театрах, чтобы следить, кто каким репликам аплодирует и кто над чем смеется, было известно, что негоцианты Ризничичи поддерживают сербскую революцию 1804 года деньгами, полученными от торговых операций, связанных со снабжением южных русских армий. Дело по продаже провианта русской армии все разрасталось, и вскоре молодой Йован Ризничич выехал в Одессу. Он построил пристань и укрепил причал Ризничей в одесском порту. Их корабли приставали близ тех самых улиц, которые, говоря словами Пушкина, «в году пять-шесть недель» «потоплены, запружены».

Все дома на аршин загрязнут,
Лишь на ходулях пешеход
По улице дерзает вброд;
Кареты, люди тонут, вязнут,
И в дрожках вол, рога склоня,
Сменяет хилого коня.**

Ибо звонкие одесские каменные мостовые тогда еще только мостились:

Но уж дробит каменья молот,
И скоро звонкой мостовой
Покроется спасенный город,
как будто кованной броней***.

В 1819 году Ризничич погрузил на один из своих кораблей целую итальянскую оперную труппу, состоявшую из басов, которые в открытом море начали

* Обрадович Досифей (1740—1811) — известный сербский просветитель, педагог, поэт, баснописец и переводчик, автор книги «Советы здравого разума», автобиографического сочинения «Жизнь и приключения Досифея Обрадовича». Был первым министром просвещения Сербии. (Прим. переводчика).

** А. С. Пушкин. Евгений Онегин. Глава «Отрывки из путешествия Онегина». (Прим. переводчика).

блевать тенором, из теноров, которые со страху временно потеряли голоса и требовали, чтобы корабль повернул обратно, из сопрано, которые от испуга ненадолго перестали подражать Доменике Каталани, а также дирижера, который вместе с хором прогрезвился только в Одессе. Желая развлечь свою сколь красивую, столь и болезненную супругу Амалию (это и была Амалия Ризнич-первая), Йован основал в Одессе оперный театр. В опере исполнялся главным образом Россини, а в роскошную ложу госпожи Ризнич заглядывала на бокал шампанского одесская золотая молодежь*.

Среди предков прекрасной Амалии наиболее известен был граф Христофор Нако, владелец поместий в Банате на месте древней столицы аваров, который своих крестьян подвешивал за ус. Где бы он ни ударил палкой на своих землях, везде находил он золотые кубки из сокровищницы Аттилы. Когда городили ограду одного из его виноградников, найдено было дюжины две бокалов, блюд и чаш червонного золота. О том, какова была собою Амалия, в замужестве Ризнич, наследница этих богатств, можно судить по рисунку русского поэта Александра Пушкина, ибо и он посещал ее ложу в одесском театре, воспетую потом в «Евгении Онегине»**.

Поэт, имевший, как известно, обыкновение носить свой перстень на большом пальце, не раз писал, будучи в Одессе, да и потом, стихи, посвященные госпоже Амалии Ризнич. Все они входят в собрания его любовной лирики***. Смерть Амалии Пушкин воспел в стихах, упомянув оливковую ветвь, уснувшую на воде в краю, где заснула последним сном Амалия Ризнич****. После смерти Амалии Йован Ризнич утешился в объятиях своей второй жены, на этот раз младшей из упомянутых графинь Жевуских, Паулины.

*

Внучка Ризничка по линии второго брака, Амалия, унаследовала вместе с именем своей несостоявшейся бабки Амалии, поместья Ризничей в Воеводине и красоту своей родной бабушки, графини Паулины Жевуской. Она жила то в Вене, то в Париже, носила лорнет с надушенными стеклышками, и имела обыкновение крестить пищу, оставшуюся на тарелке, чтобы ее не обидеть, и целовать ложку, прежде чем ее отложить. Кроме того, она играла на флейте, и все думали, что ее флейта была из какого-то особого дерева, замедлявшего звук. О ней в шутку шептались: дунешь в эту флейту в четверг, а музыка зазвучит только в пятницу после обеда...

— Мой единственный друг — пицца, — тоном упрека говаривала мадемуазель Ризнич посетителям своего салона. И действительно, огромная библиотека в ее венском доме вся была посвящена алхимии вкусов и запахов. Шкафы были доверху набиты книгами по истории кулинарного искусства, исследованиями о

* Но уж темнеет вечер синий,
Пора нам в Оперу скорей:
Там упительный Россини,
Европы баловень — Орфей...
А сколько там очарований?
А разыскательный лорнет?
А закулисные свиданья?
А prima donna? А балет?

А ложа, где, красой блистая,
Негоциантка молодая,
Самолюбива и томна,
Толпой рабов окружена?
Она и внемлет и не внемлет
И каватине, и мольбам,
И шутке с лестью пополам...
А муж — в углу за нею дремлет,
Впросонках фора закричит,
Зевнет — и снова захрапит.

(А. С. Пушкин. Евгений Онегин. Глава «Отрывки из путешествия Онегина». — Прим. переводчика).
Профиль Амалии Ризнич, нарисованный рукой Александра Сергеевича Пушкина на полях рукописи «Евгения Онегина», можно увидеть в музее бывшего лицея в Царском Селе, ныне Пушкино под Ленинградом. (Прим. автора).

Стихотворения А. С. Пушкина «Простишь ли мне ревнивые мечты» (1823), «Под небом голубым страны своей родной» (1826) и др. (Прим. переводчика).

Имеется в виду стихотворение А. С. Пушкина «Для берегов отчизны дальной» (1830). (Прим. переводчика).

том, что запрещает есть та или иная религия, о пифагорейцах, которые не ели фасоли, о христианских постах, о том, почему ислам запрещает употребление свинины и алкоголя. Здесь были трактаты о кулинарной символике, карманные справочники виноградаря, советы по откорму рыб, инструкции по размножению домашнего скота, гербарии съедобных растений. Почетное же место в библиотеке занимали опусы, касавшиеся меню мифологических животных, труды о том, как употреблялись в пищу в античные времена жемчуг и прочие драгоценные камни, а также рукописный лексикон обрядовых жертв, приносимых в виде пищи. В Пеште, где жили родители Амалии во время сербско-турецкой войны*, по ее просьбе, во всех книжных магазинах и редакциях журналов откладывались все гравюры с поля сражений, на которых можно было разглядеть обоз. Ибо мадемуазель Ризнич содержала за свой счет несколько походных солдатских кухонь, и там, на фронте, пища для сербских и русских солдат готовилась согласно составленным ею указаниям. Итак, занимаясь искусством девятой музыки, которая требует тренировки скрипача и памяти алхимика, мадемуазель Амалия довольно рано пришла к заключению, что примерно в первом веке нашей эры смешение религий (как отживающих, так и новых, которые, подобно христианству, были тогда на подъеме) привело к совершенно свободному смешению также и кулинарных традиций и что в бассейне Средиземного моря, точно в некоем котле, создавалась в те времена лучшая в Европе кухня, которой мы пользуемся и по сей день. Обеспокоенная тем, что традиция эта начала угасать, Амалия неутомимо посещала лучшие рестораны Венгрии, Парижа, Лондона, Берлина, Афин и Одессы.

Несмотря на свои гастрономические наклонности, Амалия Ризнич никогда не теряла стройности фигуры, сохранив ее, вопреки болезням, до глубокой старости. В семьдесят лет она иногда надевала свой подвенечный наряд, и платье сидело на ней так же прекрасно, как в тот, первый и последний раз.

— Ну прямо хоть сейчас к алтарю, — вздыхали окружавшие ее женщины. А она, смеясь, жаловалась им:

— Все, кого я ненавидела, давно уже умерли. Никого у меня не осталось...

Точно так же, как тогда, в конце своей долгой жизни, она и в молодости могла бы сказать, что у нее никого нет. В своих скитаниях она подолгу бывала одна, и дурной ее глаз везде, куда бы она ни глянула, находил оброненные кем-то монетки — иногда серебряную денежку римских времен, а то и совершенно никому не нужный филлер. Монеты словно бы липли к ее глазам, сверкая в пыли. В столовых роскошных отелей она подносила не ложку ко рту, а голову к ложке. Стеклозвонкие шпильки звенели в ее волосах, когда она пробовала блюда и вина, подаваемые в последний раз, ибо и напитки и кушанья умирают, подобно людям. Ежегодно, к Рождеству, она отдавала в переплет перечень блюд, съеденных на всех обедах, и этикетки бутылок, во время этих обедов выпитые.

В своих скитаниях встретила она молодого инженера Пфистера, работавшего над созданием летательного аппарата, который в дальнейшем столь бесславно завершил свою карьеру под именем графа Цеппелина.

При виде Пфистера мадемуазель Ризнич озарила следующая мысль:

— Красота — это болезнь! Красивый мужчина — не для женщины... Она решила его спросить, умеет ли он ругаться по-сербски, на что немедленно получила ответ:

— ...твою мать!

— А почему бы и нет? Она у меня хоть куда, — невозмутимо ответила она, не сводя глаз с золотого колечка в его левом ухе, которое означало, что Пфистер — единственный сын своих родителей.

Пфистер, славившийся своей красотой, отращивал, как известно, лишь один ус и носил серебряные перчатки. Пиджак его был, в соответствии с парижской модой, усеян невероятным количеством пуговиц. Его всегда украшали, точно два близнеца, двое карманных часов: одни золотые (они показывали дни,

* Имеется в виду война за освобождение Сербии от османского владычества, известная у нас как русско-турецкая война 1876—1878 гг. (Прим. переводчика).

недели и годы) и другие, из чистого серебра (эти указывали лунный календарь). Известно было, что его золотые часы (заказанные одновременно с серебряными) сделаны на двух бриллиантовых осях и практически вечны. У серебряных же часов оси были обычные, и срок им был отмерен. Пфистер пользовался и теми и другими часами и велел переставить одну бриллиантовую ось из золотых часов в серебряные. Век обоих часов был теперь одинаков. Увидев на молодом человеке двое часов, мадемуазель Амалия спросила, зачем это. Не думая ни секунды, Пфистер ответил:

— Серебряные часы измеряют Ваше время, а золотые — мое. Я ношу и те, и другие, чтобы всегда знать, который у Вас час.

Назавтра он прислал ей в подарок «Лексикон улыбок», книгу, бывшую тогда в моде, и они стали разъезжать по миру вместе, останавливаясь в лучших гостиницах, где его знали — так же хорошо, как и ее.

Однажды в сумерки, в плохую погоду, они ни с того, ни с сего обвенчались, потом приказали вынести на веранду рояль и во время свадебного обеда слушали игру дождя по клавишам. Под эту музыку они танцевали. Амалия имела обыкновение по воскресеньям пить только свое вино: вино с ризничевских виноградников в Воеводине. Лакеи доставляли его в гостиницы в больших плетеных корзинах. Теперь молодожены пили это вино вместе. К вину им подавали заливную рыбу или кислую капусту с грецкими орехами. Потом они сидели молча. Она смотрела на него, а он читал, листая книгу с такой быстротой, точно банкноты пересчитывал. А она вдруг говорила сердито в ответ на его чтение или молчание:

— Ну нет, неправда!

Инженер Пфистер утверждал, что во сне человек не стареет, и потому спал со своей молодой женой по шестнадцать часов в сутки. Она его обожала. Она кусала перстни слоновой кости на его пальцах и зажигала свои длинные черные пахитоски от его трубок. Эти трубки, фарфоровые или пенковые, она мыла коньяком. Потом на нее стало нападать безумное желание закурить одну из них. Заметив это, Пфистер сказал:

— То, что нам в октябре кажется мартом, на самом деле — январь.

Тогда она его не поняла, но через несколько месяцев и ей стало ясно, что она беременна.

Здесь следует сказать несколько слов об Александре Пфистере, который родится от их брака. В семействе Ризнич его ждали с нетерпением, как единственного наследника. Но он все никак не появлялся. Родные с обеих сторон ждали Александра, но вместо него на свет появилась племянница Амалии Анна; потом вместо Александра родилась сестра Анны, Милена, и только вслед за ними — Александр. Его имя появилось за три года до него самого или же за пять лет до того, как Амалия встретила Пфистера, и имя навсегда осталось старше самого мальчика. Задолго до его рождения о нем уже говорили, во здравие его украдкой заказывались молебны в венских и пештских церквях, были уже определены профессия будущего наследника рода, гимназия, которую он будет посещать, его гувернер, француз с усами в два ряда, ему уже были сшиты матросские костюмчики для воскресных прогулок и куплены золотые ложки, так, точно он уже сидит на своем месте, заранее приготовленном за столом у Ризничей в Пеште или за другим, в Вене, в столовой дома Пфистеров.

Однажды весенним утром, как раз в те часы, когда Ризничихи переходили с русского языка на греческий, родился маленький Александр Пфистер, красивый, крупный ребенок. Он сразу закричал басом во все горло, причем стало ясно, что он родился с зубками. Через три недели после крещения в венской греческой церкви он начал говорить. На третьем году жизни он уже свободно оперировал пятизначными цифрами, на четвертом, к всеобщему изумлению, выяснилось, что мальчик умеет играть на флейте и свободно говорит по-польски, и мать заметила в его кудрях первые седые волосы. В пять лет Александр Пфистер начал бриться. Он вытянулся и стал похож на юношу. Окружающие заглядывались на красавца с золотым колечком в ухе и прочили за него своих незамужних дочерей. О нем бурно заговорили, точно у всех вдруг развязались языки. Среди

прочих выдумок, распространяемых по преимуществу служанками, особое внимание привлекала малопрстойная легенда о преждевременной и необычайно сильно проявившейся половой зрелости мальчика. Рассказывали даже, что у него есть сынок от бывшей кормилицы, который всего на год моложе отца, но эти слухи были преувеличены. В сущности, сын госпожи Амалии не казался странным; те, кто не знал его истории и его подлинного возраста, не могли заметить ничего необычного ни на его красивом лице, ни в его обходительном поведении. И только мать повторяла, как безумная:

— Красота — это болезнь...

Но ведь неделя, начавшись, не останавливается на вторнике. В шесть лет Александр Пфистер поседел и стал седым близнецом своего еще не успевшего поседеть отца (которому тогда исполнилось двадцать пять лет); в конце того же года мальчик стал съезживаться и стареть, как головка сыра, а в семь лет он умер. Это случилось в ту осень, когда по всей территории от Тисы до Токая погибли виноградники, и легенда гласит, что в тот день во всей Бачке не было сказано более пяти слов... Семейство Ризничей эта смерть снова собрала вместе, хотя и ненадолго, а семью Пфистер разбила навсегда.

*

— Боль точит человека, как мысли, — заявила госпожа Амалия, облачаясь в траур, и немедленно развелась с мужем. Поскольку Пфистер разорился еще до женитьбы, работая над проектом дирижабля, после развода он растворился в нищете, оставив на память жене свои золотые часы, а себе взяв те серебряные, что отмеряли время госпожи Амалии. Она же после похорон срочно уехала к родителям в Пешт. Сидя у них в столовой, она перебирала свои каменные пуговицы и в упор смотрела на мать и на отца.

— Это твой муж и ты передали мне какую-то наследственную болезнь!

— Наверное, все-таки твой отец, а не мой муж?

— Не я себе выбирала отца, а ты себе мужа...

— Тебе дай волю, ты бы и мать сама выбирала, а не только отца.

— Да уж конечно, тебя бы не выбрала!

Так они и расстались. Оставшись опять одна, госпожа Амалия положила в сундуки лаванду, рубашки переложила ореховым листом, парики — кукушкиными слезками, а перчатки базиликой, в подола одежды зашила вербену и вернулась к своим странствиям, к своим синего, удивительно красивого темного цвета платьям. На груди у нее всегда висел медальон с портретом покойного Александра Пфистера, который на фотографии мог сойти за ее покровителя или любовника, но не сына.

Она снова ездила по ресторанам в поисках острых вкусовых ощущений, но с годами и это занятие утрачивало для нее свою прелесть.

Блюда, которые ей случалось пробовать в молодости, отличались от тех же, испробованных теперь, не меньше, чем два различных кушанья. И так же, как трава не растет в тени грецкого ореха, руки ее перестали отбрасывать тень: они становились прозрачными. Уголки ее глаз посеребрились, она мало говорила, при еде смотрела на кончик ножа, вместо того, чтобы пить, она целовалась со стаканом или же грызла мясо прямо из тарелки, вместо того, чтобы кусать любовника, которого у нее не было. В один прекрасный день, глядя, как всегда, на портрет в своем медальоне, госпожа Амалия решила что-нибудь предпринять, чтобы сохранить хоть память о своем ребенке. Она пригласила одного берлинского адвоката (ибо в тот день она оказалась в Берлине), дала ему портрет и попросила опубликовать дагерротип: Амалия Ризнич решила усыновить молодого человека, который окажется похожим на ее покойного сына. Дагерротип был помещен во французских и немецких газетах, и в адрес адвоката стали поступать предложения. Адвокат отобрал семь-восемь фотографий, похожих на портрет из медальона госпожи Ризнич. Особым сходством с оригиналом отличался один человек с такой же седой шевелюрой, какая была у мальчика: Амалия сравнила

изображения и решила усыновить седого мужчину, на которого обратил ее внимание адвокат. Невозможно установить, как и когда она узнала, кто этот человек. Ибо ход времени вредит правде гораздо больше, чем выдумке.

Облик человека, возникшего перед нею в дверях, настолько напоминал ее сына, каким он был за год до смерти — поседевшего, но красивого — что она просто окаменела. Она обрадовалась, точно мальчик воскрес, и долго не желала узнавать в нем своего мужа, изменившегося, постаревшего и поседевшего и поэтому теперь похожего на сына незадолго до его смерти. Она с восторгом усыновила его и стала к нему относиться так же, как раньше к своему мальчику, только без тени дурных предчувствий. Она вывозила его в Париж на выставки, выводила на званые обеды, восторженно щебеча:

— Голод больше всего напоминает времена года, ведь у него тоже четыре руки; есть голод русский, греческий, немецкий и, конечно же, сербский голод!

В этом состоянии постоянного восторга она начала сеять вокруг себя мелкие монеты: как она их раньше всюду находила, так теперь теряла. Весь дом был засыпан мелочью, которую она оставляла везде: в своих шляпах, в умывальниках, в ботинках...

— Какой ты красивый, как ты похож на отца, ну просто вылитый отец! — шептала она, целуя своего приемного сына. Но в одно прекрасное утро это безумие или же забвение, порожденное чрезмерностью воскресшей печали, — что бы то ни было, но оно разбилось о ее же собственное странное намерение. Если бы не оно, все шло бы по-прежнему нормально, хотя ничего нормального в этом не было и быть не могло. А именно, госпоже Амалии пришлось в голову женить своего «сына», вернее, своего бывшего мужа, а ныне приемного сына.

— Пора уж, он красивый, все еще красивый, как никогда раньше, но ведь красота — болезнь; рано или поздно все кончается; он не стареет, зато я старею, я хочу еще молодой дожидаться внуков; нет-нет, надо торопиться, надо его срочно женить...

Пфистер был в отчаянии. Он ощущал, как жар его трубки постепенно опускается в ладонь и как его полуседые волосы шевелятся на голове, думая, на какую сторону лечь — на черную или на белую? Наконец, они твердо решились — на белую, и Пфистер впервые стал старше своего сына. Он молча терпел все прихоти госпожи Амалии до тех пор, пока она сама не нашла ему невесту в Пеште, из хорошей семьи, с большим приданым, постиравшимся от Будима до Эгры. Тут Пфистер решительно заявил, что не хочет жениться, что он любит другую, что он несчастлив в любви и что та, другая, не может ему принадлежать. Госпожа Амалия притворно разгневалась и потребовала сказать, кто же это та женщина, которая смеет отвергать юношу из семьи Ризнич, то бишь Пфистер, но он не желал отвечать. Они сидели в молчании, она смотрела, как он читает книгу, перелистывая страницы с такой быстротой, точно банкноты считает, а потом упрямо произнесла в ответ на его молчание:

— Ну нет, неправда!

— Правда, — ответил он наконец, — правда. Единственная женщина, которую я люблю и на которой я мог бы жениться, но с которой мне никогда больше не суждено быть, это ты...

Она расплакалась и только тут призналась и себе, и ему, что давно догадалась, кто он, но что они действительно не могут быть вместе. Ни единой ночи. Что, если у них опять будет ребенок? Нет, ни за что! Только не это! — повторяла она, как в бреду. И они расстались, на этот раз навсегда. Он остался ее приемным сыном. На прощанье он ей задумчиво сказал:

— Знаешь, у меня давно появилось одно ощущение, обычное ощущение, какое, наверное, есть у большинства людей: когда я иду, я никак не могу шагнуть так широко, как мне надо и как я могу: все время наступаю кому-нибудь на пятки. Я стараюсь идти осторожнее, но каждую минуту все равно передо мной оказывается чья-то пятка. Словно пальцам нужна, кроме собственной пятки сзади, еще одна чужая впереди. Чья же она, спрашиваю я себя. Быть может, это Ахиллесова пята, наше уязвимое место, только она находится не у нас, а у другого человека, пята, которая вечно торчит перед нашими пальцами, чтобы замедлять

наше движение, сокращать наш шаг... Получается, что для того, чтобы двигаться, чтобы вообще идти вперед, надо все время кому-то наступать на пятки... А наш Александр, знаешь, он, возможно, не встретил свою Ахиллесову пятку... Поэтому он так рано и ушел...

Этими словами Пфистер простился с Амалией, и больше они не виделись. И все же, однажды утром она проснулась в ужасе, припомнив ту фразу, с которой начались ее несчастья:

— То, что нам в октябре кажется мартом, на самом деле — январь...

Ей показалось, что она чувствует под сердцем новый плод. Он рос понемногу, как возрастал и ее ужас, ибо она его чувствовала. Этот зародыш все разрастался, хотя снаружи и был незаметен. Амалия была в недоумении, потому что после страшной истории с ее ребенком, после его смерти, а быть может, избавления, она утратила потребность в любви и уже несколько лет, как забыла о мужчинах. И все же то, что завелось у нее под сердцем, ощущалось все сильнее. Прошло целых двенадцать месяцев. Фигура ее не изменилась, ничего не произошло. И госпожа Амалия поняла, что ей нужен не акушер, а врач. Она была больна.

Если у читателя хватит терпения, сколько нужно, чтобы зажил язык, ошпаренный горячей похлебкой, он узнает, как она вылечилась. Причем окончательно.

*

Из всего, что есть на свете, мысли больше всего похожи на боль, — шептала про себя госпожа Ризнич, снова бросившись путешествовать и нося под сердцем свою боль. Она блуждала по тем, уже знакомым, местам от Венеции и Берлина до Швейцарии, по которым когда-то ездила с мужем в поисках исчезающих вин и кушаний. Теперь же она гонялась за своим гаснущим и тающим здоровьем. От доктора к доктору, от курорта к курорту возила Амалия Ризнич-младшая фамильные кольца, украшавшие ее прелестные руки, серьги прабабок Жевуских с капельками яда в камнях; она возила с места на место свои платья с зашитой в подол лавандой, показывая Европе теперь уже свои болезни.

— Видишь, болезнюшка моя, как тебя принимают, — стала она говорить, когда у нее появились прострелы, длинные, как распространенное предложение. Эти боли продлевали свое время за счет ее речи, которая все сокращалась, уступая им место. Ей порекомендовали одного лондонского терапевта. Она глотнула вина в Бретани, переехала Ла-Манш в поезде, поставленном на паром, и выплюнула вино в Англии. Сидя в приемной, она снимала и снова одевала свои кольца. Лекарь осмотрел ее, покачал головой и изрек:

— Я могу вам дать только один совет. Живите в сегодняшнем дне. Тогда вы станете такой же, как все люди. Ибо все мы в сущности жертвы для нашего завтра. Нас нет в будущем, словно мы и не родились, мы в нем похоронены, как в движущемся гробу, который переселяется во времени и бежит впереди нас, отсрочивая окончательный уход на следующие двадцать четыре часа. В один прекрасный день мы это будущее нагоняем. Тогда будущее, в котором нас нет, переходит в настоящее и поселяется в нем. Тогда всему конец. Будущего больше нет. Подумайте, мадам, обо всех нас, — находящихся в одном и том же положении, и вы поймете, где вы сейчас...

Ошеломленная этим приговором, Амалия Ризнич бежала из Лондона. На обратном пути в вагоне-ресторане какая-то дама случайно рассказала ей, что где-то в Европе есть лекарственная грязь, которая лечит как раз такие болячки, которые носит в себе и питает Амалия Ризнич. (Амалия к тому времени начала невероятно много есть. Можно было сказать, что теперь болезнь вынуждает ее в третий раз объезжать все дорогие отели на континенте, потчует свою боль изысканными блюдами, которые больше не доставляли ей никакого удовольствия). Дорожная знакомая упомянула по памяти название этой грязи, и Амалия записала его на ленточке своего боа из перьев. Название гласило: «Кошачьи Грязи». На первой же станции, в Бретани, госпожа Амалия купила карту Европы и начала высматривать это место. Ей почему-то казалось, что его можно найти, лишь

бросив взгляд на карту. Но на карте Кошачьих Грязей не оказалось. В Париже она приобрела другую, более подробную карту, и снова принялась искать, но и там их не было. Тогда она схватилась за энциклопедический словарь Брокгауза и хотела в нем найти вожделенное название, но сообразила, что даже не знает, на каком языке его искать. Ибо само выражение «Кошачьи Грязи» на французский переводилось совсем иначе, чем на немецкий или на русский. На какую букву его искать? Госпожа Амалия бросила карты и лексикон и занялась устными расспросами. Во Франции ей не удалось ничего обнаружить, и она последовала в Вену.

Там шел такой снег, что раскроешь рот — и язык занесет. Боли стали проявляться хором, и Амалия уже узнавала одну из них, несомненно, заводилу этого хоровода. Временами ей казалось, что она могла бы сыграть свои боли на флейте. К сожалению, и в Вене никто не смог ей сказать ничего путного. Она послала прислугу расспросить на вокзале, и какой-то машинист припомнил и сказал, что один из его пассажиров ехал куда-то лечиться грязями и, разузнав, направился в сторону Пешта. Амалия поехала к матери в Пешт.

Отца ее давно уже не было в живых, а мать почти не слышала, что ей говорят. Глаза у нее стали прозрачными, как лед на реке. На мгновение взгляды матери и дочери соприкоснулись, как сообщающиеся сосуды. Но это продолжалось только мгновение.

— Только хлеб, одежду, обувь и ненависть человек способен растрчивать в больших количествах, — думала госпожа Амалия, будучи в Пеште. — Всего прочего — любви, мудрости, красоты на свете гораздо больше, чем мы в состоянии потребить. Вечно слишком много роскоши и никогда не хватает простоты вещей...

Еще оставшиеся в живых друзья ее отца, которых она навестила в Будиме, никогда ничего не слыхивали о «Кошачьих Грязях», хотя и были владельцами немалой части венгерской пушты*. Правда, некоторые знали, что в южных губерниях какие-то грязи имеются, но никто понятия не имел, то ли это, что рекомендовано госпоже Амалии. Ей посоветовали ехать к Балатону, а потом на юг в сторону Капошвара и по пути расспрашивать людей.

Погода была хорошая, болезнь притаилась в ожидании дождя, госпожа Амалия еще раз вздохнула в свою севрскую чашечку, велела уложить в плетеные корзины свои платья и вина деда Ризнича и в сопровождении горничной и кучера тронулась в путь. В одно прекрасное утро, ясное, как пятое время года, госпожа Амалия оказалась в пуште, полной пыли и грязи, и встретила рассвет, держа в руках лепешку, сдобренную салями, и маринованный перец, фаршированный хреном. Кругом не было ни души. Бесконечность перед экипажем и сзади него была в следах от вечных взглядов звезд. Только иногда чернело небо от быстрых облаков птиц. Госпожа Амалия третий день ехала на юг, ощущая вонь от грязи, но это была не та грязь, которую она искала. Вскоре уже и кучер не знал, куда они заехали. Он спрыгнул с козел, беспомощно огляделся вокруг и обзлился. Тогда он плюнул себе на ладонь, ударил по ней другой рукой и поехал в ту сторону, куда брызнула слюна. В тот же день пополудни их опять вынесло на какую-то грязь. Впереди дымился костер. Они подъехали ближе и увидели бахчу. Сторож пек в костре кукурузу. Он предложил им купить большой арбуз для прохладения и пять крошечных, с кулак величиной, домой на засол. И угостил печеной кукурузой и сыром.

— Сыр, барыня, это всем яствам господин, — добавил сторож. — Его пока выдержишь — побегаешь вокруг него.

При этих словах госпожа Амалия обратила внимание на сторожа. Он был в грубошерстной куртке, одетой прямо на голое тело, в ушах у него вместо серег висели крестики.

— Где это мы? — спросила она.

— Да в Бачке, где же еще!

— А как называется это место?

* Пушта — степь, земельные угодия, плодородная равнина.

- Грязи.
- Просто Грязи?
- Кошачьи Грязи, — добавил сторож.
- Значит, приехали! — с облегчением вздохнула госпожа Амалия, развязывая ленты своей шляпы. — А они лечат?
- Лечат, кто не помер! Чернозем здесь знатный: может и живого человека родить.
- А как бы здесь снять участок, чтобы грязи принимать?
- Не знаю, барыня, надо у господ спросить.
- А есть здесь кто-нибудь из господ?
- Нет никого вот уже лет пятьдесят, — отвечал сторож, — я здесь один. Владельцы далеко, да их уж и немного осталось.
- Как это? — спросила госпожа Амалия.
- Да так, старый барин приказал долго жить. Осталась только молодая барыня.
- А она-то где?!
- Богу одному известно. Небось и сама не знает. Говорят, на святого Прокофия не купается. Разъезжает по всему миру, место, говорят, ее не удерживает. Прошел слух, недавно была в Пеште...

Госпожа Амалия стала перебирать в памяти фамилии дам своего круга и своего возраста из Пешта. Как вдруг ей попался на глаза только что купленный арбуз.

— А как зовут твою барыню? — спросила она и получила ответ, о котором читатель, наверное, уже догадался.

— Амалия Ризнич, по мужу Пфистер... Уж, наверно, знаете ее историю, — продолжал сторож, — не может быть, чтоб не слышали... Что у нее с сынком-то приключилось. Редкий случай. Но поучительный. Его бог, маленького Пфистера, то есть, к тому времени еще не вырос. Божок-то созревал медленно, а мальчик быстро. Божок и не досмотрел за ним, не сумел его задержать, как вот наши духи нас придерживают. И некому было у дитяти отнять плод познания. Он его вкусил, и пришлось ему идти раньше срока из рая на Землю. Потому что, у кого глаза открылись, всегда должен уйти с того света на этот и обратно...

Амалия Ризнич, в замужестве Пфистер, некоторое время стояла, как громом пораженная. Потом она стащила с себя ботинки и чулки и шагнула прямо в грязь. В спасительный холодок черного, жирного, родного чернозема. И земля схватила и втянула в себя ее ноги с такой силой, точно хотела их здесь посадить.

4 по вертикали

Люди, которые боятся жизни, поздно и неохотно уходят из родительского дома и с трудом решаются создать собственную семью. Как ни странно, Афанасий Разин принадлежал именно к таким людям, боящимся жизни, и потому надолго задержался в той семье, в которой родился.

Затем он стал верным мужем своей первой жены, хотя она его и не любила, а во втором, счастливом браке с Витачей Милут не терял связи с матерью, не переставая сожалеть, что не знает своего отца, и продолжая искать его.

Люди, которые боятся смерти, напротив, недолго остаются в своей семье, быстро и легко они расходятся по белу свету, расставаясь со своими близкими. Героиня нашей книги, правнучка по линии последней, внебрачной связи Амалии Ризнич, младшая из барышень Милут, в замужестве Похвалич, а потом Витача Милут, позднее прославившаяся под общеизвестной фамилией, о которой мы здесь умолчим, принадлежала как раз к людям, боящимся смерти. Она хорошо запомнила из рассказов соей бабушки, что родилась на свет благодаря «Кошачьим Грязям», исцелившим ее прабабку Амалию. Витача на своем веку переменяла множество имен, часто бросала любовников, да и сама не раз оказывалась брошенной. Зато грудь у нее при ходьбе не прыгала вверх — вниз, а покачивалась вправо-влево.

Отец ее, капитан Милут, в годы между двумя мировыми войнами обучался в какой-то французской артиллерийской академии, где потерял свою строевую выправку, но зато приобрел прекрасные усы, которые он накручивал на веретено, смочив предварительно сахарной водой — два жестких локона в углах рта. Он полагал, что семь офицерских чинов соответствуют ступеням музыкальной октавы. И только те, кто обладал слухом к такому рода музыке, могли, по его мнению, продвинуться до следующей октавы, то есть генеральских чинов. Вообще-то капитан Милут был весьма музыкален: он различал по звуку сабли своих товарищей, но к октаве карьеры он оказался глух, как тетеря. Он вернулся в Белград лишь ради того, чтобы жениться, получить свой последний, капитанский чин, а также завести детишек, которые спали в ящике под кроватью. Затем он овдовел и оказался с четырьмя детьми на руках, да еще с молодой тещей, интересной тем, что она не видела снов. Она укладывала волосы в пучок на овальные серебряные часы и щеголяла в шляпе из черной лаковой соломки, насквозь проколотой китайской булавкой, которая тихо звенела на ходу. Именно тогда, как казалось капитану, он порвал дорожку, по которой маршируют к следующему чину. И решился на единственный шаг, кроме строевого, который еще помещался у него в голове. А именно — он решил больше не жениться.

Поэтому героиню нашего рассказа, Витачу Милут, воспитала не рано умершая мать и не мачеха, которой у нее не было, а вышеупомянутая бабка с материнской стороны, госпожа Иоланта, в девичестве Ибич, во вдовстве Исаилович. Она дала девочке не менее сорока девяти имен, и Витача сначала научилась откликаться на Паулину, Амалию, Ангелину, Иоланту, Веронику и так далее, и только потом уже говорить.

Бабушка ее, госпожа Иоланта, была в то время еще красива и дородна. Глаза у нее были черные, как яйца, сваренные по-еврейски, а сила в руках такая, что она могла оторвать ручку от сковородки. Она была по-своему набожна: на стене в ее комнате висела глиняная икона «Иешуа останавливает Солнце и Луну над Гибеоном». По вечерам она имела обыкновение созерцать собственный пуп. Госпожа Иоланта выросла в обедневшей, когда-то богатой и знатной семье, и жизнь у нее была тяжелая. Из фамильных драгоценностей у нее сохранились только три вещи: серебряные часы овальной формы, блюдо для гаданья и плавная походка.

Походка ее была известна, как хорошее стихотворение, и у нее, у барышни Ибич, другие девушки потом учились ходить так, чтобы походка говорила. Она умела «ходить грудями», как ее бабка Амалия Ризнич-младшая, а также как мать Амалии — Евдокия Ризнич, которая, рассказывают, умела, прогуливая собаку, сплунуть ей на спину и так быстро спустить с поводка, что успевала заметить, кому собака понесет ее слюну, или как мать Евдокии мадам Паулина, графиня Жевуская, в замужестве Ризнич, которая ступала, где взгляд упадет, но не смотрела, куда ступает. В один прекрасный день к отцу Иоланты обратились странные посетители, муж и жена, которые объявили, что наслышаны о девушке и о красоте ее походки. Кругом шептались, что они пришли ее сватать. За все время своего визита прищельцы не произнесли ни слова, точно в рот воды набрали. Оказалось все-таки, что они пришли посмотреть на девушку, которую выбрали в жены своему сыну. В знак того, что она им понравилась, оставили они десять золотых дукатов, завязанных в кружевную перчатку. В назначенный день перед домом Ибичей появились цыгане и грянули свадебную песню «Солнышко всходит». Иоланту, одетую во все белое, повели на кладбище, где ожидали ее будущие свекор и свекровь. В этот день исполнилось сорок дней их сыну, который умер в двадцать лет неженатым.

Его вынули из могилы, омыли, подстригли черные усики, отросшие после смерти, одели в парадный костюм, одели ему и невесте венчальные перстни. Кто-то прочитал две-три фразы из Священного писания. Все присутствующие, в том числе и невеста, поцеловали жениха, и его снова похоронили. После этого ровно год Иоланте не разрешалось выходить замуж. Таков был обычай придурнайсских славян. Год она прожила в доме жениха, нося траур и фамилию своего суженого. За это время у Иоланты выросла борода под пупком, а под ее хоро-

шеньким носиком появились настоящие гусарские усики, точь-в-точь как у того, кто лежал под землей. Тогда она нарумянила щеки, начернила брови, накусила себе губы, чтобы казались ярче, выставила тяжелые груди в глубокий вырез платья и самой своей красивой походкой, унаследованной от первой графини Жевуской и насчитывающей не менее двухсот лет, направилась к брадобрею. Там она, развалившись в парикмахерском кресле, приказала подстричь себе усы. С тех пор и носила она красивые напомаженные усики, ровненькие, как челка, черные, как вороново крыло, у нее были два ума, которые лучше одного, и три уха. Она хорошо пела и болела каждый вторник. На девятом месяце в грудях у нее появилось молоко, но зато во время своих визитов к брадобрею она подцепила мужа. Это был некий Исаилович, который рассказывал такие были и небывлицы о своих любовных подвигах, что брадобреям после его ухода казалось, что они отродясь не имели дела с женщинами. Исаилович, убедившись в первую брачную ночь, что его вдовушка — невинная девица, от смущения заявил, что вообще не знает, чьего ребенка делает. В результате этого брака овальные серебряные часы перестали тикать, и родилась будущая мать Витачи.

Оставшись сначала без мужа, а потом без дочери, госпожа Ибич-Исаилович посвятила себя внучкам, которые моментально выяснили, что у бабушки на голове имеются две крохотные лысинки, каждая размером с дукат, на тех местах, где ее прабабка-колдунья носила рожки с колокольчиками. Прабабка эта могла, например, обрить человеку бороду в намыленном зеркале на расстоянии десяти метров, употребляя вместо бритвенного ножа свой левый глаз. Мадам Иоланта в ответ на все эти рассказы только посмеивалась, но и она могла, как оказалось, держать бритвой ногой так же ловко, как и рукой, а также умела зарезать змею серебряным динаром. В дни затмения Солнца и ночами, когда Луна идет на убыль, она наливала воду в свое волшебное блюдо и ловила в него солнце и месяц, чтобы подсмотреть, с какой стороны их надкусывают черти. В это время она запрещала детям и щенятам пить воду, а на праздники не разрешала девочкам ходить в уборную.

Кроме означенных достоинств, Иоланта обладала еще и другими качествами, приятно возбуждавшими ее внучек. Она охотно плела легенды о красавицах из рода Ризничей. Она полагала, что члены приличной семьи — все равно что зубы во рту; Ризничичи в ее рассказах делились на резцы, клыки, коренные и зубы мудрости, на шатающиеся, обломанные или смешные, тупые, больные, испорченные или, наоборот, прекрасные блестящие зубы. Ее рассказы и походка особенно хорошили, когда к ним в гости приходили товарищи капитана по службе, майор Похвалич с таким узким лицом, что он мог бы сам себе облизывать уши, и полковник Крачун. Все эти легенды о прабабках Витачи, о прелестницах, по которым поэты сходили с ума, о несчастном красавце инженерере Пфистерере, который вначале был мужем, а потом сыном своей жены, офицеры знали наизусть.

Еще одна особинка госпожи Иоланты Ибич была не совсем проста и проявилась она неожиданно, сначала в форме совсем безобидной. Однажды зимой, в сочельник, капитан забыл купить рыбу, а покупка рождественского карпа относится, как известно, к делам исключительно мужским. Его теща презрительно прошептала про себя традиционную семейную фразу, что ее друзьями остались только вкусные блюда, и сготовила для себя тушеную баранину с капустой. После чего начала с бухты-барахты чудовищно толстеть.

Она полнела с невероятной страстью и быстротой, являя тем самым пренебрежение к капитану. И Милут, хотя ему о злосчастной рыбе ничего сказано не было, ближе к весне стал замечать, что в доме происходит неладное. Летом, когда они поехали отдыхать, капитану стало ясно, что теща полнеет назло ему, но он не мог понять, в чем провинился. Он старался изо всех сил, открывал бутылки на бахче и, налив арбузы ракией, а дыни вином, оставлял их на ночь, чтобы они хорошенько пропитались, но госпожа Иоланта, урожденная Ибич, упорно продолжала готовить себе к каждому обеду дополнительную порцию капусты с бараниной. Каждый день она неуклонно созерцала свой пуп до того, что забывала, где у нее левое ухо, а где правое, перевязывала нитками бородавки у детей,

чтоб отвалились, и по-прежнему безмолвно толстела, желая досадить своему зятю, капитану Милуту.

Наконец, в одно прекрасное утро, капитан Милут, точно замороженный этим толстением, отправился в магазин и купил большую жестянку с печеньями. Печенья он раздал детям, а на крышке коробки вырезал дырочку размером с грош, набил коробку рыбой и закатал. Каждый день он подливал в дырочку понемногу оливкового масла, пока рыба его принимала. Когда же рыба перестала пить масло, он взял грошик и закатал отверстие. Рыбные консервы были готовы.

«Это — к Рождеству», — заявил капитан. Девочки с изумлением взирали на бабушку, которая возликовала, с необычайной быстротой стала худеть, а вместо баранины с капустой готовила себе фасоль с грецкими орехами. Опять она двигалась плавно, явно хорошела и чем дальше, тем больше стала походить на своего покойного мужа. Она снова превращалась в ту устатую красотку прежних дней, что носила лорнет с надушенными стеклышками.

— Я хочу быть красивой для своих внучек, — шептала она в свою чашку с чаем. В ответ на уговоры соседок выйти замуж Иоланта, со знаменитой двухтарифной улыбкой Ризничей на устах, отвечала, стремясь, чтобы ее слова достигли слуха капитана Милута:

— У всех моих мужчин стояло, пока не сгорит свечка за два динара. Разве теперь такого найдешь?

Капитан Милут ошеломленно посмотрел на госпожу Иоланту и отправился покупать свечу за два динара. Он и так давно уже собирался открыть карты перед тещей и прямо сказать, что его мучает. Он обдумывал будущий разговор с ней по дороге на эзерцирплац, где жеребцы занимались онанизмом, ударяя себя членами по брюху. Он составлял и составлял необходимые фразы, но они проплывали по его голове, как пыль от упомянутых жеребцов, и никак не шли с уст.

Капитан Милут был мужчина в самом соку. Если бы он захотел, то пуговицей, отлетевшей от его ширинки, наверняка можно было выбить глаз попавшему по дороге прохожему. Женщина была ему необходима, как ложка к обеду, но он был далек от мысли привести своим девочкам мачеху. Ни на что не решаясь, он шептал глубоко про себя, обращаясь к прекрасной госпоже Иоланте в той глубине, где рождаются уже не слова, а слезы: «Помогите же мне, помогите, если хотите добра мне и своим внучкам...» Но вместо этих простых слов в голове у него болталась фраза, запомнившаяся из бесконечных тещиных рассказов:

— То, что в октябре кажется мартом, на самом деле — январь...

Тут он заметил, что мадам Иоланта снова начала толстеть назло кому-то. Он не знал, кому именно, но дело было ясное, даже дети заметили. Специально для нее отдельно ставились на стол тушеные синие баклажаны. Перед тем как приняться за еду, она шептала молитву: «Крестом осеняем себя, ограждаясь от сатаны, ни боясь его уловок и засад...»

И снова ее потолстение нарушало покой в семье. У капитана уши горели от глупых насмешек, а в доме чего только не случалось. Вдруг распахивался шкаф, и все цвета какого-нибудь пестрого платья или полоски юбки разлетались по комнате, порхая мелкими кусочками шелка, ослепшими от солнца. В футляре своих карманных часов капитан Милут находил дождевых червей. Самой же вдове Исаилович ни с того, ни с сего начал являться покойный муж. Он объявлялся каждый раз, когда светил полный месяц, точно так и надо. Правда, он путал дни недели. Например, покойник не знал, идет ли вторник за средой или, наоборот, впереди нее. Если он появлялся не во-время, приходилось его исправлять и возвращать, откуда пришел. Тогда госпожа Иоланта брала блюдо, наливала в него воды и начинала ворожить вместе с внучками.

Прошло два месяца с тех пор, как вдова Исаилович снова начала толстеть. В один прекрасный вечер капитан Милут ополоснул свой уд по-солдатски, спрыснув его водой прямо изо рта, и, решившись пойти на приступ, ворвался в светлицу госпожи Иоланты.

Она лежала в чем мать родила, созерцая свой пуп. На фоне простыней ее те-

ло, пахнувшее лимоном, походило на хорошо подошедшее белое тесто с глубоким пупком посредине. Под пупком была огромная мохнатая третья грудь, а выше пупка — талия, одна из красивейших, какие только капитану Милуту довелось в своей жизни видеть. По крайней мере, так показалось Милуту при свете свечки ценой в два динара, горевшей на столе. При виде этой свечи капитан несколько смутился и утратил дар речи, а госпожа Исаилович продолжала непоколебимо шептать свою молитву или то, что она читала вместо нее. Наконец, молитва закончилась. Тогда она повернулась к капитану, дунула на свечку и притянула его к себе тем самым жестом, каким ласкала его дочерей. И шепнула, обнимая его:

— То, что в октябре кажется мартом, на самом деле — январь...

После сладостных объятий, лежа на спине, капитан попытался в темноте погладить ее. Она была рядом и, как он догадывался, уже худела с головокружительной быстротой. Нашував что-то весьма ошутимое, он спросил наугад:

— Это у тебя что, нога? — и в ответ получил хорошую оплеуху, горячую, как блинчик с творогом. Ибо это была не нога, а рука.

*

— Бабушка, твои часики опять не работают! — любила говорить маленькая Витача Милут госпоже Иоланте. Семейные часы в виде серебряного яйца давно уже не ходили, но еще играли свою мелодию. Ветер гнал по небу облака в одну сторону, цикады гнали по горячему небу тишину в другую; была война, капитан Милут ушел на эту войну, и о нем ничего не было известно. Госпожа Иоланта разрешала внукам подносить к уху свои часики и слушать их, как слушают шум волны в морской раковине.

— Работают они, детка, работают, — говорила она, — только отсчитывают не теперешние часы, а другие, давешние.

И правда, в овале остановившихся часов журчало давно прошедшее время, а во времени звенели голоса прежних красавиц из семейства Ризничей. Правда, одна из девочек, Вида, не слышала ничего, кроме хрипа, но зато Витача, у которой уши были разные — одно глубокое, как домик улитки, а другое плоское, как речная раковина — Витача слышала все. В часах легко различался высокий мягкий голос графини Паулины Жевуской, в замужестве Ризнич, а вслед за ним — щебет ласточек перед дождем, когда они вспарывают пыль кончиками своих крыльев; слышался звук флейты Амалии и звон ее стеклянных шпилек, позвякивавших в волосах, когда она пробовала свои любимые блюда, а напоследок — надтреснутое меццо-сопрано госпожи Евдокии. Единственной, кто не подавал голос из часов, была безвременно умершая мать Витачи, Вероника Исаилович. Вместо голоса матери Витаче слышалось в серебряном овале весьма отдаленное сопрано, хорошо промытое сырыми желтками. Госпожа Иоланта утверждала, что этот голос не принадлежит никому из женщин их семьи. Это был самый красивый голос из серебряных часов и вообще самый красивый голос, который Витаче довелось когда-либо слышать.

— Это шлюха Полихрония голос подает, — утверждала бабушка Иоланта. — Она влюбилась в твоего маленького прадедушку Александра Пфистера, и он с ней прижил ребенка, стал отцом, будучи сам отроду пяти лет.

— Ну, расскажи мне о ней! — умоляла ее Витача. — Расскажи, что случилось потом с их сыном? Ведь как-никак, он наш родственник! Расскажи! Расскажи сейчас же!

— Да нечего и рассказывать; у этой Полихронии вместо глаз были под бровями две огромные синие мухи, вот и все...

На этом месте у вдовы Исаилович, урожденной Ибич, язык точно примерзал к гортани. Выговаривая за что-нибудь Витаче, бабушка всегда называла ее именем одной из Жевуских:

— Задница у тебя, Эвелина, ровно из чистого золота, а вот в голове одна чушь. Займись-ка лучше своими делами.

Пришлось Витаче прекратить свои расспросы. Но Полихронию она запомнила крепко. И мысленно добавила ее имя ко всем своим многочисленным именам.

Витача, Параскева, Амалия, Паулина, Эвелина, Каролина, Ангелина, Полихрония и т. д. была, прежде всего, особа замечательной красоты. Ее тело глубоко врезалось в мечты всех когда-либо видевших ее мужчин. У нее была между грудями выемка в виде латинской буквы V, а пальцы на ногах такие изящные и совершенные, что она могла бы ими играть на рояле. Женская красота ее прабабки Амалии Ризнич-младшей, несколько поколений передававшаяся исключительно по мужской линии, в последнем колене снова воплотилась в женщину, в Витачу Милут. Между нею и ее сестрой Видой, которая совсем не походила на Витачу, служили своего рода переходным мостом две другие сестры, но они умерли в раннем детстве, унеся с собой все сходство черт, что было в их внешности. Было вообще незаметно, что они родные сестры. Фигурой и лицом Виды прабабушка Амалия, по мужу Пфистер, безнадежно проиграла своему достойному супругу: судя по лицам рано умерших сестер Виды и Витачи, можно было предполагать, что их шахматная партия еще не закончена или по крайней мере отложена; но фигура и лицо Витачи Милут свидетельствовали о том, что сицилийская защита прабабушки Амалии против прадедушки Пфистера увенчалась полным успехом, красивым матом в один ход. От своего родного отца Витача унаследовала одну только тонкую кожу, такую прозрачную, что через нее, казалось, зубы просвечивали.

Таким образом, каждый вечер Витача опускала на зеленые глаза Амалии Ризнич прозрачные веки своего отца, капитана Милута, и погружалась в сны, не приснившиеся ее бабушке, госпоже Иоланте. В этих зеленых глазах сны виделись так же ясно, как будущее в блюде бабушки Иоланты.

Однажды вечером в полнолуние, когда исполнилось три года с тех пор, как капитан не подавал о себе вестей, госпожа Иоланта налила воды в свое блюдо, позвала внучек, и они вынесли волшебный сосуд под лунный свет, точно ведро из колодца достали. Стояла зимняя ночь, ясная, как день; тонкий ледок хватал лужи; над улицей гасли звезды, и увидеть их можно было только в незамерзшей воде. Улица была длинная-предлинная: в начале осень, в конце зима, в одной части полдень, в другой уже темнеет, и свет зажигают; в одной части учат русский язык, в другой — его уже забывают... В конце этой улицы госпожа Иоланта, держа блюдо с водой, шептала себе в грудь:

— Пусть воскресенье с понедельником повенчается, а вторник со средой...

Она боялась, что вода покажет ей женское лицо, и это означало бы, что капитана нет в живых. Но появилось лицо мужчины, омытое лунным светом, и госпожа Иоланта в восторге воскликнула:

— Он! Он! Дети, узнали отца?!

Так им стало известно, что капитан Милут жив и здоров. И в самом деле, он вскоре вернулся из немецкого плена, принеся на своем исхудавшем лице пару хорошо откормленных ушей. В доме своем он обнаружил вместо мадам Иоланты Ибич старуху, которая по утрам, чтобы проснуться, пила чай с перцем и без конца стонала, что половина ее души умерла, а в комнате своей дочери Витачи застал восьмилетнего соседского мальчика, которого хозяйка комнаты, совершенно голая, возложила на себя, шепча ему на ухо:

— Обожаю маленьких мальчиков, ах, как я люблю, когда мне мальчики делают деток...

Перед таким зрелищем капитан позорно отступил. И вообще он больше не ориентировался в этом доме, где стулья мяукали и кусались, как кошки, потому что плоть и кровь артиллериста Милута превращалась в плоть и кровь юных девиц. Перепуганный, он мотался между госпожой Иолантой, которая повсюду оставляла после себя горячие сиденья и заламывала брови аж до самых волос, что придавало ей изумленный вид, и дочерей, оставлявших по полотенцам и наволочкам тени своих зеленых век и черных ресниц и следы ярко-красных ночных улыбок и укусов, предназначенных чудовищам из снов, от которых потом моча сплеталась в тугие струи. Милут слонялся по комнатам с окаменелым

взором, его пробирала дрожь при виде того, как обе девчонки потихоньку блевали, стараясь таким древним способом добиться необыкновенной стройности талии. Он с трудом выносил запах депилатория, которым в доме пропахло все, даже серебряный овал говорящих часов. Девицы чистили свои гребенки зубными щетками, а тюбики с вазелином протыкали шпильками... В одно прекрасное утро капитану послышалось, что у него в ванной отхаркивается мужчина, причем с перерывами, словно его тошнит сапогом. Милут ворвался в ванную по всем правилам военного искусства — нога вперёд, затем рука — и увидел там Витачу, которая прочищала горлышко.

Совершенно растерявшийся капитан отослал старшую, Виду, к венским родственникам Пфистерам, а сам с горя принялся разводить розы у себя в цветнике. Как ни странно, ему это удалось. У него оказались, как говорят в народе, «зеленые пальцы», он чувствовал, что былинка былинкой перевязывается. Но самого главного он не знал. Он не знал, что за всеми этими соседскими мальчиками и мяукающими стульями стоит семейная трагедия, которую от него тщательнее скрывали.

Случилась она, пока капитан был в плену. И вот как.

Однажды утром Витача взглянула на свежесваренное небо, темное, как летняя ночь, и, пошвыряв в ванну все свои гребенки — серебряные, слоновой кости, стеклянные и янтарные — запела, входя в воду. Она была еще скорее девочкой, чем девушкой, но это вступление в воду предопределило всю ее дальнейшую жизнь. Она пела в эту минуту песню, которую вскоре забыла, и потом лет двадцать ждала, пока она вспомнится. Песня называлась «Последняя голубая среда». На свою беду, она ее все-таки припомнила. Но еще тогда, когда она девушкой пела ее в своей ванне, все поразились. В тот день они впервые услышали ее пение. Ясно было, что у Витачи абсолютный слух. Это было тем более странно, что в обычной речи она говорила неразборчиво и могла показаться косноязычной. Мадам Иоланта Исаилович по этому случаю подарила ей свои овальные серебряные часы, в которых пела флейта Амалии Ризнич. Иоланта научила девочку гадать по блюду и пригласила ей учителя — ставить голос. Вся семья ждала, когда Витача заневестится — тогда станет ясно, вынесет ли ее голос тяжесть ее совершенного слуха.

Учитель Витачи, старичок с двумя бородами, висевшими каждая под своим ухом, был от нее в восхищении.

— В начале всего был голос, — сказал он Витаче на первом же уроке. — Божественный Голос спел следующую фразу: Fiat! И это было слово трагического смысла, которым Господь сотворил четыре стихии этого света. Это был Axis Mundi! Бог изваял свет вокруг голоса, как вокруг оси. Первое же чувство, которое создал Господь, был слух Адама. Именно поэтому на Страшном суде и рыбы запоют...

И старикашка с четырехугольными зрачками и трубочкой волос на темени нагнулся, чтобы показать Витаче репродукции старых фресок, на которых были изображены поющие рыбы.

Витача в ответ только улыбалась. У нее был красивый широкий лоб, словно вылепленный из теста, она была левша на одно ухо, но зато умела заводить часы своим молчанием. Учитель пения полагал, что это молчание и есть постановка голоса и его лицевая сторона. И вообще отнюдь не безразлично, молчит ли певец в це-дуре или в ля-миноре.

— Говорят, что певцу голос не нужен, что он думает ушами; но не в ушах фокус, — повторял наставник, обучая Витачу византийскому церковному пению, которое, как он полагал, было лучше и старше музыки Баха. Волосы у старикана росли даже на ногтях, своими мохнатыми лапами он иногда гладил ученицу по щечке и мимолетно щипал за грудь, говоря при этом, что если у баса должны быть яйца, то у сопрано — сиськи. Он учил ее петь вечерние песни, которые не пелись днем, но годились только в темноте, когда по звуку можно узнать, большой рост у поющего или маленький. Он учил ее также забывать о том, что ей хочется, ибо это важнее и труднее, чем помнить о том, чего не хочется. Вечерние песни, которые в церкви поют во время всенощной, были трех родов:

- 1) песни, похожие сами на себя, не имеющие образцов, но сами служащие образцом другим песням;
- 2) песни, подражающие другим песням и носящие их клеймо (имя);
- 3) песни, которые ни другим не подражают, ни сами никому образцом не служат.

— Если ты не в состоянии понять путь этих песен, — говаривал учитель, — вдолби себе в голову, что они поют о следующем:

- 1) чем мы могли огорчить других;
- 2) чем другие огорчили нас;
- 3) чем мы сами себе причинили вред.

Закончив урок, наставник с довольным видом потирал руки и предупреждал, что Солнце содержит также и лунный свет, точно так, как хороший голос содержит в себе наперед все песни, как уже существующие, так и те, что еще возникнут в будущем. Витача возвращалась с этих уроков, точно омытая музыкой, и ей казалось, что время движется невыносимо медленно. Как еда, которую никак не сжущешь. В ее времени все еще было слишком много костей. Сама же она или молчала, или пела, а петь она начинала, едва только выйдя за порог или подойдя к окну, как птица, которая поет, едва встает солнце. В глазах Витачи блистало созвездие Близнецов, и госпожа Иоланта, урожденная Ибич, восхищенно шептала, что неделя, если уж началась, на вторник не остановится, и голос шлюхи Полихронии звенел из серебряных часиков, а Витача пела и пела. В ее голосе глубокий альт все еще мешался с высоким сопрано, а между ними порой зияла пустота. Она ждала, когда проявится ее настоящий голос, ждала часа, когда созреет ее певческий дар. И все вокруг тоже ждало.

Наконец, голос проявился, и все пошло вверх тормашками.

Когда Витача заневестилась, глаза у нее стали прозрачные, глубиной в два метра и десять сантиметров. Дальше глубина уже не просматривалась. Ресницы у нее всегда были словно присыпаны пылью, а голос ее — голос, который так много обещал, голос, появления которого вся семья ждала, как ждали когда-то рождения маленького Александра Пфистера, вдруг треснул, подобно глиняному сосуду, стал низким и совершенно ни на что не годным. Он перестал удерживать то, что в него наливали. Все содержимое вытекало прежде, чем его успевали выпить. Это была настоящая катастрофа. От певческих талантов Витачи осталось одно молчание, и ее школьные подружки злорадно шептались, что знаменитый голос был внебрачным ребенком, что он унаследован по линии Александра Пфистера и потому состарился раньше времени.

Некоторые женщины не умеют вести хозяйство, и в доме у них всегда беспорядок. Другие не умеют разобраться в своей душевной жизни, и там царит хаос. Все это надо вовремя упорядочить, иначе потом будет поздно. Ибо на этом «потом» кончается всякое сходство между домом и душой. Витача, очевидно, об этом не знала. В ее душе воцарились беспорядочность и чувство поражения. Она стала левшой и утверждала, что левши — это те, кого в прошлой жизни били по правой руке, или те, кто в будущей жизни положит руку в огонь за други своя. Была весна: по небу неслись стаи ласточек, они разделялись пополам и переворачивались, точно на небе кто-то выжимал черное полотно, а Витаче все мерещилась одна и та же картина: летучая мышь, висящая вверх ногами под животом обнаженного мужчины. Тогда-то она однажды вечером заплела волосы в косу и заманила в дом соседского мальчишку, рыжего-рыжего, точно ржавчина, и затащила его в свою постель, чтобы он ей сделал ребенка, как сделал ребенка колдунья из серебряных часов, Полихронии, ее маленький прадед Александр Пфистер, родившийся с зубами и со знанием польского языка. Соседского мальчишку звали Сузин, ему было всего восемь лет, и он не понял, что от него требуется. Однако он впоследствии еще раз пришел в комнату Витачи и принес ей мацу. При этом он сказал:

— Количество страха в мире постоянно, оно не уменьшается и не увеличивается, но должно, как вода, распределяться между всеми живыми существами. Что ты об этом думаешь? Я думаю, что последние люди от страха потеряют рас-

судок. А если так, то дикие звери где-нибудь в Африке должны бояться и за меня. Если я боюсь меньше, значит, кто-то другой боится больше, а завтра, если вы меньше будете бояться за меня, то я буду бояться настолько же больше. Страх — как общее имущество. Как одежда, которую людям пришлось одеть на себя после изгнания из рая, ибо они увидели свою наготу перед лицом смерти...

На другой день немцы угнали в лагерь Сузина и всю его семью.

— Никогда я не оскорвлю эту мацу вкусом другой мацы, — шептала впоследствии Витача... — Вкус этой мацы во рту — для меня все равно, что единственный ребенок.

Когда Витача начала приставать к восьмилетним мальчишкам на улице, подсматривать, как они писают и заплетать им на голове косички, заманивая к себе в постель, достойная вдова Исаилович пришла в ужас. Брови ее целыми днями порхали вверх-вниз, точно собираясь взлететь. Наконец, они окончательно взлетели с лица и упорхнули под самую прическу. Тогда госпожа Исаилович взяла в руки раскаленный нож, нарезала лук, сготовила тушеные синие баклажаны и снова начала толстеть. На этот раз она толстела назло внучке. Глядя, как красивый зад Витачи Милут жадно поглощает панталоны, прихватывая иногда и часть штанины, бабушка шептала в очередную порцию синеньких:

— Задница-то у нее — ровно золотой дукат, а вот голова дурная. Ей нужен кто-нибудь постарше, чтоб за оба уха ее держал. Кто-нибудь сильно постарше ее.

Вернувшийся с фронта капитан Милут покуривал свой табак, сквозь божественный аромат которого пробивался дух муравьиной кислоты, а мадам Иоланта, ни слова не говоря внучке, с каждым днем поглощала все большие количества баклажан. Она толстела последний раз в своей жизни, твердо решив любой ценой отвадить девушку от страсти к маленьким мальчишкам с волосенками, торчащими, как цыплячьи перышки, и с глазами, похожими на стеклянные пуговицы. Она задумала выдать Витачу замуж. Из этого ничего хорошего не получилось, а вышла большая беда, потому что все превосходно задуманные воспитательные мероприятия кончаются бедой.

Витача тем временем паслась в саду, доедая оставшиеся на деревьях персики прямо с ветвей, отчего сей вертоград был усеян огрызками, и плела косы из всего, что попадалось под руку. Из отцовской бороды, из волос бабушки и сестры, из собственного мха между ногами и из волосенок попадавших на улице мальчишек. Собственную длиннющую косу она всегда держала в руке, как плетъ, в глазах у нее отражалось созвездие Рака. Таким образом, у госпожи Иоланты были все поводы, чтобы толстеть и толстеть. Она даже стакана воды не выпивала без того, чтобы не бросить украдкой взгляд на внучку и не прошептать:

«Ишь, ядреная какая, прямо не ущипнуть!»

Бабушкино потолстение и на этот раз возымело своей действие. Рыбка-флюгер на крыше дома приняла новое направление, домашние вещи, которые, как и люди, ночью спят, а днем занимают своим делом, потеряли сон и начали потрескивать по ночам, что, как известно, бывает к переезду; в доме становилось все невыносимее, усы капитана Милута отвердели, как рыбы кости, и начали колоть ему подбородок при еде и при разговоре; одна только Витача не ощущала ничего, разве что ей временами казалось, что кто-то невидимый пытается схватить ее за уши.

— Нижняя губка от Амалии Ризнич, а верхняя — от графини Жевуской, — ворожила бабушка Исаилович, в отчаянии кидая взгляды на Витачу, которая оттопыривала губы, полные густой, как мед, слюны, и не подавала признаков каких-либо перемен настроения. Она целовала недоеденные кусочки хлеба и с прежним упорством щипала соседских мальчишек.

В один прекрасный день, когда бабушка уже доела сотую порцию своей баклажанной икры, Витача была обнаружена после уроков неподалеку от школы. Она была какой-то шваброй по окнам в первом этаже чьего-то дома и, заикаясь, выкрикивала, услышав треск стекла:

— А мне замуж пора! А мне замуж пора!

Капитан Милут, мужчина не из слабых, с жесткой тенью и носом, твердым, как камень, застыл от ужаса и с тех пор сам начал заикаться, если ему случалось

обратиться к дочери. Госпожа Иоланта понадеялась, что дело пошло на лад, но она была неправа. На свете нет ничего, что однажды не стало бы истиной, точно так, как остановившиеся часы всегда проходят свое мгновение точности. Но истине, как и тесту, необходимо время и тепло, чтобы выходиться и подняться. В то время любимым изречением Витачи была школьная поговорка: «Ум не вырос, да любовь поспела». Когда отец бывал по делам в полку, она все время проводила в школе. В тот год груди у нее росли быстрее, чем зубы, и как раз тогда стало видно, какие у нее красивые губки: верхняя сладкая, а нижняя горькая, как миндаль. По первым двенадцати августовским дням можно узнать, какими будут следующие двенадцать месяцев; а по двенадцати месяцам этого года можно было догадаться, какой будет жизнь Витачи Милут. Стояла осень, и из серебряных овальных часиков доносился шепот Полихронии: «Я все твои слезы выпила, видишь, ты и слезинки не уронила!»

Витача же заплетала косы где только могла и переживала свой первый школьный роман. Один из тех романов, которые долго помнятся, легенды о которых передаются из поколения в поколение.

Она познакомилась с Афанасием Разиным, которого тогда еще звали Тасой Свиларом. Он учился в той же школе. Однажды он уступил ей место в трамвае. Она же в ответ перекрестила его, как делали когда-то в подобных случаях богомольные старушки. Но как-то странно перекрестила, то ли одним пальцем, то ли высунутым языком. В следующий раз он увидел ее одиноко стоящей на фоне желтой стены на школьном дворе. Она смотрела на него остановившимся взглядом, не отвечая на приветствие. После нескольких минут молчания она изрекла:

— Ты, Атанас Свилар, для меня староват! Ищи себе другую. Я люблю совсем маленьких мальчиков, помоложе меня.

— Да ведь и я предпочитаю девочек помоложе, — ответил он. — С удовольствием трахнул бы одну из твоих кукол. Принеси-ка мне в следующий раз, какую хочешь.

В ответ Витача стала потихоньку опускаться на корточки, сидя лицом к своему кавалеру. Не успела она присесть, как между ног у нее сверкнула блестящая и острая, как бритва, струя длиной метра в два, направленная прямо в него. После этого случая они долго не виделись. Встретив его случайно, она продолжала молчать. Несколько месяцев она разглядывала его своими глазами, полными мутной воды, текущей с такой быстротой, что она кажется неподвижной. В глазах Витачи отражались звезды из созвездия Быка, темные, как ее голос, которого Атанас не слышал целых десять недель. Наконец, она принесла ему куклу. Куклу звали так же, как сестру Витачи.

— Вот тебе жена. Ее зовут Вида, — сказала Витача, и он снова услышал ее глубокий голос, ничего не удерживавший, как надтреснутый кувшин, голос, о котором было столько разговоров.

Атанас был на год моложе Витачи. Когда он ей об этом сказал, она взглянула на него, облизула губку графини Жевуской, прикусила другую, что досталась ей от Амалии Ризнич, и они стали встречаться. После этих свиданий, на которые Витача шла как бы неохотно, Атанас по ночам возвращался домой, чувствуя, что в волосах у него запутались ее надтреснутые слова и хриплый шепот. Витача же себя прежнюю, еще не знавшую любви, не без иронии называла «сестра Колючка».

Узнав про это дело, капитан Милут перепугался насмерть. Каждое утро, пережевывая отгрызенные кончики усов, он искал и находил в помутневших за ночь зеркалах Витачи тень еще одного несовершеннолетнего любовника своей великовозрастной дочери — тень Атанаса Свилара, которого мы сегодня назовем Афанасием Разиным. У капитана в то время и так хватало хлопот. Мало того, что его обошли с производством в следующий чин. Ему стал сниться покойный отец, причем в возрасте значительно более солидном, чем когда он умер. Капитан с содроганием размышлял о том, что покойник, наверное, продолжает стареть после смерти, и задавал себе вопрос, сколько же тысяч лет пройдет, пока он угомонится окончательно. Старая мадам Ибич, как нарочно, в эти дни умерла,

располнев сверх всякой меры, с отчаяния, что ее попытки толстеть назло внучке ни к чему не привели. В полном смятении чувств капитан стал звать вторую свою дочь, Виду, вернуться домой, но она в ответ лишь смеялась над ним в своих письмах из Вены, слегка припухших, ибо она заклеивала конверты слезами.

В конце концов, отправляясь в очередной раз на месяц на маневры, капитан обратился к одному из своих добрых товарищей, майору Похваличу, тоже артиллеристу, с которым он был знаком еще по Франции, и попросил на время своего отсутствия присмотреть за дочкой. С тем он и ушел своей тернистой дорогой. Трудно сказать, что и как затем происходило, а только, когда через месяц капитан Милут позвонил в дверь своей квартиры, ему открыл майор со свежесплетенной косицей на голове и со словами:

— Задница у нее — ровно золотой дукат, а вот голова дурная. Ей нужен кто-нибудь постарше, чтоб за оба уха ее держал...

У Милута от изумления взвились разом все мозоли, он выхватил револьвер и прицелился в майора, чья физиономия осклабилась навстречу ему, обтянутая чем-то вроде искусственной кожи. Капитан испытывал чувства человека, которому пролетающая птица ни с того, ни с сего нагадила в стакан с вином. Это помогло майору опередить его. Он уже держал в руках ключ от своей холостяцкой квартиры. Капитан почесал висок дулом револьвера, выкопал свои розы и переселился в тесную гарсоньерку Похвалича. Он наскоро устроил свадьбу дочери с бывшим приятелем, завернул свое боевое оружие в старую рубашку и послал его зятю и с этой минуты больше не выпил ни капли жидкости и ни разу не помочился до конца жизни. Умер он со словами: «Безумный живет, пока хочется, а умный — пока нужно».

У Витачи родились одна за другой две дочери, брак с майором Похваличем вошел в накатанную колею, серебряные часики были преданы забвению, а она все шептала в свою чашку кофе с молоком:

— Думать не надо. Мысли похожи на голод, всегда одни и те же. Надо есть, а не думать. — И она не думала. Правда, время от времени набирала воды в блюдо, унаследованное от прабабушки, и подолгу всматривалась в его пустое дно. Напрасно она ждала, покажется ли в воде хоть какой-нибудь образ, какое-нибудь лицо, мужское или женское. И полнела. Тогда она стала такой красавицей, какая нам в школе и не снилась. Косточки у нее пощелкали, как летящие от костра искры. В уголках ее глаз каждое утро светились прозрачные камешки, в которых отражались, подобно плененным в янтаре мушкам, сильно уменьшенные ее сны...

От покойной госпожи Иоланты она успела узнать, что демоны разговаривают через человеческий кашель, свист или храп. Она слушала, как муж в постели рядом с ней ест по-сербски, а затем переводит эту еду на французский — как он уплетает капусту, лакомится маринованными перцами в рассоле, обглаживает рыбные кости, прихлебывает ракию или дует на кукурузную кашу, в которой лопаются воздушные пузырьки... Но из того, что говорили демоны, она не понимала ни слова, ибо ей недоставало второй части разговора — ее собственного чихания, храпа или кашля. Она попробовала учиться. Три года подряд горел по ночам свет в ее комнате. Но ничего из этого не вышло. Тогда она начала болеть по вторникам. Во время болезни она писала бесконечные письма, которые не отсылала на почту, а разбрасывала по всему дому, набивала ими стенные шкафы и ящики, хранила под кроватью или даже в старых мужниных сапогах. Но если бы она их и посылала тем, кому они были предназначены, выходило бы то же самое, ибо прочесть написанное почерком Витачи Похвалич было совершенно невозможно. Ее почерк не разбирали ни майор, ни его дочери. А Витача с самого начала писала письма своим девочкам, которые играли рядом с ней и еще не умели ни читать, ни писать.

В один прекрасный день совершенно неожиданно (ведь они годами не встречались) снова появился Афанасий. Он прислонил свой велосипед к воротам ее дома и вошел в квартиру, где когда-то жили сестры Витача и Вида, а теперь обитали супруги Похвалич. Своим длинным языком он облизал слезы с ее глаз, он взял Витачу за руку и увез сначала в Вену, а потом в Америку. Он оста-

вил велосипед, жену, сына и мать, а она оставила мужа и детей, к которым никогда больше не вернулась.

6 по вертикали

Надеюсь, что я ничего не перепутал в этой истории, рассказанной мне однажды в деловой поездке господином Афанасием Разиным, человеком к тому времени уже богатым и весьма уважаемым.

Сидел я как-то раз в трактире «Три скамейки». На столе передо мной — курительные трубки. Хорошо прочищенные, прямо звенят, как трубы, только что не играют. Выбираю я себе трубку и думаю. От молодости моей одни слезы остались. Да и те — не сладкие, как когда-то, а с горьким осадком. А хоть и такие — знаете ли вы, голубчик мой, что такое слезы? Кто поймет, что каждая слеза двух слез стоит, будет достоин своих слез, а в противном случае и того меньше. Что же касается сердца...

На этом месте размышления мои прервало появление трактирного слуги. Завязав себе на память узелок, я спросил его:

— А что, братец, есть у тебя капуста с бараниной, которую на свадьбах подают?

— Это какая, прошу покорно? — осведомился он. При этом я заметил, что один глаз у него меченый, из него словно капля воска вытекла, а на кончике носа блестит слеза. — Эта слеза двух слез не стоит, — заключил я про себя и объяснил ему: речь идет о капусте с бараниной, которая с утра ставится на огонь, а вечером снимается. И так — семь дней.

— Так приходите через семь дней, — ответил слуга.

— Прекрасно! Что ты пьешь? — спросил я на это.

— Господин весьма любезен, — он очень обрадовался моему предложению. — «Лакрима Кристи». Обожаю «Лакрима Кристи».

— Чудно! Так принеси мне бокал «Лакрима Кристи».

Он отправился выполнять заказ, а я продолжил свои размышления с того момента, на котором остановился. Что же касается сердца, — думал я, — сердце тоже с некоторых пор не бьется у меня в груди, а только царапается — скребется изнутри, как зверюшка, запертая в клетку. Перед клеткой — простор и свобода, сияющая речка, но только ты ее заметишь, как она сворачивает в лес и гаснет. У клетки же дверцы из еловой дранки. Ударит клювом соловей — они выдержат, но если в клетке кобчик, дверцы разлетятся с первого же удара и отпустят птичку на волю, как дым в синее небо...

Тут в трактир вошла бельмоглазая служанка, которую я поджидал. Я подхватил ее под локоток и посадил с собою рядом.

— Почему вы так бледны? — изумился я, разглядев ее лицо.

— О ужас, господин мой, еще бы не быть мне бледной! Ведь я увидела дьявола.

— А где дьявол?

— Как это где?! Да вы и есть дьявол.

— О, если бы это было правдой, вот счастье-то! Если бы это оказалось правдой, — сказал я пока. — Но займемся делом! Вы принесли бутылку?

Она достала из кармана маленькую бутылочку ракии и смущенно спросила:

— Неужели вы уверены, что по вкусу ракии сможете узнать, те ли это дамы, которых вы разыскиваете?

Вспомнив, что каждый из нас рождается хромым на одну из своих душ, я отрезал:

— Уверен! — и без церемоний отпил из бутылочки.

Неторопливая река тишины и умиления разлилась по моей груди, замедляя ход всего, что она там застигла. Я узнал молодость по тишине и теплу, что вошла в меня и, несмотря на свой возраст, снова углубилась в недавние мысли...

— Да! Да! — сказала я служанке. — Я узнаю, это их ракия! Такую ракию гнал еще их отец! Она очень крепкая, зайца убить может.

Мысли же мои, пока я посасывал эту скляночку ракии, черт их разберет, ровно птицы небесные, то в минуту соберутся стаей, то вдруг, помотавшись между Западом и Востоком, снова исчезнут. Когда же им время придет, каждая улетит от нас со своей стаей куда-то на какой-нибудь свой Юг. Ибо и мысли наши хотят согреться и отдохнуть от наших холодов и холодностей, с тем чтобы вернуться, когда наши холода минуют... Если они минуют...

— Значит, — говорил я про себя, — они не переехали. А фамилию все тут же носят или замуж повыходили?

— Только одна носит прежнюю фамилию, Ольга. Она овдовела и снова взяла отцовскую фамилию. А остальные все переменяли, — отвечала бельмоглазая.

— Ну ладно, — подхватил я, — а что, Ольга все так же сосет кончики своих волос и любит лепить мушки?

— Любит, — отвечала удивленно служанка.

— Значит, все сходится! А скажи-ка теперь, что ты любишь больше всего на обед?

— Цыпленка, запеченного в тесте с ветчиной, — радостно отвечала бельмоглазая.

Я отпустил ее прочь. Когда же она вышла, я подумал, что будущее имеет ценность только в том случае, если мы его предскажем, иначе же оно просто обычное горючее, кизяк, если хотите. Тут подошел уже знакомый слуга с каплей воска на веке, неся мое вино, и я, наконец, заказал обед.

— Принеси-ка мне, — сказал я ему, — цыпленка, запеченного в тесте с ветчиной.

После обеда я вышел на улицу, и в ушах у меня зашуршал шелковой бородой давно не слышанный мною язык, который я учил когда-то в молодости. Как легко человеку при звуках языка вспоминается такое, о чем этот язык не рассказывает и рассказывать не собирается, что тебе и в голову не придет, о чем бы ни шла речь. И все же о ком-то напомним, кто знает о ком, шепнет тебе этот шорох что-то такое, что ты потом все только озираешься и с трудом понимаешь, где ты. С этими мыслями я огляделся вокруг и с трудом понял, где я нахожусь. Передо мной по улице трусила побитая молю собака, забрасывая заднюю левую ногу между передними. Потом она вдруг переменяла ногу и, перекосившись на другую сторону, забежала во двор. Я все еще не мог понять, где это я оказался. Мне вдруг стало ясно, что всегда существуют два «теперь» и что настоящее — вещь вовсе не такая единая и неделимая, как мы обычно думаем. Мне пришли в голову изумительные слова, как, например, «крокаръ»* или «скара»**, которые бог знает что значат, но ласкают слух. Кому какое дело до значения слов, если они, в числе других, прилипают к твоему уху (даже если из него сопли текут, как из носа) — прилипнет, например, такое прекрасное, вечно молодое выражение, как «белые пчелы». Какие дивные слова: «белые пчелы»! А означают они то, что ты хочешь и не хочешь. «Белые пчелы» — это колено твоего потомства (если оно у тебя есть), которое следует сразу за правнуками. Представь себе, как силен и предусмотрителен язык! Да, словом надо заниматься, пока оно еще не слово. Занимался же ты в молодости любовью, пока это еще не была любовь...

Именно в это мгновение я постучал в дверь, но мне никто не ответил. Я зевнул в кулак, на секунду перестав слышать, и снова стукнул. Тишина, как во время зевка. Я нажал на ручку и вошел в дом Ольги. Все было открыто настежь. Дом тонул, как корабль. Иконы уже висели криво, а окна наполовину затворились сами собой. В одном из зеркал я вдруг увидел Ольгу и обомлел. Она стояла в углу и не сводила с меня глаз. Я смотрел на нее, точно видел ее впервые, и она на меня точно также. Она меня не узнала. Я помнил ее девчонкой, которая вертела головой вправо-влево, отгоняя косами мух, и сейчас у нее были длинные неопрятные распущенные волосы.

— Что вам от меня угодно? — спросила она каким-то водянистым голосом, которого я раньше не слышал. Она стояла, укрытая своими волосами, как шат-

* Крокар (словенск.) — ворон, крокарѣ — вороны.

** Скаре, шкаре (срв. итальянск. squartare — резать) — ножницы.

ром. Она никогда не была красивой, но свою неуклюжесть считала достоинством, глупость — свидетельством невинности, а непривлекательную внешность — гарантией того, что станет святой. Раз в месяц она, как змея, меняла на пятках кожу. Я подумал, что наши предки, творя нашу жизнь и молодость, столь же неловко заложили в них и нашу старость и смерть. Я рассматривал в заднее оконце небо за домом с надутыми ветром облаками, плывущими, как паруса, которым не нужны корабли. Потом я встал и плюнул ей в ухо.

— Афанасий, грубиян несчастный, ты все такой же! — вскрикнула она, радостно всплеснув руками. — А я тебя не узнала!

Речь ее пошла петлять, как и раньше. Она была из тех, кто любой разговор вывернет в овраг. Вскачь и где-то посреди наклепанных мушек я сразу узнал всю ее жизнь с тех пор, как мы расстались. Она угостила меня кофе и ракией, той самой ракией, благодаря которой я ее нашел. Мы сидели и разговаривали. Я наблюдал за игрой ракии в бутылке — не имея своего цвета, она собирала в себя все краски комнаты, точно сорока перья, и в них красовалась. Я заметил, что она предпочитает желтую. Ольга рассказывала неутомимо. Рано выйдя замуж, она рано развелась и тем гордилась, ибо постоянные разводы в их семье были чем-то вроде наследства, передававшегося из поколения в поколение.

— Помнишь, дружок, притчу, — говорила она мне, радостно щебеча о своем замужестве, — притчу о писателе и бедняке? Жил-был писатель, писатель как писатель, не испортит только то, что не напишет. Встретил писатель на улице бедняка; один-одинешенек, голову приклонить негде, стоит, на пальцы дышит. Уступил ему писатель место в одном из своих рассказов. Поживи, — говорит, — здесь, хоть некоторое время, комната там просторная, еда в моем рассказе в изобилии, там, правда, холодно, снег идет, зато есть печка с дровами, можешь греться, сколько угодно. Говорит писатель с бедняком, а у самого даже очки прыгают, так растрогался. Бедняк молчит, только борода у него блестит. Рыжая, прямо огненная, хоть трубку от нее прикуривай. Бедняку деваться некуда, и на том спасибо, кто нищ и гол, тому, говорят, и во сне обед хорош. Вселился он в рассказ. Первый день он все спал. Второй день все ел, а на третий пошел знакомиться с соседями — с другими персонажами этого рассказа. Они смотрят — вроде бы человек не отсюда, но разгуливает, как главный герой. На четвертый день пошел денег просить займы, не то, говорит, всю фабулу вам испорчу. Стали они ему ссужать кто грош, кто два, чтобы отделаться. Он денег не отдает, а на пятый день начал к женщинам из рассказа приставать. Глаз у него плохой, щупает бабу, а сам смотрит глазами кислыми, как вчерашняя картошка. На шестой день сделал кому-то ребенка, а на седьмой, заметив, что он согласно рассказу разбогател, из рассказа-то и вышел, на главную героиню написал куда следует два-три доноса, быстро продвинулся по службе и стал председателем общины места действия, рассказ запретил, а писателя обвинил в том, что ему снятся такие-то и такие-то (протоколом подтвержденные) гнусные сны, и стал его по суду преследовать...

Ну, точно так было и с моим браком. Еле жива осталась, точь-в-точь, как этот писатель.

— А детей и внуков накатала? Этому рассказ не помешал, наверное? — прервал я ее, а сам все смотрю, скажет ли она что о детях. Но она начала рассказывать о сестрах. Ну ладно, думаю, пусть себе: о сестрах поговорит, потом и о детях что-нибудь скажет.

— Я, милый мой, тону вместе с этим домом. Пока мы, сестры, были вместе, я тянула семью. Цецилия и Ленка (помнишь Ленку? любовник зовет ее Азра), как повзрослели, так начали тянуть на себя. Семьи для них не существует, и неудивительно. Сами свою семью не строили, домом не обзаводились. Да и не обзаведутся, потому что любовники не дадут. Мои сестры предпочитают жить, как сейчас.

— А какие они? — спрашиваю, а сам все жду, когда она о детях заговорит.

— Помнишь маленькую рыбку — когда ее щука проглотила, она подумала: вот было бы счастье, если бы меня сом проглотил! Для них предел свободы, когда они могут ругать меня и моих; они нас выбрали виновниками всех своих не-

счастливы и считают, что мы на нашем общем горе наживаем капитал. Из-за этой ложной свободы — обвинять другого — они о своей свободе и не думают. Все боятся быть смешными. Не смеют даже чихнуть, пока не чихнул любовник. Со мной поддерживают отношения и семью сохраняют лишь постольку, поскольку это не вредит их личным интересам и интересам их любовников, которых они бог знает где находят. Я же блюду свои личные интересы и пользу моих детей постольку, поскольку это не расходится с интересами большой семьи, то есть всех нас, считая и сестер. Для меня ни их любовники, ни мой бывший брак большой ценности не представляют. Я всем для семьи пожертвовала, а вот детям моим в этой семье неуютно.

Как только она заговорила наконец о детях, я обратился в слух и подумал: вот, сейчас бы ей спросить о моих доходах, и настанет мой черед говорить.

— Я сестер своих насквозь вижу, — продолжала она, — мы разного безумия люди. Каждая из них все тянет к себе и к своему дороговому, а я вот уж и состарилась и страшная стала во сне, а все никак не пойму, в чем для моих детей польза, не строю и не планирую их будущее, потому что не привыкла, все, думаю, семья сама собой все обеспечит, и об них постарается, все само собой на места встанет.

— Кто ни себе, ни своим не поможет, не поможет и другому, — подтолкнул я ее.

— Тебе легко говорить! А каково одинокой женщине, — поневоле к семье приклонишься, надо же где-то защиту искать, у меня ведь нет сильных защитников, как у моих сестер. Для меня семья — единственный заслон от плохих людей.

Но и здесь, в собственном доме, приходится такое терпеть, что и представить трудно. Мы с сестрами плюем друг в друга слезами, а потом ходим с солеными лицами. Каждый вечер Азра бьет поклоны, молится, чтобы черт или бог унес куда-нибудь детей Цецилии, а Цецилия стоит на коленях и о том же молит бога или черта — чтоб унес подальше Азриных детей. А я здесь перед иконой молюсь и шепчу: Господи, если ты услышишь их молитвы, то мои можешь и не слушать. Тогда все услышано. Но он не слышит. Сестры со своими покровителями ничем не гнушаются. И внуков моих не щадят, девочек моих, внучек, своим любовникам подсовывают, чтоб их задобрить. Глядишь, через несколько лет являются ко мне от них какие-то девки, здравствуйте, пожалуйста, или незнакомые парни, которые от наливков не просыхают, и говорят: это мы, твое потомство, те самые, которых подкинули.

Откуда мне знать? Начну подсчитывать, какие от моих детей, а какие от чужих, и концы с концами не сходятся. Думаю, этот не наш, да и тот вроде бы не из моих. Голова болит, спать не могу, все думаю, какие настоящие, а какие нет.

— Ну, так если больше некому, я тебе помогу. И тебе, и твоему потомству. Для того я и приехал.

— Ходят слухи, что у тебя, когда ты уезжал в белый свет, три динара за один шли, а теперь будто бы каждый динар — два приносит. Ну что, стоило уезжать?

Я подумал про себя: да она бесценная, ее надо в обертке держать и беречь, как дрожжи на Рождество. А сказал я следующее:

— Вначале я намучился. За первый год странствий по меньшей мере три раза я сам себе снился. Знаю, что это я, но снится мне, что я старик. Весь седой во сне, как овца... Был я где-то в Швейцарии, нанял комнату, лег в кровать, повесил рубашку на стул, точно сидит кто-то ко мне спиной. А утром встал я, одеваюсь, посмотрел вниз, а у меня мужского хозяйства совсем нет, все втянулось, как улитка. Тут я подумал: такой он у меня будет после смерти. Оглядываю я комнату и вспоминаю, что сербы еще с XVIII века говорят, что живут расселенными, как евреи. Эту комнату в Швейцарии я нарочно не убирал, чтобы ни мне самому, ни другим не казалось, что это мой дом. Сколько же поколений так еще будет жить, — думал я, разглядывая глубокую, как снег, пыль по углам и паутину, липнущую к ресницам. — Так я думал, пока еще надеялся иметь детей. Вот, живу и вижу: по-немецки могу сказать что хочешь, но когда они ко мне обращаются, ни слова не понимаю. Тоска в углу тикает, как часы, будит меня каждую весну и иногда спешит, непроветренные шкафы воняют прошлогодним табачным

дымом, а я спятил, пишу по-английски кириллицей, греческими буквами переписываюсь с Мюнхеном, латинской азбукой по-русски пишу. Наяву-то я здоров, а во сне болею, и только через сны понимаю, насколько все во мне изменилось, причем безвозвратно. Сны плоские, одномерные, хоть бы один с другой комнатой. Утром можно их протоколировать, инвентаризировать, точно казарму какую-нибудь. Одним словом, не сны, а говно.

— Так стоило ли все это затевать? — встряла в мой рассказ Ольга.

— Хуже всего стало, когда пришел успех, а с ним и деньги. Тебе этого не понять, да и я не понимал, пока не испытал на себе. Те, кто тебя любил до твоего успеха, после успеха тебя любить не будут. Славы и успеха люди не прощают. И эти люди тебя оттолкнут. А ты, хочешь — не хочешь, их тоже возненавидишь и оттолкнешь от себя тех, с кем когда-то дружил. Они для тебя умрут. Ты повернешься совсем к другим, кого ты узнал и кто с тобой познакомился лишь после твоего успеха. Они-то и станут твоей родней, твоими друзьями. Но разговением поста не возместить. Мне от всего от этого проку мало. У тебя хоть есть дети и внуки. Знаю, знаю, ты скажешь, что внуки твои несчастны, но мне-то куда податься, одинокому, как тропинка в лесу?.. Ну, вот мы и подошли к цели моего визита. Я подумал: мне не было дано счастья в потомстве, зато у тебя оно есть. Хоть половина желания исполнилась, если не все целиком. Я решил тебя разыскать и, вот, видишь, нашел. Как говорится, встречаются по одежке, а по уму провозжают. Нам с тобой друг перед другом притворяться нечего. Уж мы-то с тобой друг друга знаем, как облупленные.

— Знаем, знаем, — подтвердила Ольга, начиная не глядя, вслепую собирать рюмки слева от себя, не спуская с меня взгляда, клейкого, как плесень, что хватает сразу все, на что попадает.

— Вот видишь, — продолжал я, — тогда перейдем к делу. Я хочу усыновить некоторых твоих потомков, собственно говоря, всех, сколько их есть и будет...

Тут Ольга бросается в мои объятия и целует меня губами, из которых верхняя пахнет хлебом, а нижняя — пробкой.

Сквозь этот поцелуй я вспоминал ее губы двадцатипятилетней давности, те поцелуи через ее волосы. Я вдруг почувствовал себя слабым и одиноким, я увидел на небе все семь звезд созвездия Плеяд, как семь дней недели, и мысли у меня разбежались, как облака в речке. Я почувствовал в себе ночь ночей моих, почувствовал, который в ней пробил час, и сказал:

— Ольга! Корова ты эдакая! Я ведь не к тебе сватаюсь. Я хочу купить твоих правнуков. Хочу тебе заплатить, сколько они стоят, и переписать их на мое имя.

Она на меня взглянула, быстрым жестом, точно муху поймала, вырвала волосок из брови, и только тогда удивилась.

— Что ты сказал? Правнуков купить?

— Да.

— А зачем тебе правнуки?

— Так ведь я тебе сказал, одинок я, как нос на лице, нужна мне на старости лет опора и радость...

— Да что ты мелешь, сам подумай, правнуков-то и я не дождусь, не то что ты...

— Ну, не хочешь правнуков, продай белых пчел.

— Да как же это, батюшка мой, можно продавать душу человеческую, да еще и нерожденную? Ты в своем ли уме? Ведь у них еще и души-то нет! Знаешь, у тебя сила с умом не вровень, гораздо меньше, ты и десятую часть не осуществишь из того, что задумал, а что ты задумал, Бог один ведает. Как же я продам свою плоть и кровь, будь они тебе хоть сто раз нужны? Да еще мужского пола? И речи быть не может. Не продается.

— Ну, если тебе претит мысль их продавать, представь, что я хочу их усыновить, и дело с концом. И им будет лучше, и тебе. Я приму на себя все расходы по их содержанию. Всю эту сумму я тебе сейчас же плачу наличными. Потом они будут по частям выплачивать, а не ты. Что тут неясно?

— Боже мой, Афанасий, да где ты сегодня обедал? Уж не у того ли разбойника, что держит трактир «Три скамейки»? Он рыбу заворачивает и выжимает, как

рубашку, пока из нее весь запах не выветрится. А потом так получается, что кто поел, через семь дней эту рыбу вспоминает. Пока и из него этот дух не выйдет... А ты сам-то рыбной ловлей не увлекаешься? Тут окуни отличные водятся. Их ловят на живых кузнечиков, замоченных в ракию... Рыба клюет как бешеная.

Пока Ольга все это говорила, моя собственная меховая шапка смотрела на меня с углового столика сквозь полутьму, как кошка. Я вздрогнул то ли от этого взгляда, то ли от чего другого. Мне пришло в голову, что человек во сне так же плохо помнит реальное, как и сны свои наяву вспомнить не может. И я ответил ей, точно ничего не слышал ни о рыбе, ни о кузнечиках:

— Верно ты говоришь, зачем они мне и что я с ними буду делать? Я могу взять и все остальное, что к ним прилагается.

— К кому? — снова остолбенела Ольга.

— К правнукам, — отвечал я.

— А что прилагается к правнукам?

— Да этот дом и участок при нем.

— А я? — сказала она. — Меня, значит, побоку? — Она задумчиво взяла стакан и полила цветы с ладони.

— Ты не помешаешь. Совсем нет. Я куплю дом при том условии, что и дом, и земля станут моими только лет через двести. А деньги дам сразу. Покуда же земли не возьму ни клочка, ни сколько портной на костюм берет.

— Ничего я не понимаю. Ты меня пугаешь. Никогда у нас с тобой таких разговоров не было. Зачем тебе мой дом через двести лет?

— Как зачем? Чтобы у правнуков крыша над головой была, простор, чтоб побегать и свежего воздуха надышаться. Мне же самому ничего не надо, только кусочек земли для могилы. Ну что тут странного, если человек выбирает место, где его похоронят?.. Ну, не хочешь, так я к твоим сестрам пойду. На тебе свет клином не сошелся!

С этими словами я взялся за свою шапку.

— Смотри, как бы она тебе котят не принесла, — бросила Ольга сквозь смех, не сводя глаз с шапки. В дверях я почувствовал, как она вдруг подкралась ко мне сзади, прижалась грудью к моей спине и шепнула в ухо через волосы, свои и мои:

— А правнучек тебе не надо? Женского пола потомков не хочешь? Отдам за полцены... Вот, ты приехал Восток покупать, а арабы Запад торгуют. Отдам тебе внучек, потому что ты с Запада. Уж лучше тебе, чем арабам.

Тут я ощутил, как ее груди перекатываются вправо-влево по моей спине и почувствовал, что они прохладные. И услышал, как птицы вяжут своими головами бесконечные чулки и тысячпалье перчатки там, наверху, под небом, опустившимся на землю вместе с темнотой. Мысли мои вновь разбежались, и остался чистый прозрачный озноб, через который не пробивалось ничего, даже звезды.

— За полцены? — переспросил я и вернулся в комнату.

По горизонтали 2

3 по вертикали

Второй кондуит архитектора Разина, находящийся в нашем распоряжении, содержит несколько меньше сведений, нежели предыдущий. На первой странице бросается в глаза следующее примечание хозяина сих записных книжек: «Броз курит гаванские сигары и пьет виски марки «Chivas Regal» двадцатипятилетней выдержки. Своим гостям обычно предлагает вина урожая того года, который совпадает с годом их рождения».

Пейзаж, нарисованный чаем на обложке этой тетради, представляет зрителю обзор несколько шире, чем в других Разинских записных книжках. Это — картина морского берега с множеством прилегающих островов и облаков, пла-

вающих в небе, словно челны; в одном из уголков морской пучины, точно закрытая в тесной комнате, бушует небольшая буря. Сохранилась кисть, которой рисовался этот пейзаж. На ней обозначено, что длинная кисть изготовлена из волос Витачи Милут, по мужу Разиной.

Для изображения моря использовано с десяток сортов чая. С первого взгляда можно различить китайский черный чай, положенный весьма густым слоем; сильно разведенный «Эрл грей»; настой чернильной травки, использованный остывшим или, возможно, до заварки, лишь замоченным в минеральной воде; зеленый матовый, нанесенный обильно и обозначивший игру морской воды; другие же сорта, как, например, бурый фруктовый чай «тропанас» и чай из крашеного листа «зимние сны», разлитые деревянной ложечкой, послужили основой рисунка. Острова и материк изображены золотистым непальским чаем, с добавлением сорта «Надежды Маргариты» и темно-красного сорта «Пина Колада». Небо несло в себе краски «бенджа» — чая из гашиша, смешанного с сортом «самба па», с добавлением драгоценного русского белого чая, которым приводят в бешенство охотничьих собак. Подбрюсье облаков было подчеркнуто китайской чайной пылью, а весь приморский пейзаж с островами был схвачен точно на лету с большой быстротой, так что краски, вернее, сорта чая, казались как бы слегка стертными, чуть сдвинутыми в одну сторону кисточкой из хвоста китайской выдры. Под картинкой было обозначено:

**БРИОНИ
ЛЕТНЯЯ РЕЗИДЕНЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА СФРЮ
ИОСИПА БРОЗ ТИТО**

Затем, на одной из первых страниц, была географическая карта брионского архипелага и снимок его с самолета. Далее следовало краткое описание Брион, выполненное, как сообщает архитектор Разин, согласно энциклопедии. При этом ясно, что владелец тетради вносил иногда свои примечания и дополнения.

«...Брионский архипелаг — группа островов (два острова и двенадцать островков), расположенных в Адриатическом море перед западным берегом Истрии. От моря они отделены Фажанским каналом. Острова находятся на расстоянии шести с половиной километров от города Пула. Самый большой остров называется Вели Бриун («Большой Брион»). Почва сложена из известняка светлого оттенка, пористого и хорошо обтесываемого, покрытого слоем жирной красной глины, поддающейся обжигу и могущей служить для окраски.

Колебания температуры незначительные, средняя температура 5,8° зимой, 12,5 весной, 22,8 летом и 14,8 осенью. Растительность обильная, воздух влажный, травяной покров, как правило, зеленый. Брионские острова были заселены человеком еще за 2000 лет до рождения Христа. На них имеются архитектурные памятники античной эпохи: дворец с террасами в заливе Вериге и акведук. Существует легенда, согласно которой доисторический брионский человек именно здесь открыл существование завтрашнего дня, дотоле неизвестного его предкам. В течение последующих веков на Брионах создан ряд храмов и церковных построек, а именно: византийский каstrум в заливе Добрика, базилика в заливе Госпа, бенедиктинский монастырь, где сохранилась мозаика VI—VII веков; в средние века здесь построены башня с наблюдательной вышкой, замок, храмы святого Германа, святого Рока и святого Антона. Экономика острова связана с соляными копиями, виноградарством и разведением маслин; позже развиваются скотоводство и земледелие. В 1893 году промышленник П. Купельвизер приобрел Брионские острова. Здесь он закуривал свои вчерашние недокурные трубки и пил из них горький дым вместо утреннего кофе. Понеся большие расходы (часть из них была от него скрыта), он провел, при помощи известнейшего бактериолога Р. Коха, оздоровление природной среды островов и выстроил на них просторные, по тем временам роскошные отели. Подле купальни на берегу был устроен крытый бассейн с подогретой морской водой, в которую пустили раков, чтобы видно было, что вода чистая. На большом острове имеются также ипподром, площадка для игры в гольф и теннисный корт. По водопроводу дли-

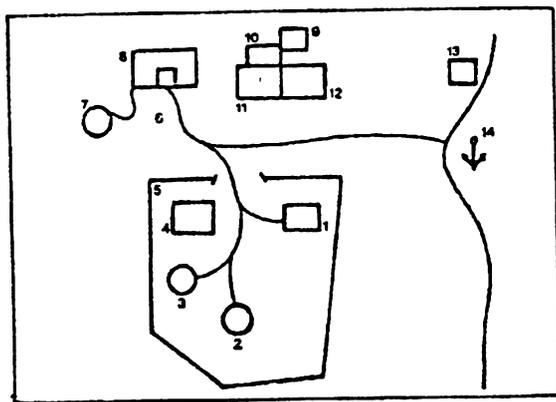
ной в двадцать километров, проложенному по дну Фажанского канала, с материка подается питьевая вода. Все эти сооружения в конце второй мировой войны были разбомблены, но после войны восстановлены.

*

На свободных листках, оставшихся в середине тетради, Разин собственноручно записал рассказ «Голубая мечеть», начинающийся словами: «Однажды вечером в Стамбуле, незадолго до вечернего намаза...» Рассказ был сочинен им вместе с одной из женщин, любимых им в молодости, когда он снова с ней встретился после долгого перерыва. Этот рассказ (как и прочие, встретившиеся в тетрадях Разина) в «Памятный альбом» включен отдельно, и мы к нему здесь возвращаться не будем.

Вслед за рассказом о голубой мечети в тетрадь внесен подробный план с множеством различных построек (по горизонтали и в разрезе) вместе с данными о том, из каких материалов они построены. Бросается в глаза, что Разин уделил особое внимание путям сообщения и подъездным путям. Внимательнейшим образом зафиксированы и живые изгороди вокруг упоминаемых зданий. Особо приложено подробное описание:

(см. чертеж):



1. Хозяйственная постройка
2. Новый погреб
3. Старый погреб
4. Терраса с беседкой
5. Виноградник
6. Мандариновый сад
7. Фонтан
8. Домик для работы и отдыха (Македонский салон)
9. Кухня.
10. Словенский салон
11. Рыбацкий салон
12. Индонезийский салон
13. Бюст Нептуна
14. Залив.

Внизу архитектор Разин приписал:

ЗИМНЯЯ РЕЗИДЕНЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА СФРЮ ЮГОСЛАВИИ ИОСИПА БРОЗ ТИТО, МАРШАЛА ЮГОСЛАВИИ И ВОЖДЯ ПАРТИЗАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ В ГОДЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ, РАСПОЛОЖЕННАЯ НА БРИОНСКОМ АРХИПЕЛАГЕ, НА ОСТРОВЕ ВАНГА.

(NB: После того, как на островах Ванга и Большой Брион разместилась резиденция И. Б. Тито, все постройки на этих островах отреставрированы, в помещениях замка и сторожевой башни устроен музей, проведены новые дороги, обновлены портовые сооружения, а на Большом Брионе в 1978 году разбит парксавари с большим количеством разнообразных видов растений и животных, которые содержатся в условиях, близких к естественным).

*

Затем мы обнаруживаем в тетради пять-шесть пустых страниц, вслед за которыми вклеены несколько кроссвордов из немецких газет и следующий текст:

«Человек, который выдумал ноль»

Человек, который выдумал ноль, много лет спустя пришел на тот самый рынок, где он любил сидеть и размышлять, прежде чем он выдумал ноль. Здесь он когда-то сиживал, думая о том, что наша жизнь есть не что иное, как разгадывание неизвестных нам законов и претворение их в жизнь. Он размышлял об этом, сидя на камне, находившемся близ свалки, ибо когда бы он ни пришел, все прочие места на рыночной площади были заняты. Особенно привлекала его внимание каменная скамейка, с которой открывался прекрасный вид, но присесть он не мог, ибо она всегда оказывалась занятой. Вечно на ней уже кто-нибудь сидел. Так он и выдумал ноль, сидя на камне на краю свалки.

Теперь, когда он вернулся много лет спустя на то место, где он выдумал ноль, была зима, и все сиденья на площади были свободны. Он мог выбирать любое. Но он пришел не для того, чтобы выдумать ноль, потому что ноль он уже выдумал много лет тому назад, но для того, чтобы снова сесть на то место, где он выдумал ноль, и припомнить, как он выдумал ноль. И он направился опять прямохонько к своему камню на краю свалки. Это место близ свалки было теперь навсегда закреплено за ним, и он больше не мог выбирать.

С улыбкой, похожей на птицу, вынужденную перелетать через реки, он пошел к камню на краю свалки, к своему камню, но не остановился. Он прошел дальше и, наконец, развалился на красивой каменной скамейке, с которой открывался прекрасный вид.

— Нассать мне на того, кто выдумал ноль, — заключил он, усаживаясь поудобнее.

2 по вертикали

Когда меня попросили предоставить данные о происхождении, характере и о юных годах моего сына, архитектора Афанасия Разина, я почувствовала себя и польщенной, и уязвленной в одно и то же время. Мне припомнились клавиши пианино, залитые вином и воском и обсыпанные табаком, ибо Афанасий любил играть при свете свечей. Иногда он играл, вывернув руки, перстнями, а не кончиками пальцев. Отца Афанасия, моего первого мужа, я припоминаю, с трудом. Передо мной все еще стоят его русские глаза, туманные и отдающие перламутром, как раскрытая раковина. Остального я не помню. Некоторые из тех давних дней для меня ничуть не яснее недавнего сна. Попытаюсь все же припомнить.

Всю жизнь я перед дорогой выбрасывала ложки — все, сколько есть. Чтоб они меня, как говорится, не пережили. Расскажу сначала, как я выбросила свою первую ложку. Девочкой жила я в Панчево, на берегу речки Тамиш, у озера, где водилось множество рыбы. У моей семьи был домик из трех комнат, и мы принимали прохожих на ночлег. В те времена Панчево, местечко на среднем Дунае недалеко от Белграда, находилось еще на южной границе Австрийской империи. Так что народу в нем всегда толклось предостаточно, да и ночлега многие искали. Наденет человек на голову половинку арбуза, переплывет тайком Дунай с сербской стороны на австрийскую и пожалует к нам переночевать. Однажды вечером, в страшную непогоду и дождь, явился к нам один незнакомец с каким-то большим свертком, насквозь промокшим. Прохожий все жаловался с сильным русским акцентом.

— Все мы заперты в двенадцать месяцев, как в двенадцать комнат с крепкими стенами, и выхода у нас нет, как только из комнаты в комнату. А ведь есть, поверьте мне, дворцы куда красивее, через которые нам никогда не суждено пройти, не говоря уже о лесах, что растут вокруг тех дворцов, да о райских куцах...

Утром, уходя, он оставил нам сверток.

— Непогода такая, что и волк заплачет, прежде чем тебя сожрать, — проговорил он, расставаясь с нами, — пусть эта вещь полежит у вас до лучших времен. Если через год не приду, значит, останется у вас, что бы там ни было. — С тем и ушел.

Развернули мы сверток, а там — портрет. Повесили мы его рядом с нашей семейной святой Параскевой Пятницей, да и забыли про этот эпизод. Два года спустя опять прохожий человек переночевать просится: мол, единственная в Панчево гостиница, «У трубача», закрыта. Тоже русский, но из благородных. С бородой, а сапоги под столом скрипят, точно азбуку наизусть повторяют или сердятся на хозяина. Он сидит, чай попивает, а сам глаз не сводит с портрета. Карманы у него по углам разодраны, видно, что собак держит, они к нему ласкаются и скребут когтями по одежде, да и в руках — хлыст. Звали его Толстой. Он хотел переночевать в конюшне, с лошадьми, но мы не позволили, уж очень холодно было. Он улыбнулся и лег, где ему указали. А утром спросил про портрет, откуда он у нас. Рассказали мы ему, а он снова — все про портрет да про портрет.

— Знаете ли вы, — спрашивает он мою мать, — кто изображен на портрете?

— Бог с тобой, господин, как же мне не знать? — отрезала она. — Зачем пристаешь с пустыми расспросами?

Тут он вдруг и спрашивает:

— А не продадите ли вы мне, матушка, эту картинку?

— Да что ты, что ты, это не продается, — стала моя мама снова увещевать этого Толстого, но ему, видно, прямо загорелось.

— Да я, — говорит, вам за него дам золотой дукат!

— Да уж ладно, — вдруг передумала мать, — если даешь, то давай и бери. Это же не наш святой, можно и продать.

Гость и вправду достал золотой из голенища сапога, который печально закрипел, бросил его на стол и давай портрет заворачивать в какую-то рубашку. Потом снова не выдержал. Пока мы вокруг портрета хлопотали, он и спрашивает еще раз:

— А вы, правда, не знаете, кто изображен на портрете?

Мать отмахнулась и стала завязывать рукава рубашки вокруг свертка. Тут он и говорит:

— На портрете этом нарисован известный русский писатель, граф Лев Николаевич Толстой. Мой дед.

— Что же ты болтаешь, чтоб тебе повылазило! — вскинулась мать. — Николай угодник, что ли, тебе дед? С каких это пор у святых угодников такие, как ты, наследнички появились?

Плюнула она на его дукат и швырнула ему обратно.

— Возьми свои деньги поганые, не нужны они мне! — повернулась к нему спиной и давай картинку разворачивать. — Господи, кого только к нам не приносит, Николай угодник ему, видишь ли, дедушка!

Тут прохожий понял, что не с того конца взялся за дело и ну перед ней извиняться:

— Да я, — говорит, — наверное, что-нибудь перепутал, обознался, — говорит, — от усталости померещилось, — и три раза перекрестился на своего деда Льва Николаевича Толстого, который был изображен на портрете собственной персоной. С трудом он уговорил маму взять обратно золотой и снова завернуть «икону», чтобы ее удобнее было везти.

Смотрела я, как граф Толстой уходит от нас, и думала, что прав не тот, кто знает истину, а тот, кто убежден, что его ложь — правда. Это убеждение я сохранила на всю свою жизнь. А рассказываю я все это к тому, что третий русский, постучавшийся в наш дом, вместо дуката оставил в нем свою жену, а вместо иконы увез с собой меня. В то время я уже начала читать «Анну Каренину» и научилась гадать на картах.

Выбросила я свою единственную оловянную ложку, собрала карты и поехала в Россию. Когда же из Москвы уезжала обратно домой, неся под сердцем Афанасия, мне пришлось выбросить двенадцать серебряных ложек. Из России я привезла одни только железные сани, похожие на постель со скамеечкой. Сани были пробиты пулей — во время какой-то попойки дед Афанасия палил из ружья куда попало. На санях-кровати была нарисована церковь с голубым куполом в золотых звездах, словно небо, увиденное снаружи, а не изнутри, с Земли. Запрягли в эту кровать кобылу и привезли меня с Украины прямо домой.

В этой кровати Афанасий спал мальчиком. Каждый вечер он ждал, пока я приду его причесать перед сном. Не мог заснуть, пока его не причешут. Намочу ему, бывало, голову и начну точно тесто месить. Потом проведу гребешком по волосам, как ножом по хлебу, пробор сделаю. Наконец поцелую его, раздую огонь в печке и скажу, что к завтрашнему утру волосы подойдут, как тесто для оладьев...

Когда мой сын попрос, выяснилось, что он обладает особым пристрастием к изысканным вещам. Он отличал по звону серебряную вилку от простой металлической и хрусталь от стекла, любил породистых животных, хорошо построенные дома и, наверное, красивых женщин. Но тут надо сделать одну оговорку.

Вот, например, мой второй муж, майор Коста Свиляр, обладал таким голосом, что ни по морю переплыть, ни по берегу обежать. Такой же точно был у него глаз на женщин. Красивых замечал на расстоянии пушечного выстрела. Я всегда знала, что он кого-нибудь завел. Он, идя на свидание, приказывал музыкантам ждать его в какой-нибудь корчме. Возвращаясь от любовницы, он заходил за музыкантами и приводил их под окно ко мне, к своей жене. Меня же он так ревновал, что я о первом своем муже не смела даже упомянуть. Мой сын Афанасий был совсем другим. Оба моих мужа любили поесть, выпить, любили рестораны и театры. Разин, отец Афанасия, говаривал, что вино можно почувствовать прежде, чем его выпьешь, а мясо — только когда укусишь. Женщин он делил на тех, которых вкушают на расстоянии, как вино, и на тех, кого пробуют, как дичь. Афанасий же в рестораны отроду не заглядывал, а театр вообще не выносил. Когда я это поняла, я стала бояться, как бы он меня не осрамил.

Одену я его в новый костюмчик, потяну за нос, как полагается в таких случаях, и веду на спектакль. А он мне, как сейчас помню, говорит: «Мама, неужели ты веришь в то, что они произносят со сцены?» Я отвечаю, что, мол, не тот прав, кто знает истину, но тот, кто свою ложь считает за правду. И рассказываю ему историю о Толстом и об иконе Николая угодника.

А он — свое: «Не верю я в то, что они со сцены болтают. Театр не для таких, как я, придуман, а для других людей».

У него и позже бывало странное ощущение, что некоторые явления словно враждебны не только ему, но и всем его ровесникам, вместе взятым. Он говорил об этом словами, которые принес из Святогорского монастыря, что на Афоне, мол, театр — принадлежность мира общежителеев, тут отшельникам делать нечего...

Понять не могу, как он, не любя ни музыку, ни театр, мог влюбиться в Витачу Милут, которая жила ради пения и с которой он, кажется, и познакомился — в опере. И вообще он был странный: если голодный — убить может, а когда сыт — делай с ним, что хочешь, хоть меси, как тесто... Есть такие реки, которые у истоков проявляются водопадом. Вместо воды видно лишь облако и пену над ним. Это облако некоторое время плывет над пустым руслом и только потом ложится в свои берега и принимает нормальное течение. Таков был Афанасий. Такова была и его любовь к Витаче. Но даже когда он вошел в свое русло, когда женился на Витаче, а жизнь его в Америке приняла стремительный оборот, я все еще боялась, как бы он меня ненароком не опозорил...

В семейной жизни он не был счастлив. Вы можете спросить, почему я так долго не говорила ему, что его настоящий отец — русский, Федор Алексеевич Разин. Да потому, что Афанасий все равно провел все свое детство без отца, вернее, без отчима, который его усыновил, ибо второй мой муж, майор Коста Свиляр, без вести пропал на фронте в 1941 году. Не все ли равно, без кого рос Афанасий, без отца или без отчима, который его усыновил? Так же точно можно спросить, без чего легче голодать — без хлеба или без кукурузной лепешки? Брак его с первой женой не был счастливым: Афанасий обладал редким и необычным даром (или же недостатком) всю жизнь любить одну единственную женщину — Витачу Милут, и никого больше. Я этого никогда не могла понять. Это все равно, что быть художником, у которого достанет таланта только на одну картину. Существуют особые люди, с глубоким карманом забвения. Но из всех известных мне людей самым забывчивым был мой сын. Афанасий на своем веку забыл боль-

ше, чем кто-либо другой. Сила забвения у него была титаническая. А вот Витачу он забыть не мог. Впрочем, я всегда считала большой несправедливостью то, что Витаче и мне довелось жить в одно и то же время. А то, что нам пришлось познакомиться, было просто потрясением для нас обеих. Разумеется, она была очень красивой женщиной, да и сегодня такой остается. У нее ложбинка вдоль спины такая глубокая, что капля пота может сойти до самого зада, не замочив ни платяя, ни пояса. Она была странная по натуре. Ей не хватало начальной школы жизни — школы учтивости по отношению к самой себе. Но зато она напоминала драгоценные душистые масла, которые прожигают насквозь все, на что попадают. Кроме того, у нее, как у всех мудрых женщин, было донельзя глу-
пое лоно.

Афанасий был еще несовершеннолетним, еще толком не знал, что бог человека в пятницу сотворил, когда пришел и объявил, что хочет жениться. Причем на девушке старше себя. Я сразу поняла, в чем дело, он уже пропитался ее запахом.

— На ком это? — спрашиваю, а сама внутренне трепещу.

— На Витаче, — ответил он, и я поняла, что трепетала не зря.

— Ну, — думаю, — сейчас ты у меня вместо титьки фигу получишь! Хватаю я быстренько тайком колоду карт, прячу в рукав пятого валета, а сама говорю:

— Знаете, Атанас, ведь одна ее ночь — что иному десять. Давайте вот как поступим. Вы еще молоды. На расстоянии пушечного выстрела никто и ни за какие деньги не определит, есть у вас усы или нет. Даже ваша обожаемая Витача. Если вы на ней женитесь, — а она старше вас, да с придурью, да еще и косноязычная, — вам придется содержать не только ее, но еще и ораву восьмилетних любовников. Придется вам по утрам вытряхивать из своей кровати семерых мальчишек, одного за другим, как созвездие Плеяд. Я вам в таком деле не помощник. Поэтому, если можете выбирать, выбирайте. Или она, или я! Если выбор вам не под силу, давайте сыграем в карты. Выиграю я — вы не женитесь, а выиграете вы — поступайте, как знаете!

Он задумался. Вижу я, что дьявол его оседлал и не на шутку, всю ночь на нем скачет. Ну, что мне с ним делать? Человека родить — все равно что оскотить, — думаю, а сама говорю:

— Да, так я и предчувствовала, что вы меня осрамите.

Тогда он принес карты. А я о картах знаю все. Дед мой был игроком и меня, свою внучку, и брата моего проиграл еще нерожденными. Играю я с ним, держу в рукаве этого бубнового валета, а сама все пытаюсь улучшить момент и его подбросить. Выиграла двух валетов, подбросила потихоньку своего третьего и выложила их. А он выкинул три двойки — и проиграл Витачу.

Некоторое время он на меня смотрел пристально, я просто чувствовала, как два его тощих взгляда по мне шарят, точно у него в утробе прошлое в будущее преворачивается: ведь будущее всегда из толстой кишки выходит. А потом и говорит:

— Что-то не так. Давайте карты пересчитаем.

Я обомлела, но деваться некуда.

— Хотите пересчитать — считайте, — говорю. Он пересчитал и, к великому моему удивлению, карт получилось ровно столько, сколько должно быть, и мой пятый валет проплыл себе, прижав крылышки, как чайка по дождливому небу. Как это могло получиться, — думаю, ломаю себе голову. Он ушел, сказав, что жениться не будет, я схватила карты, начала считать и поразилась. Одной трефовой двойки не хватило, потому и получилось карт вместе с моим валетом ровно столько, сколько надо.

После этого Афанасий долго не решался подступить к Витаче. И он, и она вступили в брак, вернее сказать, каждый из них взвалил на себя свой крест, у обоих были дети — у нее две дочери, а у него один сын, да еще и чужой. И тут ему, уже в зрелые годы, стукнуло в голову поехать в Грецию, кажется, на Святую гору. И там, наверное, от целебных подушечек, что набиты душистыми травами, его вдруг осенило, что мой второй муж, Коста Свиляр, не родной его отец, а Никола Свиляр — не его родной сын. И он уехал куда глаза глядят. Из дома он взял

одну только семейную икону «Иоанн Предтеча бреет свою отрубленную голову». А мне он стал писать из этой своей новой жизни, умоляя рассказать, как звали моего спутника в России, его настоящего отца. И я ему отвечала.

— Вы хотели найти своего отца? — писала я ему. — Вы даже в Греции, у святых отцов его искали... Ну, так я вам дала начала скажу, кто вашим отцом не был. Уж конечно, вашим отцом не был Коста Свиляр, Офицер Офицерович, которому ничего не стоило мочиться на полном скаку, не слезая с коня. Но уж лучше бы он был вашим отцом. У того же, кто вас на свет произвел, были очень красивые волосы, но зато под ними — уши всмятку. Он пел в хоре со ста двадцатью донскими казаками. Каждый из них держал в руке фальшивое зеркало, собственно, рамку от зеркала, и через эти дырки они орали в белый свет, как в копеечку. Выпив водку, он надевал рюмку на язык и держал ее языком. Настоящим же его призванием был чай. Он даже разрисовывал чаем матрешек и деревянные ложки. По правде вам признаюсь, чего я только не делала, чтобы его дитя не появилось на свет. Даже бочонок сливовицы по животу катала. Но все же вы родились.

Итак, вы хотели заполучить отца. Вот вам ваш отец. Теперь он у вас есть. Вся история о Разине, со всеми его собаками и ошибками, не стоит шлепка ладони по голенищу... Но вам нечего опасаться, не вы были главной ошибкой вашего отца. Не так уж много он ради вас потрудился. А вот ради самой большой своей ошибки ваш отец проехал тысячи верст и расчистил километры снега, он годами путешествовал, пока не пришел к самой известной своей ошибке, математической. И все же, при всех его недостатках, он никогда не был таким губошлепом, как вы. Узнай он, например, о моей смерти, он бы и глазом не моргнул. Похоронил бы во дворе рядом с любимой лошастью, и баста. Не то что вы — всею жизнь одной дурью маетесь...

Но Афанасий полагал иначе. Ему казалось, что каждый вечер, лишь только стемнеет, он ненадолго превращается в своего отца. И он хотел знать, как эти десять вечерних секунд называются днем. Он говорил мне: «Раньше у меня не было потребности иметь отца. Он не был моим Учителем. А теперь стал». Афанасий взял фамилию своего отца вместо фамилии Свиляр, под которой закончил школу. Он взял фамилию Федора Алексеевича Разина и носит ее по сей день.

И только тогда у него достало сил снова подступить к Витаче. Он увез ее в далекие края, и там они повенчались. Отношение Витачи к Афанасию никогда не было мне до конца ясно. Сестра ее Вида сохранила несколько писем, из которых понятно, что Витача относилась к моему сыну, то есть к своему второму мужу, по меньшей мере странно. То, что люди называют большой любовью (а судя по всему, у них была большая любовь) никогда не делится поровну: тут всегда один намыливает, а другой бреет. Если вам не понятно, что я имею в виду, я поясню свою мысль старинной притчей.

Один священник заклинал свою жену никогда без него не есть, потому что она может превратиться в волка. Он же ей обещал без нее никогда не пить, а не то в козу превратится. Через некоторое время, когда мужа не было дома, заглянула она в его священные книги. Пока читала, забылась, съела капустный лист и превратилась в волка. Приходит священник домой, а навстречу ему волк. Он, конечно, не догадался, что это его жена. Начали они бороться, и священник ухватил волка зубами за ухо. Брызнула кровь, он, как только ее глотнул, превратился в козу, волк его и растерзал. Вот вам и равноправие. Сильный всегда становится слабее.

Так и с Афанасием случилось в его браке с Витачей. Доказательством может служить одно место из ее письма к нему:

— Где-то на берегах южного моря, там, где звезды дальше всего отстоят от своих отражений в воде, пассажиры одного корабля съели гигантскую черепаху. Через пятьсот лет приплыл на тот же берег одинокий моряк, нашел он панцирь и устроился в нем на ночлег. Утром, выспавшись, он просунул руки, ноги и голову в отверстия панциря и, забавляя себя самого, заковылял к морю. Пятьсот лет спустя в черепащем панцире снова стали отдаваться удары живого сердца, он снова поплыл по морю. Так отдается во мне твое сердце.



Что касается деловых операций моего сына, архитектора Разина, то и здесь, как я уже говорила, меня постоянно преследовал страх, что он меня осрамит.

— Господи, — удивлялись обычно мои приятельницы, — как ты можешь бояться, что твой сын тебя опозорит? Он такой красивый, движется стремительно, как святой дух на фресках, завтракает с главами государств; умница, во рту у него словно два языка друг друга облизывают; финансирует и коммунистов, и капиталистов; старые свои тропы сумел забыть навек и не желает к ним возвращаться! Что тебе всякая чушь в голову лезет?

Но я-то знаю, у меня есть свои причины опасаться. Афанасий ведь никогда не был особенно серьезным. Он сам говорит, что неверно представлял себе Америку. По его мнению, можно, несмотря на самые точные расчеты, потерять из вида целый континент, а неправильными расчетами можно и Солнце открыть. Не знаю, что он имел в виду под солнцем. Приведу, однако, пример. В нашей белградской квартире было красивое старинное бюро, все в полированном стекле с позолоченными рамками, со множеством ящичков. У ящичков вместо обычных металлических колец были маленькие стеклянные ручки. В одном из ящичков Афанасий хранил деньги. Как-то раз он хотел взять деньги, просунул руку внутрь ящика и наткнулся на гвоздь. Пошла кровь, палец пришлось завязать. Много лет спустя, в Америке, когда у него набралось столько наличности, что ему потребовались услуги банка, Афанасий отправился искать для себя подходящий банк в Сан-Франциско. Знаете, что он сделал? Он случайно заметил здание, очень похожее на наш шкафчик с его стеклами, золочеными рамами и множеством ящичков, в которых мы когда-то держали свои скромные сбережения. Оказалось, что это банк. Афанасий вошел в просторный вестибюль и поднял глаза. Там был для украшения подвешен самолет в натуральную величину. Но Афанасий не обратил никакого внимания на сверкающую модель. Он смотрел в левый угол вестибюля, на то место, где, примерно, в ящике нашего бюро должен был находиться уколотивший его гвоздь. И действительно, на этом месте торчало копьё с флагом. На кончике его виднелись черные пятна, похожие на запекшуюся кровь.

И представьте себе, Афанасий выбрал именно этот банк, поручил ему все свои дела и по сей день пользуется его услугами.

От своего русского отца, Федора Алексеевича Разина, Афанасий унаследовал стремительность, а от меня — склонность к красивым вещам. Между тем, эти свойства в нем не смешивались, и он замирал, совершенно четко различая под сердцем отца и мать. Он ведь изучал архитектуру, и поэтому, когда он подался в чужие края, все ожидали, что он начнет там совершенствоваться в своей профессии, строить все подряд, по меньшей мере достроит Вавилонскую башню и воздвигнет легендарный город Скадар на реке Бояне, даже если в фундамент придется заложить живое существо. Черта с два! Он им всем нос утер, да еще усами ноздри пощекотал.

Я-то знала, что дело приняло иной оборот не с бухты-барухты. Еще будучи студентом, Афанасий, кроме архитектуры, проявлял интерес к краскам, к технологии их изготовления, к производству лаков и красителей. О палитре красок он знал, насколько мне помнится, все — начиная с очерков Гете о цветах спектра и трактатов по оптике, приложенных к гетевским рассуждениям, до народных поверий о значении цвета и о способах крашения. Он раздобыл «Физику» Афанасия Стойковича* в трех книгах издания 1801 года, где имеется глава о восприятии окрашенных поверхностей человеческим глазом. Он знал, что белый цвет

* Афанасий Стойкович (1773—1832) — сербский писатель и ученый. Доктор философии и естественных наук Геттингенского университета. С 1803 г. — профессор физики в Харьковском университете, член Российской Академии наук. Основное научное сочинение — «Физика» (1801). (Прим. переводчика).

добавляется в красный, что желтая, как бабочка, кудель получается лишь в том случае, если красящий стоит лицом к западу, знал, что раствор для окраски пряжи следует готовить зажмурившись и что перед тем, как опустить пряжу в раствор, надо произнести какую-нибудь ложь, и, если ложь сойдет за правду, то и краска возьмется, ибо всякое крашение есть обман.

От таких пристрастий недалеко до создания фармацевтической фирмы. Афанасий вложил в нее всю свою силу и стремительность. Я уже упоминала о его проворстве: ему ничего не стоило, быстро повернув голову, укусить кончик собственных волос. Начиная с ранней молодости, он работал по шестнадцать часов в день; но в его шестнадцать часов могло поместиться вдвое больше чьих угодно рабочих часов. Поэтому в возрасте после сорока, когда Афанасий в Америке ворочал суммой в сорок миллионов долларов, он считал, что его рабочий стаж исчисляется тоже цифрой сорок. И эта была правда. Он считал один свой рабочий год за два. Он заказал себе особые часы, которые шли только для него, скорее других часов, и добился того, что сегодня никто не может сказать, сколько, собственно, ему лет. Я не в силах описать и объяснить его головокружительные деловые успехи в Калифорнии. Вот один пример, который поможет понять принципы его поведения.

В то время, как основной капитал его калифорнийской фирмы приближался к сумме миллиард долларов и когда его деловой страж (но не возраст) приближался к шестидесяти годам, Афанасий на секунду задержался перед одной высокой, красивой дверью в Лос-Анжелесе. Рука его, вместо того, чтобы нажать дверную ручку, повисла в воздухе, он закрыл глаза и крепко зажмурил веки, как будто собираясь окрашивать ткань в черный цвет. Он давно и хорошо усвоил, что ткань возьмется хорошо, если перед закрытыми глазами возникнет абсолютная чернота. Показались, однако, красные пятна. Афанасий знал, что означают эти красные печати: что хорошего цвета не получится. Он знал, что красное пятно не сможет осветить ни положение вещей, ни возникшую перед ним дверь, но оно проливало свет на другое, на нечто, что помогало ему без блужданий и ушибов пройти мрак — красное пятно светило в будущее. Будущее, вероятно сгущенное в непосредственной близости, но все более разреженное по мере удаления. Итак, стоя перед дверью, он заключил, что будущее, к сожалению, тоже принадлежит истории. Вернее, красное пятно его закрытых глаз освещало единственно лишь крохотную часть беспросветности в мире, принадлежащем истории и ее продолжающему, — эту крохотную часть и больше ни единого уголка тьмы. Все прочее (кроме узенькой полоски будущего, уже скомпрометированного историей и отмеченной красноватыми печатями его крови), отпадало вперед и к делу не относилось. Неисторическая часть будущего была постоянно рядом, под рукой, но она оставалась недоступной — навсегда и, вероятно, была недоступной от века. Ибо мы сами отбрасываем это красное пятно, а не кто-либо другой, наше будущее — это наше дитя, а не чье-либо чужое, это наша, а не чья-либо чужая кровь окрашивает красным предстоящую нам тьму. И все же только это красное пятно вело в будущее, единственное, недоступное, но спасительное царство возможностей. Как назло, именно это единственное будущее было уже заранее запачкано историей.

В таких размышлениях застали Афанасия люди, нашедшие его в то время, как он пытался дотянуться до дверной ручки, находившейся на уровне его подбородка. Два месяца он пролежал в больнице. Там он осознал, что красное пятно перед глазами возникло тогда, когда он оказался на берегу земных кораблей, отплывающих навсегда с могильными крестами вместо мачт. Будущее же лежало перед ним, покрытое водой.

Едва поправившись, он пошел на то же самое место в Лос-Анжелесе, к той самой двери, и на этот раз смог опустить свою тяжелую и проворную ладонь на дверную ручку, поставленную так высоко, что неровен час может выбить зубы. Тогда, именно в этом доме, Афанасия в первый и в последний раз за его деловую карьеру обманули. Но эта неудачная деловая операция стала его самым крупным финансовым выигрышем.

Он должен был позволить себя обмануть, чтобы сегодня стать тем, чем он

стал — господином, обладающим двумя процентами мирового дохода от применения атомной энергии в мирных целях. А было это так.

В то время американская армия предлагала химическим концернам баснословную сделку, вызванную потребностями военных операций в Азии. Американские конкуренты Атанаса, да и он сам, сразу же начали молниеносно действовать, каждый в своих интересах, надеясь ухватить эту невиданную прибыль. Ну, уж там, где надо побыстрее поворачиваться, Афанасий соперников не имел. Я наблюдала его в те дни. Ладони и ногти у него стали прозрачные от пульсации крови, которая окрашивала их в розовый цвет. Он действовал не просто быстро, а с невероятной быстротой. Стремительность называют иногда ангельской. Если это верно, то в те мгновения он был ангелом. И все-таки после этой гонки у него навсегда остался горький привкус. Другие вроде бы и не были намного неповоротливее, во всяком случае, меньше, чем им хотелось казаться. Ясно было, что ему дали победить, хотя он, наверное, победил бы и так. Он получил заказ и вместе с ним виды на миллиардную прибыль. Вспоминая о том времени, он рассказывал:

— Лягу вечером в постель, надену очки и возьму что-нибудь почитать. И вдруг весь похолодею. Ясно чувствую, что на меня кто-то смотрит. Ощущаю на себе чей-то неподвижный взгляд. И вдруг начинаю понимать: это из очков на меня смотрит мой правый глаз, превратившийся в левый.

Заказ он выполнил во-время. Его отравляющие вещества, направленные против растений, оказались такими действенными, что он не посмел опубликовать их подлинную результативность. Он выполнил поставки, яды были использованы во время войны, и он заработал на них больше, чем предполагал. Тогда-то он и перестал считать наличные. Но он все еще опасался, что его соперники вовсе не были так неуклюжи, как хотели казаться. Сколько же им досталось, если я один столько заработал, — спрашивал он. Ответ пришел пятнадцать лет спустя после окончания войны, в которой применялись его отравляющие вещества. Его яды уничтожили все живое на метр под землей, на которую они попали. Но они попали не только в землю, но и в кровь людей. Бывшие солдаты, которые пятнадцать лет назад прошли по голой земле, где до сих пор ничего не растет, стали подавать в суд на фирму Афанасия за нанесение ужасных физических увечий, которые с течением времени не проходили, а проявлялись все больше и больше.

Они требовали значительных денежных компенсаций, и Афанасий выплачивал их, довольно потирая руки, ибо пострадавшие не догадывались потребовать компенсации еще и за три поколения своего будущего потомства. Вот как глубоко проникала его отравка, точно по Библии, где сказано: «Отцы ели терпкие плоды, а у внуков зубы гниют». Афанасий был почти обижен такой недооценкой возможностей своего снадобья.

Как-то раз журналисты спросили его, как он может жить, имея на своей совести столько убитых и изуродованных людей, как он вообще может спокойно спать. Афанасий им коротко ответил:

— Надо просто привыкнуть к себе. Когда привыкнешь, уже гораздо легче.

Тогда я впервые в жизни подумала, что он меня, быть может, и не осрамит. И решила его попытать тем давнишним валетом, что был когда-то спрятан в руке. И говорю ему:

— Ну, дорогой Афанасий, теперь вам не хватает только одной буквы в начале имени (той, что с краешку), чтобы стать настоящим мужчиной.

А он ответил так, как будто заранее знал, что я это скажу:

— Помнишь, мама, как мы с тобой Витачу в карты разыграли?

— Конечно, — говорю.

— Я еще тогда стал мужчиной.

— Мужчиной? Зрелым человеком?! — спрашиваю я с изумлением. Мы сидели в доме Афанасия в Лос-Анжелесе, куда он перевез из Белграда свои любимые вещи. Среди них на почетном месте был миртовый венок моей бабушки, в котором она венчалась. Содержался он в красивой рамке, под стеклом. Я переслала сыну и тот шкафчик, о который он когда-то раскровянил палец. Теперь я

подошла к этому бюро, достала из ящика свою старую сумочку, а из нее — того самого валета.

— Если бы вы тогда были зрелым мужчиной, вы бы догадались, что проиграла Витачу не в покер, а благодаря своей глупости. Вы не заметили, что у меня в рукаве был спрятан пятый валет, которого я по сей день берегу. С его помощью я выиграла.

Тогда он достал свой бумажник и открыл то место, где обычно хранятся фотографии, и показал мне нечто, от чего у меня аж все седые волосы штопором завились, и кровь в жилах застыла. В прозрачной рамке с одной стороны была фотография Витачи, а с другой — трефовая двойка. Та самая, которой не хватало в колоде, когда мы с сыном разыгрывали Витачу Милут. У него явно были все двойки, все четыре, и он бы выиграл и партию, и Витачу, если бы он, заметив, что у меня три валета и что я рискую проиграть, не спрятал свою двойку в карман. Поэтому он и проиграл уже выигранную партию и вместе с нею Витачу. Теперь он носил эту двойку трэф в бумажнике вместо моей фотографии.

Взглянула я на сыночка, а у него голубой волосатый язык и два галстука на шее — один как бы каштановый, а другой лимонного цвета. И вообще я не могла понять, кто это передо мной сидит. Это уже не был тот нескладный парень, что, как говорится, моментально мерзнет, да не скоро укрыться догадывается.

Тогда я его впервые испугалась. И сказала:

— Знаете, сын мой, когда с вами побеседуешь, потом чувствуешь потребность хорошенько умыться.

1 по вертикали

Критики похожи на студентов-медиков: они всегда считают, что писатель страдает той самой болезнью, которую они в данное время изучают. Писатель же всегда болеет одной и той же болезнью: болезнью крестословицы. Скрещивать слова. Умножать их на два. Что такое в сущности книга, как не собрание хорошо скрещенных слов? Существует, однако, и читатель, болеющий той же болезнью. Страстью к кроссвордам. Такой читатель, безусловно, уже приметил, что в этой книге есть три раздела под названием «По горизонтали», и что каждая из глав внутри этих разделов носит название «По вертикали». Это ему сразу напомним кроссворд, и совершенно правильно. Немножко по горизонтали, немножко по вертикали, то имя, то фамилия...

Но, — скажете вы, — ведь первобытный человек, подобно животному, пропускал через свою голову одновременно сотни мыслей и чувств, и только современный человек, отделив мысль от мысли, предпочел одно чувство бесконечному множеству других чувств, непрерывно набегающих на него из мира; он дал этим чувствам порядковые номера и научился различать первые от последних. Зачем же теперь возвращаться назад? Зачем вводить какие-то новые способы чтения книг вместо одного-единственного, который, как жизнь, ведет нас от начала к концу, от рожденья к смерти? Ответ прост: затем, что любой новый способ чтения книги, идущий наперекор течению времени, которое влечет нас к смерти, есть бесплодная, но достойная попытка человека воспротивиться своей неумолимой судьбе, если не в реальности, то хотя бы в литературе. Сегодняшний день подобен огороду — в нем растет все: и растения, которые охотно едят современники, и другие, которые, если не засохнут, станут прекрасной пищей для завтрашних людей, сыновей и внуков сегодня живущих, и третьи, предназначенные для каких-то далеких поколений, которые прополют наш сад, выдернут с корнем все, что мы любим, и будут в нем искать свои волшебные цветки и травы, свой ароматный испоп или разрыв-траву, не особенно заботясь о чувствах садовника. Мы это знаем. К чему тогда читателю становиться чем-то вроде полицейского инспектора, зачем ему все время идти точно по следу своего предшественника? Почему ему не позволить себе время от времени вильнуть в сторону? Не говоря уже о героях и героинях этой книги! Возможно, им тоже иногда хочется показаться не в анфас, а в профиль, с другой стороны, потянуться рукой

в сторону. Уж конечно, им надоело разглядывать читателей подряд, подобно гусиной стае, тянущейся на юг, или ряду скакунов в конском забеге. А может, герои книги захотят выделить кого-либо из этой серой вереницы читателей? Что, если они иногда ставят на кого-то из нас и бьются об заклад? Откуда мы знаем?

Разумеется, этот новый способ отнюдь не обязателен. Он — для тех, кто решится читать не подряд и по горизонтали (то есть так, как течет река), а по вертикали, так, как дождь идет. Такие читатели должны проследить по всем четырем разделам этого Памятного Альбома главы, обозначенные одними и теми же номерами. Точь-в-точь как во всех кроссвордах во всем мире. И не надо бояться такого чтения. При подобном использовании кроссворда он получится ничуть не хуже. И вообще, в хорошем рассказе хороший язык не обязателен. Красивый язык и красивые слова нужны лишь плохим рассказам. Хорошие же притчи сами для себя слова находят и прекрасно ориентируются во всех языках. Речь не об этом. Речь идет, как мы уже говорили, о том, чтобы открыть новый способ чтения, а не новый способ письма. Ибо, если хорошей притче не нужен красивый язык и красивое слово, то ей просто необходим красивый способ чтения, которого пока, к сожалению, еще нет, но будем надеяться, со временем появится... Ибо, подобно тому, как существуют талантливые и неталантливые писатели, существуют точно так же и читатели одаренные и бездарные...

— Кроссворд! Не бог весть какое изобретение, — скажете вы. Разумеется, это так. Но для начала и этого довольно. Пока не привыкнете. Надо иметь в виду, что писатель — все равно что портной. Как портной, выкраивая костюм, стремится скрыть изъяны фигуры своего заказчика, так и писатель, кроя книгу, должен прикрывать недостатки своего читателя. А недостатки эти, как при шитье любого костюма, могут быть и по объему, и по росту.

КАК РЕШАТЬ ЭТУ КНИГУ ПО ВЕРТИКАЛИ

Кто выберет чтение этого романа, или же решение кроссворда, не по горизонтали, а сначала по вертикали, как делают китайцы, то есть следуя сверху вниз, того ожидают преимущества. Он сможет, следуя обозначениям:

«1 ПО ВЕРТИКАЛИ» — прочесть или пропустить все три дополнительные примечания к данному Альбому, из которых второе находится перед его очами, в то время как с первым он уже столкнулся;

«2 ПО ВЕРТИКАЛИ» — через все четыре раздела проследить судьбу главного героя этого Альбома, архитектора Разина;

«3 ПО ВЕРТИКАЛИ» — одним махом разобраться в планах, чертежах и прочем содержимом знаменитых тетрадей архитектора Разина, на обложках которых имеются пейзажи, нарисованные чаем, как и обозначено на обложке этой книги;

«4 ПО ВЕРТИКАЛИ» — проследить во всех подробностях судьбу героини этой книги Витачи Милут;

«5 ПО ВЕРТИКАЛИ» — выделить любовную линию этой книги, ибо Альбом архитектора Разина можно трактовать и как любовный роман;

«6 ПО ВЕРТИКАЛИ» — ознакомиться с судьбой трех сестер, Ольги, Азры и Цецилии, и их приключениями, которые хотя бы до некоторой степени объясняют невероятный, головокружительный взлет деловой карьеры архитектора Разина.

Короче говоря, тот, кто читает этот роман по вертикали, проследит повороты судьбы героев, того же, кто выберет горизонтальные линии, увлекут главным образом хитросплетения сюжета. Но не его развяжут, ибо решение кроссворда никогда не дается в кроссворде, но, как известно, публикуется дополнительно — «в следующем номере».

Возможно, потребителю данного Альбома все это покажется неподходящим и неуместным. Почему это сборник текстов, посвященный знаменитости делового мира, «господину два процента», как по праву именуют архитектора Разина, строится столь несоответственным образом? в виде кроссворда? — Ответ гласит: форма книги продиктована именно уважением к нашему благодетелю и другу

юности, архитектору Разину. Он питал давнюю любовь к кроссвордам. Причем он их не только решал, но и коллекционировал. Его записные книжки полны кроссвордов, вырезанных из самых разных американских, европейских и югославских газет и журналов. Повод для вырезывания всегда был один и тот же: пресс-служба его фирмы посылала ему все кроссворды, содержащие расшифровку псевдонима или имени Витачи Милут, по мужу Разин, а также названия его треста ABC Engineering & Pharmaceuticals или же кроссворды, где разгадчик должен внести первые буквы имени владельца известной фирмы, которые, разумеется, должны гласить А(фанасий) Ф(едорович) Р(азин). А вообще, всю жизнь архитектора Разина можно истолковать как один огромный кроссворд.

КАК РЕШАТЬ ЭТУ КНИГУ ПО ГОРИЗОНТАЛИ

Тот же читатель, который выберет старый способ чтения, улицу с односторонним движением, читатель, предпочитающий скользить к смерти кратчайшим путем и без малейшего сопротивления, то есть читать по горизонтали, а не по вертикали — этот читатель удивится, заметив, что главы памятного Альбома пронумерованы не подряд. И по праву упрекнет нас в излишней поэтической вольности. Почему это нумерация глав скачет через пень-колоду, а не идет подряд, как во всех кроссвордах и во всех любовных романах, сколько их есть на свете? — Ответ снова прост. Да потому, что не все любят читать подряд. А некоторые даже и не пишут подряд. Как мы все знаем, кроссворды заполняются карандашом, лиловыми чернилами, фломастером, обмокнутым в слезы или в поцелуй, шпилькой или вилкой. Все равно, чем. Но не все равно, кто его заполняет. Ибо существуют по крайней мере две разновидности любителей кроссвордов, подобно тому, как на Святой горе есть две разновидности монахов — идиоритмики (отшельники) и кеновиты (общежители). Существуют те, кто в кроссворде любят и вылавливают отдельные слова, и те, кто предпочитает и вылавливает только красивые скрещения слов. Одни тратят время, которому много времени не нужно, а другие — время, на которое нужно Время. Те, кто все решает с наскока, и те, кто все решает по порядку. Потому эта книга так и сделана. Для первых заранее устроен беспорядок, так что им самим нет нужды его создавать, а для вторых расставлены цифры, вот пусть сами в них порядок и вносят.

1. Первые, которые больше любят слова, чем скрещения слов, смотрят только в текст с инструкцией, а на сам кроссворд и на его четырехугольные клеточки обращают мало внимания. Они точно с печки упали — иногда предпочтут неправильное слово правильному, пусть даже сам маневр скрещения слов и поворота их из-за этого не удастся. Им ничуть не помешает, что в этой книжке или же в этом кроссворде, несмотря ни на какие крестословицы, числа в ряду по горизонтали идут по порядку, а в ряду по вертикали не идут по порядку, но скачут. У каждого из чисел своя трапеза, свой домашний очаг и свое логово, у каждого свой огонь, своя соль, свой огородик и в нем свой уютный уголок с фруктовым деревцем и прудиком. Эти числа друг друга почти не знают, с трудом друг друга переносят, чужих имен не любят и не помнят, каждый дует в свою дудку, у них нет общих врагов, ибо они вместе никогда не бывают. У них есть культ матери, а культа женщины нет. Им принадлежит ночь, символ их жизни — позвоночник, они хорошо знают иностранные языки, они художники, рыболовы и идолопоклонники, они умеют обращаться с зерном и с хлебом, умеют молчать и говорить. Если народ, к которому они принадлежат, дойдет до нищеты, они берут на себя тяжкую миссию его вызволить. Они думают так: поскольку вы уже прочли книгу и прожили жизнь, не поздно ли и не бесполезно ли их теперь, задним числом, втискивать в кроссворд? Стоит ли расставлять свои воспоминания, как шахматные фигуры на доске, начиная игру? Нужно ли наши воспоминания о пролетевшей жизни, как рубашку, снова складывать на лицо и укладывать в ящик? Не теряем ли мы самые слова, упорядочивая крестословицы? Не теряете ли вы самую свою жизнь, пытаясь ее упорядочить, не утрачиваете ли мир в своих усилиях привести его в порядок? Для таких любителей кроссвордов дело уже частично сделано, они увидят перед собой книгу такой, какая она есть, то

есть они смогут ее читать, бросая кости, на какое число выпадет, от одного до шести.

Но существуют и другие, которые сделают дело заранее, они прежде всего усядутся решать скрещения слов и заполнять клеточки. Прежде чем заняться чтением или же углубиться в жизнь, они позаботятся о том, чтобы все было по порядку и по правилам. Недавняя история, которая свидетельствует, что хорошо устроенный, совершенно организованный, заранее гармонизированный мир ведет прямо в болото и в пропасть, для них в качестве учебника жизни не годится. Идя в строжайшем порядке от главы к главе, они заранее построят и осмотрят и свои, и чужие войска, и свои, и чужие перекрестки, не обращая особого внимания на сами слова и на их смысл, как полководец не обращает внимания на отдельных солдат своей армии, не помнит их фамилий. Эти читатели — национальная партия своей родины, они не знают языков, не владеют речью, у них культ отца и традиций, они — борцы за веру, у них нет никакого имущества, даже собственной рубашки, ибо считают своим все, что есть в земле. Они не связываются ни с местом, ни со стенами, где их двое, там и все, они любят упоминать имена, они вместе встают, вместе садятся за стол, им принадлежит утро, их символ — живот, они — знахари, виноградари, певцы и писатели. Они — практики, иконоборцы, они предводители своего народа в его исходах. Они строители, астрономы, математики и люди театра. Они держатся вместе и держат в своих руках всю мощь родины до тех пор, пока родина не рухнет в пропасть. Это — те, кто в кроссвордах больше любит порядок скрещения слов, чем сами слова. Такие люди огородают свою и чужую жизнь, они вносят в мир порядок, деля его на квадраты и не особенно заботясь о том, что они в эти четырехугольники загоняют. И может ли квадрат вместить все. Они и здесь, в книге, пойдут по строгому распорядку, расставив главы «по вертикали» согласно порядковым номерам, отступая от несколько небрежного распорядка, оставленного им автором. И в награду получают окончательный и неприкосновенный порядок чтения и скрещения слов, и только после этой операции, установив это безошибочное расписание, они усядутся в поезд с тем, чтобы наверняка прочесть книгу или пропутешествовать по своей, то бишь по чужой жизни. За словами предложенного ими решения откроется тайна благоустроенного, крепко организованного мира, которого мы все давно жаждем. Разве не достойно восхищения то, что делают люди из группы отгадчиков кроссвордов, — наводят порядок в мире, хотя бы в чужом, если уж в своем не могут. По крайней мере, хотя бы в моей жизни и в моей книге, раз уж своей нет под руками или она от них ускользает!

*

Так кто же прав из этих двух групп любителей кроссвордов? Права, разумеется, твердая пристань молчания, в которую мы приплываем после всех скрещений и всех решений. Откуда нам знать, кто прав, если на нашем веку было столько тех, кого мы обязаны были уважать, и так мало тех, кого было за что любить? Поэтому счастливицы те, кто любил хоть однажды. Хотя бы книгу, если уж не собаку или кошку, хотя бы своего писателя, если уж не свою жену. Но горе тем, кто уважал книги, которых не любил и ненавидел те, которые любил.

А с архитектором Разиным дело обстоит так, что вы просто не поверите. Он относится и к первой, и ко второй группе отгадчиков кроссвордов. Вначале он принадлежал к первой группе, жизнь его была больше похожа на беспорядок, и судьба его в молодости (в отличие от вашей) в самом деле была неким подобием ошибочно решенных или совсем не решенных кроссвордов. Тогда он перевернул страницу, взял другой карандаш и записался в другую группу. Но это оказалось не так просто. Вы не поверите, но для того, чтобы переменить свою принадлежность к одной из двух упомянутых групп, надо покинуть свою родину, переменить фамилию, паспорт, забыть один язык и выучить другой и все начать сначала. Грек должен стать немцем, итальянец — русским, серб должен превратиться в мадьяра, а мадьяр перейти в румына. И наш архитектор Афанасий Разин все это проделал. Правда, в начале он был точно пыльным мешком из-за угла

ударенный, но потом дела у него пошли на лад. И вот теперь перед нами его Памятный Альбом, который издан в честь нашего героя и всех перемен, с ним происшедших.

Здесь вы найдете, как во всяком кроссворде, видных политических деятелей, страны света, красивые предметы обстановки, большие и малые города, начиная с такого, как Шабач в Сербии, где некогда (как известно) бывал Фауст, и кончая Лос-Анджелесом, в Америке, где некогда был архитектор Афанасий Разин, он же Свилар. Будут и клеточки, заштрихованные черным, которые облегчают работу составителя кроссворда и дают передышку тем, кто его решает. Эти черные квадратики — «ночи» среди «дней» кроссворда, и они внесены сюда, как черные четырехугольники в крестословицах, которые прерывают, где нужно, ряды пустых квадратов, предусмотренных для внесения слов. Эти черные квадраты, как известно, в счет не идут и не обозначаются цифрами, но без них не обходится ни один кроссворд, в том числе и этот. Скажем о них несколько слов.

Среди бумаг архитектора Разина нашлись несколько записей, составленных от начала и до конца чужим почерком. Они связаны с нашим героем так же, как черные квадраты со словами кроссворда. Утверждают, что некоторые из них архитектор Разин рассказывал при особых обстоятельствах (как, например, историю Плакиды), или же ему их рассказывали (как это было с семейными преданиями о прекрасных дамах — предках Витачи Милут по женской линии), или же он сам, как в какой-нибудь игре, рассказывал их с кем-нибудь в очередь — так случилось с притчей о голубой мечети. Среди этих повестей есть и такие, которые с данным Альбомом, или же с этим кроссвордом или с этим любовным романом никакой связи не имеют. Такие места и такие рассказы, вкрапленные в общее повествование, читатель должен открыть для себя сам, без чьей-либо помощи. Нашедшего убедительно просят сохранить их и почтовым отправлением послать хозяину, то есть составителю кроссворда, или выбросить.

Однако в поисках этих историй — незванных гостей должно стараться не выбрасывать истории, составляющие собственно главы романа, вместо заштрихованных — пустые клеточки кроссворда! Потому что в таком случае книга разползется как джемпер, кроссворд рассыплется и останется лишь то, что можно обнаружить в любом романе, а это всем известное примечание:

ВСЕ ЧИТАТЕЛИ КНИГИ
ВЫМЫШЛЕНЫ!
ЛЮБОЕ СХОДСТВО С ПОДЛИННЫМ ЧИТАТЕЛЕМ
СЛУЧАЙНО.

(Окончание следует)

Лариса МИЛЛЕР

ДОМАШНИЙ АДРЕС

Ты уюта захотела,
Знаешь, где он — твой уют?

А. Ахматова

«Диаспора. Рассеянье. Чужого ветра веянье.
На чуждой тверди трещина. Чьим Богом нам завещано
Своими делать нуждами дела народа чуждого
И жить у человечества в гостях, забыв отечество?
Мне речки эти сонные роднее, чем исконные.
И коль живу обидами, то не земли Давидовой.
Ростовские, Тулонские — мы толпы Вавилонские.
Чужие, многоликие, давно разноязыкие.
И нет конца кружению. И лишь уничтожение
Сводило нас в единую полосу дыма длинную.
Но вечно ветра веянье и всех дымов рассеянье».

Гражданин Мира — единственный достойный статус. Земля — единый дом, где все хорошее — общее благо, все плохое — общая печаль и забота. Земля лишь точка во Вселенной, и, вращаясь вместе с ней, мы, жители Земли, находимся в единой связке, как альпинисты на маршруте: каждый способен утянуть другого в пропасть или спасти от нее. Космическое чувство бездны, пространства и связи всего со всем дает ощущение масштаба и защищает от зацикливания на временном и пустячном.

Но каждый рождается в Доме, в Семье, в Отечестве. «На планете беспредельной — Два окошка над котельной. Это дом давнишний мой. В доме том жила ребенок. Помню ромбы на клеенке. Помню скатерть с бахромой...»

Выйдя из дому во двор, я услышала: «Сколько время? Два еврея, третий — жид по веревочке бежит. Веревочка лопнула, и жида прихлопнула».

Летом в Расторгуеве, на даче, мне, шестилетней, объяснился в любви мальчик Игорь, мой сверстник, и предложил ловить бабочек: он — панамкой, а я — сачком. Но мальчика окликнула и увела мама. Больше он ко мне не подходил. Лишь однажды, пробегая, дернул за косу и пискнул: «С евреями не вожусь!»

53-й год. 7-й класс «Г». Я сижу одна в целом ряду, а за остальными партами разместились по трое мои веселые одноклассницы. Так, бойкотируя единственную в классе еврейку, они «праздновали» дело врачей. А позже, окружив меня плотным кольцом, швыряли друг другу, как мячик.

Мой город? Мой дом? Моя улица?

В моем подъезде ремонт. У маляров перекур, и они щедро дымят, сидя на подоконнике. Я выхожу на лестничную площадку, чтобы вынуть из ящика почту. «Красивые глаза, — говорит один из парней, глядя на меня с нагловатой усмешкой, — только жаль — еврейские». Я задыхнулась от гнева. «Да как вам не стыдно? Мой отец ушел добровольцем на фронт и погиб, когда вас еще на свете не было!» Голос мой сорвался. Парень смотрел на меня с испугом и любопытством. Он, наверное, не ожидал такого отпора. А мне стало стыдно. Зачем я открыла рот? Да еще об отце сказала. Это было странное время, когда я взвивалась, услышав то, что слышала все детство. А потом... потом привыкла. Нет, не смирилась, но поняла, что с э т и м придется жить.

Когда я начала писать, мама познакомила меня с одним маститым литератором, который до войны был ее преподавателем в Литературном институте. Почитав мои стихи, он сказал: «Да, порох есть. Одно плохо — фамилия. Надо ее

вовремя сменить». «Как, сменить? На что?» Он задумался: «Ну, хотя бы, на Емельянову». «Но ведь Миллер — фамилия отца». — «А Емельян его имя», — успокоил он меня. Я сказала, что подумаю, посоветуюсь с мужем. Но Боря отнесся к предложению, как к абсурду, и, славу богу, все осталось на своих местах.

«Дом — это Иверский или Казачий. Может, сегодня зовется иначе тот первозданный кусочек земли. Мельница вечная, перемели. Перемели все, что времем мелется...»

Перемолола. Все перемолола машина уничтожения, запущенная до моего рождения и не остановленная до сих пор. Не стало моей Москвы. Я не говорю о «садовой, бульжной, колокольной». Та Москва исчезла много раньше. Но вот снесли дом моего детства и сад с сиренью, куда я не раз приводила старшего сына.

«И в городе живя, оплакиваю город, который смят катком, бульдозерами вспорот. И, стоя у реки, оплакиваю реку, большую сироту, усохшую калеку. Оплакиваю то, что раньше было рощей, оплакиваю лес, затравленный и тощей. На родине живя, по родине тоскую, по ней одной томлюсь, ее одну взыскую».

Так дома ли я, если на моих глазах умер город, который я любила? Дома ли я, если с каждым днем все надсаднее звучит: «Евреи, убирайтесь в свой Израиль! Мы на своей земле и уезжать не собираемся, а вы катитесь!»

И «катятся». И не сегодня это началось.

18 лет назад уезжали в Израиль наши друзья, убежденные, что евреи должны жить на своей земле. Боря активно помогал им, но об отъезде мы не помышляли. Однажды мне приснилось, что я брожу по улицам, ничего вокруг не узнавая: ни лиц, ни домов. И вдруг до меня доходит, что мы — эмигранты. Я проснулась в холодном поту.

«Вне уз, вне пределов, вне времени, вне привычного. Чуждые тени в окне. Чужие шаги в переулке горбатым, в порту, на молу, освещенном закатом. Невидящий взгляд незнакомых очей, неведомый смысл гортанных речей. Чужое веселье, чужое молчанье, и вод густо-синих немое качанье, и чуждые запахи тины и йода... Свобода, — с тоской повторяю, — свобода».

Друзья уезжали, а я лишь смотрела им вслед, задавая вопросы в пространство:

«Откуда знать, важны ли нам для жизни и для равновесья родные стены по утрам, родные звуки в поднебесье, родная сень над головой. А может, под любую сенью быть можно и самим собой и чьей-нибудь безвольной тенью. А может, близ родной души любые веси — дом родимый. Но чтоб ответить — сокруши очаг, столь бережно хранимый, свой прежний дом покинь совсем, сойди с дороги той, что вьется, стерпи, что завтра будет нем тот, кто сегодня отзовется, и перейди в предел иной с иным укладом и разором, где чуждо все, что за спиной, и чуждо все, что перед взором».

В 78-м году эмигрировал мой друг — поэт и прозаик Феликс Розинер. Вернувшись домой после шереметьевской «кремации», я достала кассету с его песнями и стихами. Целый год, не поднимая трубки, я набирала номер его телефона... А воздуха становилось все меньше...

Я еще застала людей, сформировавшихся в иное время. Людей, для которых Слово, Живопись, Музыка, человеческое общение оставались ценностями неизменными.

Еще в начале 60-х Феликс познакомил меня и Боря с нежно им любимым Борисом Николаевичем Симолиным, преподавателем Театрального института. Мы приходили в его коммуналку на Кропоткинской и, постулав, как было условлено, в окошко, попадали в длинную, пеналообразную комнату, а точнее, в чудом сохранившийся мир, центром которого был хозяин этого холостяцкого (жена и ребенок Бориса Николаевича умерли перед войной от тифа) безалаберного жилища.

Что мы там делали? Читали по кругу стихи, которые как-то страдальчески любил Борис Николаевич, смотрели картины, говорили, вернее, спорили обо всем на свете и пили чай с чем бог пошлет. Одним словом — жили. В присутствии Б. Н. все казалось интересным и исполненным смысла. Несмотря на свои

шестьдесят с лишним, он генерировал веселье. Он был источником энергии, которая почти ощутимо поступала в каждого из нас.

Разговаривая, он смотрел прямо в душу своим внимательным и скорбным взглядом (по-моему, после смерти близких скорбь поселилась в нем навсегда), и хотелось все ему рассказать, выложить, выговориться. Б. Н. был хранителем многих тайн.

Он умер внезапно, не переставая жить. Просто упал головой на стол, не кончив фразы. Незадолго до смерти на него обрушились крупные неприятности, связанные с КГБ и чьим-то доносом. Видимо, Б. Н. был слишком стар и болен для таких «приключений». Сердце не выдержало.

С его смертью исчез целый мир.

Постепенно все сходило на нет. Даже та культурная жизнь, которая еще теплилась в начале 70-х. Одним из последних всплесков были «квартирные» выставки подпольных художников в 75-м.

Весело и жутко было ходить по «крамольным» адресам. Весело потому, что несмотря на бульдозер, прущий на художников в Беляеве, они пробились к зрителю, даже самой плохонькой своей картиной утверждая: «Живу. Пишу. Свободен». Жутко оттого, что было ясно: все это скоро прикроют. Так и случилось.

В 76-м мы познакомились с Петром Старчиком, который незадолго до того вышел из казанской спец. психбольницы, куда попал за распространение «антисоветских» листовок. В больнице Петя начал сочинять песни на стихи Цветаевой, Мандельштама, Белого, Шаламова... Выйдя на волю, он пел дома и у друзей, пел как умел, нарушая какие-то законы гармонии и исполнительского мастерства и заставляя морщиться профессионалов. Но в том, что он делал, было столько трагизма и страсти, что его песни убеждали и запоминались.

Но где бы, что бы ни вспыхивало и даже ни тлело — пламя ли, свечечка — все было видно с Лубянской колокольни. Ее быстрые, бесшумные, как тени, пожарные в сером — попевали всюду.

Однажды мы все вместе собрались посмотреть картины художника Максима Дубаха, одного из участников «квартирных» выставок. По дороге заехали в милицию, куда Старчика в очередной раз пригласили для беседы. «Это на пять минут, — сказал Петр. — Опять повторяют, что мои песни мешают соседям, которые «жалуются». Это они-то жалуются — глухонемые».

Приехали в наше общее (живем рядом) 127-е отделение милиции. Петя зашел внутрь, а мы (жена Петра Саида, я, Боря, его брат Алик, дети Петра) остались на улице. Немного подождав, решили подняться на второй этаж. Вскоре к нам подошел низкорослый крепкий мужчина в белой рубашке с закатанными рукавами. «Здесь стоять нельзя. Ждите внизу». Неожиданно в коридор вышел Петр в сопровождении нескольких человек. Лицо его горело. Быстро пройдя в другой конец коридора, они скрылись в одном из кабинетов. А на помощь крепкому дяде появился еще один — такой же. Происходило что-то непредвиденное. Мы спустились вниз и побежали к другому входу. Там, во дворе, стояла карета скорой помощи. Это за Петром. Вскоре вышел и он в сопровождении санитаров и милицейского начальства. Жена и дети бросились к нему. А Боря и Алик быстро подошли к тому, кто казался главным. «Имейте в виду, этим делом занимается академик Сахаров. Все будет известно Леониду Ильичу Брежневу», — громко сказал Боря. «Кто, кто такие? — вскинулся тот. — Пройдите наверх!» И их увели на второй этаж, где сотрудники КГБ проверили документы и записали данные, пригрозив последствиями.

А в это время санитары повели Петра к машине. Дети и Саида цеплялись за него. «Петр Петрович, ну Петр Петрович!» — повторяли люди в белых халатах, подталкивая его к машине. Сумев, наконец, оторвать Петра от жены и плачущих детей, они затолкали его в карету скорой помощи и сели сами. Машина тронулась. Дети закричали, Саида бежала следом, но, немного пробежав, остановилась. На ней не было лица. Возле ворот какой-то милиционер пытался завести мотоцикл. «У, гад!» — срывающимся голосом крикнула Саида и, взяв кусок глины, швырнула в милиционера. Он оглянулся, и я увидела на его молодом лице растерянность и смущение.

Вечером того же дня — 15 сентября 76-го года — я написала стихи: «Погляди-ка, мой болезный, колыбель висит над бездной. И качают все ветра люльку с ночи до утра. И зачем, живя над краем, со своей судьбой играем и добротный строим дом, и рожаем в доме том. И цветет над легкой зыбкой материнская улыбка. Сполз с поверхности земной край пеленки кружевной». Позже Петя написал музыку на эти стихи, и они стали песней.

Произошла катастрофа: на наших глазах, среди бела дня схватили и увезли в психбольницу Петра Старчика, чтобы держать взаперти не дни, не месяцы, а годы, может быть, всегда. Так это бывало в подобных случаях.

Первые недели Петру удавалось передавать «на волю» короткие записки: он — в палате, где койки стоят почти вплотную, где санитары прилюдно избивают больных, где душевнобольной сосед гасит об него окурки. Петр показывал нам потом руки со следами ожогов. Через некоторое время записки сделались сумбурными и невнятными, а почерк неразборчивым. Стало ясно: началось «лечение». Петр Старчик должен был перестать существовать как личность.

И вдруг случилось чудо. Хищная лапа ослабила хватку. Международная кампания в защиту Старчика, к которой, кажется, удалось подключить самого Президента Франции, неожиданно помогла. Петра перестали колотить, перевели на более легкий режим в другое отделение, куда ему друзья передали гитару и транзистор. Однажды, включив приемник, Петр неожиданно услышал... собственный голос. Он не поверил своим ушам, решив, что и впрямь «свихнулся». Но то действительно был его голос: по западному радио звучали песни Старчика. Те самые — о лагерях и тюрьмах, белых и красных, уехавших и оставшихся, одним словом, о России, о страшной ее судьбе. Те самые, «крамольные», за которые он попал в эти стены.

А 15 ноября к нашему дому подъехала машина. «Лариса!» — крикнули с улицы. Я выглянула и увидела Петра, который, задрав голову, с печальной улыбкой смотрел на наши окна. В тот день валом валили друзья. А Петр пел и пел. Тогда он впервые исполнил одну из лучших своих песен на слова Александра Кочеткова — «Балладу о прокуренном вагоне» (стихи были напечатаны в только что вышедшем альманахе «День поэзии», который мы передали ему в больницу).

«С любимыми не расставайтесь», — пел Петр. «С любимыми не расставайтесь», — вторила Саида. «С любимыми не расставайтесь, всей кровью прорастайте в них...» Голоса сливались, разлучались и соединялись снова, заполняя пространство. «И каждый раз навек прощайтесь, и каждый раз навек прощайтесь, и каждый раз навек прощайтесь, когда уходите на миг...» Мелодия была стремительна и неудержима, как летящий по рельсам состав. Голоса звучали обреченно, будто в предчувствии близкого крушения. Песня-заклинание, песня-мольба надрывала душу. Плакали все.

Через пять лет после этой истории на одной из пресс-конференций французский журналист спросил советского чиновника Загладина: «Правда ли, что в вашей стране сажают в психбольницу за исполнение песен в собственном доме?»

«За исполнение песен в собственном доме» — слова из обращения, написанного Борей в защиту Старчика и переданного на Запад...

Конец 70-х. Разгром Хельсинской группы. Аресты, аресты, аресты... Новое десятилетие началось с высылки Сахарова. Никто не знал, что будет со страной, а я к тому же не знала, как это отразится на жизни нашей семьи: ведь Борю с А. Д. связывали долгие дружественные отношения.

Март 82-го. Меня вызывают на Лубянку. «Ваш муж Борис Альтшулер вам постоянно лжет, — заявляет молодой стриженный ежиком следователь. — Его связывают с Академиком (он ни разу не произнес страшного имени) отнюдь не научные интересы, а общая подрывная антисоветская деятельность. Существуют лишь два варианта: в двухнедельный срок покинуть страну или... — Последовала выразительная пауза. — Или ваш муж не увидит своих детей десять — пятнадцать лет», — с удовольствием отчеканил он. «А третьего пути нет?» — тупо спросила я, до той поры не задавая ни единого вопроса. Следователь расхо-

тался, откинув голову. «Скажите спасибо за выбор, который вам предоставили», — отсмеявшись, сказал он.

В мае при вторичном «собеседовании» тот же следователь невозмутимо изрек: «Об отъезде забудьте. Это был маневр, проверка вашей реакции. Вы никогда не уедете. Лучше объясните мужу, что ему дан последний шанс. Дальше пусть пеняет на себя».

Той же весной Борю уволили с работы, и через несколько месяцев он устроился дворником в ДЭЗ неподалеку от дома.

17 ноября 83-го года. 9 утра. Звонок в дверь. «Кто?» «Откройте, из ДЭЗа». Называют фамилию начальницы Бори. Открываю. Оттеснив меня, в коридор вошли восемь здоровых мужчин. Один из них, видимо, старший, предъявил удостоверение. Ничего не разглядев, я тут же почему-то поняла: КГБ. «Мы обязаны провести у вас обыск». Я бросилась к телефону, но один из восьми тут же оказался рядом со мной и нажал на рычаг: «Звонить нельзя. Дома кто-нибудь есть?» — «Дети». — «Будите». Я подняла детей. Они мигом оделись и с любопытством следили за происходящим. Мне удалось каким-то чудом убедить главного, что старшему сыну нужно идти на занятия. Сын, поняв мои знаки, побежал на участок, где Боря работал дворником. Он успел позвонить разным людям и передать свою записную книжку в надежные руки, а потом пришел домой. Следом за ним появился Алик. Вскоре пришел наш друг и сосед — писатель Юрий Карабчиевский. Ему, как и Алику, немедленно были заданы все полагающиеся вопросы (фамилия, кем приходится хозяевам квартиры, цель визита). Он знал, что до конца обыска его не выпустят и пришел, чтобы коротать с нами этот бесконечно длинный день. Юрино присутствие, непринужденный разговор и шутки — как это было важно тогда! Обыск длился до вечера.

Безучастно смотрела я, как восемь чужих мужчин роются в моих вещах, книгах, рукописях, записных книжках, как они аккуратно снимают с металлической подставки перекидной календарь с моими пометками. Но, когда, выйдя в коридор, увидела, что один из них залез в карман моего пальто и вытащил черновик, я взорвалась: «Что же вы делаете?! Я даже мужу не показываю черновики!»

Они унесли массу книг: Мандельштама, Набокова, Цветаеву, машинопись романа Феликса Розинера «Некто Финкельмайер», три пишущих машинки, касеты с записями классической музыки, текстов на английском и песен Феликса и Старчика.

Страна в анабиозе. Живому нет места нигде. Мертвецы правят страной, вцепившись в нее мертвой хваткой.

«Такие творятся на свете дела, что я бы сбежала в чем мать родила. Но как убежать, если кроме Содома, нигде не имею ни близких, ни дома. В Содоме живу и не прячу лица. А нынче приветила я беглеца. Откуда ты родом, скажи, Бога ради, но сомкнуты губы и ужас во взгляде».

И все же на глубине, «под толстым слоем льда», шла жизнь. Что же оставалось для жизни? Многое: семья, друзья, книги, музыка, память, мудрость, накопленная веками, природа, хоть и поруганная, но все еще прекрасная. «Прозрачных множество полос. С дерев, летящих под откос, листва потоком. Стекают листья градом слез с летящих под гору берез, и ненароком я оказалась вся в слезах, хоть ни слезинки на глазах. Безмолвной тенью брожу в мятущихся лесах. И облака на небесах, и те в смятенье...»

Мрачные восьмидесятые.

Дивные восьмидесятые, когда кто-то будто нашептывал мне стихи (прости-те за банальность). Я писала по несколько стихотворений в день. «Хоть кол на голове теши — все улыбаешься в тиши. Тебе — жестокие уроки, а ты — рифмованные строки...»

Но и когда писала, когда бродила по лесу с блокнотом, в который записывала стихи, все равно з н а л а — это пир во время чумы.

«Чем кончится вся эпопея? Гомерра, Содом и Помпея, Помпея, Гоморра, Содом... Куда бы ты ни был ведом, тебе не поспорить с лавиной. Так слушай Коран соловьиный в июньскую светлую ночь, коль в силах тоску превозмочь...»

И вдруг грянула новая эра. Эра оглушительной гласности, запоздалых признаний, обличений, самобичеваний,— и слов, слов, слов... Появились облученные, увечные, беженцы. Образовалась реальность, больше похожая на бред, когда разом отказали все рычаги и тормоза, все болты сорвались с нарезки. Тишина исчезла. И не только тишина, но и внутреннее право на нее. Можно ли жить как прежде, на глубине, вопреки и помимо, в лихорадочном, перевернутом, истеричном мире, в котором проблемы громоздятся, но не решаются, в котором разоблачают прошлые преступления и совершают новые, прилюдно демонстрируют прежние раны и старательно маскируют свежие. Трагедия начинает походить на фарс. Образуется новая конъюнктура, когда нарасхват лишь то, что было гонимо и под запретом. Просто жизнь — ни при чем.

«Идет безумное кино и не кончается оно. Творится бред многосерийный... И слышу окрик: «Ваш черед». Эй, поколение, вперед! Явите мощь свою, потомки. Снимаем сцену новой ломки».

«Новая ломка» открыла границу, позволив глотнуть иного воздуха и увидеть иное кино — цветное.

В маленьком ирландском городке Лимерике, где мы провели сутки на пути в США, я израсходовала едва ли не половину всех бывших в запасе эмоций. Я впала в детство, обретя детскую зоркость, детскую способность удивляться и младенческую неспособность рассуждать. Лимерик, Лимерик! Неужели я тебя выдумала? Неужели жизнь твоя скучна и однообразна, красота — призрачна, а уют — мираж? Позволь мне думать о тебе как о сказке. Тем более, что ты — родина сказки. Вернее, коротких сказочных стишков, знакомых с давних пор под названием *Limericks* (Лимерикс).

Машина катила по необычайно гладкой дороге. Расстегнув теплые куртки и сняв шапки, мы смотрели вокруг: трава, цветы и птицы в ярких перышках — все как на детской картинке. Справа и слева — аккуратные домики. Ни один не похож на другой. И как только хватило фантазии? Каждый второй дом — гостиница. Перед каждым сад. Во многих садах — маленькая фигурка мадонны. До чего спокойно живут в этом городе люди, если в двух шагах от дороги разводят хрупкие цветы, ставят скульптуры, держат ажурную мебель, не обнося все это высоким забором, не заводя цепных псов. При полной открытости чужим взглядам — абсолютное *privacy* (уединение, уединенность, частная жизнь).

Я спросила шофера, неужели владельцы многочисленных гостиниц не прогорают? Он засмеялся: «Нет. Здесь полно туристов. Особенно летом».

Остановились возле здания, похожего на старинную загородную усадьбу, с флигелями и широкой лестницей, ведущей к центральному входу. В дверях тотчас же появился юный служитель с тележкой для багажа. Водитель, пообещав быть здесь завтра в половине первого, уехал.

Не прошло и пяти минут, как мы оказались в номере с окном во всю стену. А за окном росло огромное раскидистое дерево, и стояла деревянная сторожка. Вид из окна напоминал иллюстрацию в старинной книжке. Стремительно глупея от обилия положительных эмоций, я решила провести эксперимент и зажечь все светильники. И — ура! — лампа на трюмо не зажглась. Но когда обнаружив на стене незамеченную прежде кнопку, я нажала ее, вся комната наполнилась мягким домашним светом. Это, отразившись во всех зеркалах, загорелась лампа на трюмо...

Бедный, бедный *Nomo soveticus!* Я чувствовала себя Читой из фильма «Тарзан в Нью-Йорке», обезьянкой, которая нюхает и вертит в лапах все, что попадет в поле ее зрения...

Мы прилетели в воскресенье. В городе тихо. Большинство магазинов закрыто. Но те, в которые зашли, сразили наповал: прилавки ломились от обилия овощей, фруктов, сыра, колбас, сладостей, пряностей. Сын с вождением смотрел на связку желтых бананов и грозди спелого винограда, но молчал. Нет, мы ничего не могли себе позволить. Тем более в начале путешествия.

Чувствуя некоторую вину перед любезными продавцами за то, что ничего не покупаем, мы перестали заходить в магазины, решив просто бродить по улицам.

В конце концов тротуар кончился, и потянулось шоссе, по которому с мягким шелестом мчались сверкающие машины. Стемнело. «Куда мы идем?» — спросила я сына, — «Нам пора в гостиницу». «Туда и идем», — уверенно ответил он. Я не узнавала окрестностей, но продолжала следовать за ним. Стало совсем темно. Дорогу освещали только фары машин. Фонарей не было. Видимо, тут только ездили и никогда не ходили пешком. Хотелось есть, но не было и намека на то, что конец пути близок. И вдруг справа — свет. Свернув, мы увидели вдалеке здание и ведущую к нему освещенную дорогу. А подойдя ближе, поняли, что это гостиница, но, увы, не наша. В отчаянии я толкнула тяжелую дверь и попала в роскошный холл. Первым моим движением было поскорее уйти, пока не вывели. Но, увидев наши растерянные лица, служители окружили нас и спросили, чем могут помочь. Узнав в чем дело, объяснили, что это — мотель, а наша гостиница в другом конце города. Но «That's O'Key. No problem». Сейчас придет такси и отвезет куда надо.

Благословенные слова: «That's O'Key. No problem».

А вечером, в своем номере, мы, лежа в постели, смотрели телевизор. Показывали Ольстер: уличные бои, дым, стрельбу, раненых. И не верилось, что все это происходит сегодня и где-то рядом. А позже шла передача из Вашингтона. Демонстрировали подготовку к инаугурации президента Буша, репетицию всей церемонии, где роль президента исполнял высокий ладный солдат. Журналист подскочил к нему с микрофоном и спросил, как он себя чувствует в качестве президента, и тот, расплывшись в улыбке, ответил: «Great!» («Великолепно!»)

Приземлившись в Бостоне, получив багаж и выйдя из здания аэропорта на встречу друзьям, с которыми не чаяла встретиться, в стране, которую не чаяла увидеть, жизни, которой и представить себе не могла, я вдруг впала в сомнамбулическое состояние. Острота восприятия исчезла, сменившись полной протрацией. «Вот Феликс, — говорила я себе. — Сколько раз за эти годы мне чудилось, что я вижу его лицо в московском людском потоке! И вот он катит тележку с нашим багажом к своей машине, а я спокойно иду рядом, будто все происходящее в порядке вещей. Пестрота, шум, сутолока большого города, яркая реклама, огни, лакированные автомобили — цветное кино продолжается. А я сижу в машине, верчу головой и ничему не удивляюсь. Это, конечно, пройдет, — говорю я себе. — Надо просто выспаться».

Нечувствительность прошла, но выспаться не удалось. Вернулась способность удивляться, но пропал сон. Спала я урывками, а проснувшись, слушала голоса странного мира...

Феликс водил нас по улицам Нью-Йорка. Пестрая, диковинная толпа: белые, черные, цветные, пейсатые, волосатые, нагло обритые, в шубах, в рванье, в бриллиантах, босиком...

Представляю, как можно любить этот прекрасный, уродливый, щедрый и жестокий город! Как можно любить его, если он твой. Сколько нежности, юмора и тонкого знания города в фильмах Вуди Эллена, которые мы, иноземцы, даже разобрав каждое слово, не поймем до конца. Сколько любви к нему в книгах Сола Беллоу и Хаима Потока!..

« — Я могу жить только в Нью-Йорке», — воскликнула моя приятельница, американская журналистка Сьюзен. Я посмотрела на нее с завистью. Ей никто не крикнет: «Пошла вон! Это не твое».

Наверное, есть еще только одна страна, в которой толпа такая же пестрая и многоликая. Это Израиль. Едва войдя в здание аэропорта Бен-Гурион, мы увидели смуглых, крепких парней и темнолицых, толстогубых девушек со множеством тугих косичек. «Они что — евреи?» — с удивлением подумала я. Позже, привыкнув к многообразию еврейских типов: марокканских, эфиопских, среднеазиатских, европейских — я поняла, что все они — израильтяне. Что все они — дома. Но Израиль мне только предстоит. Как и Норвегия. Сейчас речь о Штатах.

Слезы умиления выступают на глазах, когда чувствуешь, как о тебе постоянно где-то пекутся, предупреждая каждое твое желание. Будто целый мозговой центр занят исключительно изучением потребностей, капризов и прихотей своих граждан. Только озаботился, а тебе: «Relax. No problem».

Непостижимое изобилие — вот что отличает Америку. Можно ли все это съесть, износить, употребить, использовать? Что будет с невостребованным богатством? Куда его денут? Трудно избавиться от этих мыслей, праздно шатаюсь по магазинам и перешагивая через соскользнувшие с плечиков свитера и куртки. Странно себя чувствует в обществе потребления гражданин общества истребления. Странно до дурноты, до обморока.

Словари, книги, художественные альбомы высочайшего качества, компакт-диски — все к твоим услугам. Ксерокс? За углом Видео-шоп? Рядом. Путешествие? Закажи по телефону билет и езжай Все — no problem. Problem только деньги. Они нужны всем, всегда и везде. Хотя какой-то минимум ниже которого вряд ли можно упасть, обеспечен любому. Но минимум не дает той радости, которую приносят деньги. О деньгах говорят постоянно. Деньги дают тьму возможностей, поэтому их постоянно не хватает.

И тем не менее, что ни скажешь об Америке, все не точно. Так, да не так. Деньги заставляют крутиться? Да, но наши друзья, живущие там семнадцать лет, отказались от второй зарплаты, чтобы больше заниматься детьми. Другой наш друг с любовью, с большой затратой времени и душевных сил ведет занятия в классе, состоящем из детей эмигрантов. Феликс много пишет: беллетристику, стихи, эссе. Правда, у него есть жена Таня, профессор Бостонского университета.

Америка прагматична? Да. Но в этой рациональной и деловой стране не забывают об инвалидах и делают для них все, чтоб они чувствовали себя дома наравне с другими. Америка ассоциируется со словом бизнес? Да, но в Америке великолепные и нередко бесплатные музеи Американские библиотеки открыты для всех. Заходи и читай. В Вашингтоне в небольшой библиотеке я увидела не ряшливо одетого старика и толстую домашнюю хозяйку, листających газеты и журналы; бедного молодого человека, погребенного под грудой толстенных фолиантов, и группу детей, с которыми чем-то занималась служащая библиотеки.

А музыка... В супермаркете — подсурдиненный Вивальди. Его уже в шутку называют композитором супермаркета. В метро, на улице, в парке музыканты подрабатывают тем, что играют классику на чем угодно: на скрипке, флейте и даже извлекают ее из какой-то металлической посуды, похожей на тазы. В машине Феликс включил радио, и мы ехали под музыку Рамо, Генделя, Баха

А сколько в Штатах концертных залов, бесплатных концертов в университетах, церквях и парках! После одного из бесплатных университетских концертов в Бостоне мы вышли на улицу. Слева и справа от нас шли люди, молодые, старые, одетые с иголочки и по-студенчески небрежно. Они шли с концерта, напевая и беседуя. Полночный город был ярко освещен. Жизнь кипела Кто-то нырнул в супермаркет, кто-то в книжный магазин, кто-то в кафе. Так не хотелось, чтобы вечер кончился Теплый, совсем не февральский, почти весенний вечер, когда идешь в пальто нараспашку по оживленному городу, напеваешь и смеешься. Бостон. Нет в нем ни архитектурных красот, ни памятников: для этого он слишком молод. Но зато есть неповторимая атмосфера интеллигентного города, города преподавателей и студентов. Кампус Гарвардского университета — это город в городе, лишенный некрасивых уголков. По всему кампусу развешены объявления и афиши концертов, лекций, спектаклей Ходи смотри, слушай хоть двадцать четыре часа в сутки

Совсем рядом с университетом, почти на территории кампуса, живет эмигрантка первой волны Елена Ивановна Зарудная-Левина Она покинула Россию совсем юной девушкой и, выйдя замуж за американского литературоведа Генри Левина, обосновалась в Бостоне. Генри Левин одним из первых заметил и отметил талант Набокова, который стал их добрым другом и часто бывал в их доме. Однажды поздним вечером Феликс привез нас в гости к Елене Ивановне. Генри Левин лежал в то время в больнице. Мы вышли из машины и направились к

двухэтажному особняку, нижние окна которого были освещены: Елена Ивановна читала. Она приняла нас в просторной комнате, полной книг, картин и тишины. Я попросила хозяйку немного рассказать о Набокове. Речь ее была на редкость чистой, даже музейной. Не странно ли для человека, большую часть жизни проведшего вне России? Мы поднялись по деревянной лестнице на второй этаж, где на полках стояли книги Набокова, подписанные его рукой; «Дорогой Леночке...» — прочла я на одной из них.

Уходя от Елены Ивановны по тихой улице, я оглянулась на ее дом, и у меня защемило сердце: в этом Бостонском доме живет то, что было изгнано из России — старая культура, чистая русская речь, русские книги, которым еще только предстоит вернуться.

Куда же деваться, если улицы Бостона, как бы ни были они хороши, чужие? Меня ничего не связывает с ними, а их со мной. Я здесь пришелец и буду им всегда. А там, где я своя, все мучает и ранит. Я еще успела привести старшего сына в Замоскворечье, найти для него теннисные поленовские дворики с большими тополями. А младший уже опоздал. Он и Москвы-то толком не знает, потому что нет у меня сил таскать его по загазованному, грохочущему, почти утратившему свой неповторимый облик городу. Какими растерянными и несчастными кажутся кое-где сохранившиеся простодушные московские особнячки, окруженные безликими современными коробками и оглушенные проносящимися мимо мастодонтами-грузовиками.

Иногда я показываю детям книги и открытки с изображением исчезнувших улиц и вожу их на выставки, посвященные ушедшей Москве.

По одной такой выставке, устроенной в музее Истории города на Новой площади, мы бродили год назад, вглядываясь в старые открытки, картины, фотографии полуразрушенных церквей.

«Посмотрите на эту фотографию, — услышала я громкий, надтреснутый мужской голос. — Они специально сфотографировали церковь в густом тумане, чтоб мы потом не могли ее восстановить!» Кричал молодой мужчина с худым и нервным лицом. «Кто, кто «они»?» — допытывались окружившие его люди. «Неясно разве? Иудеи! — все больше «заводится» мужчина. — Это они Москву уничтожили». Пожилой человек с колодками на груди одобрительно кивал головой.

«Что я здесь делаю? — вяло подумала я. — Зачем пришла сюда и почему так умиляюсь на всю эту давность и древность? Родись я тогда, жить бы мне где-нибудь в черте оседлости, в местечке, породившем песни, которые я часто слышала в детстве за праздничным столом. «Ой-ей-ей, шикер из а гой...» — пел дедушка озорную песню на идиш, и ему подпевали гости. Но некоторые песни походили на плач и стон. И тогда я смотрела на него в страхе и ждала, когда он кончит, не в силах проникнуть в ту жизнь, о которой пелось в песнях. Зато, когда слабым старческим голосом, но без единой фальшивой ноты, он пел «Выхожу один я на дорогу», я слушала, замерев.

Так кто мы такие, и где наш Дом?

Смотрю, с какой жадностью, скепсисом, любопытством, деланным безразличием слушают мой рассказ о России эмигранты третьей волны, и думаю: «Чур меня!»

Смотрю, как Феликс медленно идет по Бостону, на ходу читая «Новое Русское слово», и думаю: «Чур меня!»

Слушаю моих бывших соотечественников, которые пересыпают свою речь англицизмами типа «братъ курсы», «трафик» и «партия» (от англ. party — вечеринка), и думаю: «Чур меня!»

Шагаю по Washington Heights рядом с пожилым писателем, уехавшим из России тринадцать лет назад, и думаю: «Чур меня!».

И будто угадав мои мысли, он, указав на молодую длинноногую негритянку, говорит: «Интересно, правда? Удивительно интересный мир». Да. Мир удивительный, и я бы хотела уметь в нем жить. Но там, где кто-то испытывает любопытство, я буду испытывать тоску. Видимо, у меня нет таланта приживаться на новом месте, жить и полноценно работать. Так, как это делает Феликс. «Ну, что там у вас появилось новенького в языке?» — спросил он меня, приготовивсь

записывать. Я посмотрела на него с ужасом. Не хочу быть выброшенной из моря языка, не умею жить на чужой улице, не хочу издавать книги, ничтожный тираж которых заведомо превышает спрос. Не хочу всю оставшуюся жизнь писать ностальгические стихи или не писать вовсе.

«Господи, не дай мне жить, взирая вчуже, как чужие листья чуждым ветром кружит. Господи, оставь мне весны мои, зимы, все, что мною с детства познано и зримо. Зори и закаты, звуки те, что слышу, не влеки меня ты под чужую крышу, не лиши возможности из родимых окон наблюдать за облаком на небе далеком».

Далекое небо — синее, без единого облачка днем и усеянное яркими звездами ночью. Это Иерусалим. Святая земля. Духовная столица половины жителей планеты. Прародина, истоки, начало. Если Москва строилась на семи холмах, то в Иерусалиме их несчетное множество, а над ними небо. Бродя по городу, я все время повторяла про себя строку Мандельштама: «Где больше неба мне, там я бродить готов...» Каждый раз, заходя в подъезд дома, не могла удержаться от восклицания: «Как красиво! Как чисто!» Белые ступени и стены. На стенах картины и кашпо с цветами. Дом начинается с подъезда. Нет, с улицы. Нет, вся страна — твой дом. Всюду цветы: под окнами, в парках, в Ботаническом саду, в университетском кампусе. Цветы, выращенные с великим трудом, постоянно пестуют, холят, орошают... Окна в домах распахнуты. Все на виду, но нечего бояться, загораживаясь от чужих взглядов. Потому, что эти взгляды не враждебны, да к тому же никто и не смотрит. Живи, как хочешь. Ты в своей стране.

29-го апреля, когда весь Израиль отмечал День независимости, мы оказались в курортном городке Нахария. Все высыпали на улицы. Шла бойкая торговля пиццей, сладостями, напитками, мороженым, игрушками. Дети покупали пластмассовые молоточки-пищалки и гонялись друг за другом, стараясь догнать и позвончее ударить. Город пел, плясал, смотрел, как салюты разрывают ночное небо. Шли целыми семьями: папа, мама, малыш в коляске, двое рядом и еще двое, постарше, впереди. Все — в ярких одеждах, увитые цветными лентами, которые уже кто-то из толпы успел на них накинуть.

Я не люблю наших праздников, когда веселье легко переходит в драку или даже в поножовщину. Но здесь я не боюсь толпы, не боюсь даже парней с автоматами.

А в день Катастрофы европейского еврейства мы находились в Иерусалиме, куда съехались люди из разных стран, чтобы почтить память шести миллионов евреев, уничтоженных нацистами. У подножия горы Герцля с 1957 года находится музей, посвященный Холокосту. Название музея — «Яд ва Шем» переводится, как «Рука Господа» и взято из книги пророка Исайи: «Я дам им мой дом и мою память в стенах моих... Я дам им Вечную Память, которая никогда не прервется».

Невозможно забыть зал, посвященный полтора миллионам погибших детей. В тишине ровный голос называет имена уничтоженных. В темноте мерцают свечи, всего шесть свечей, отраженных во множестве зеркал. И кажется, что нет ни потолка, ни стен, ни пола. Лишь мерцающие в темной бездне свечи. Это не зал, это Космос, в котором живут души умерших...

Мы застали в Израиле еще и веселый религиозный праздник, когда вечерами на улицах жгут костры и готовят на них пищу.

«Наше государство — маленькое», — постоянно повторяют израильтяне. «В Израиле мы испытывали клаустрофобию», — сказали знакомые москвичи, вернувшись из поездки.

Как ни странно, но меня в Израиле, где бы я ни была, не покидало ощущение пространства — первозданного, древнего, дикого. Оно не покидало меня в весенней Иудейской пустыне, покрытой молодой травой и искрами красных цветов, похожих на полевые маки. Не покидало в желтой каменистой пустыне Негев, где неподвижно сидели под палящим солнцем бедуины в длинных одеждах и невозмутимо двигали челюстями одnogорбые верблюды. На Тивериадском озере, которое невелико, но окружено нескончаемыми, как вечность, холмами. Не покидало в поселении, насытитывающем всего несколько домов, но

расположенном на возвышенности и обдуваемом ветром, несущим запахи горных трав.

Израиль — резервуар воздуха: горного, травного, морского.

Улетая из Израиля, я увозила с собой хор голосов:

«Приезжайте. Здесь тьма проблем, а теперь еще интифада, но в Израиле мы дома».

«Трудно. Все чужое: язык, климат, порядки».

«Провинция. Я, бывший ленинградец, спасаюсь лишь поездками в Европу».

«Иерусалим — единственный и неповторимый. Жить можно только в Иерусалиме».

«Жить в Иерусалиме? Да что вы?! Здесь сдохнешь от тоски. Кругом религиозники пейсатые. В пятницу жизнь замирает. Ни тебе кафе, ни кино, ни транспорта, ни магазинов. Жить можно только в Тель-Авиве — это единственный европейский город в Израиле».

«Что? Вы уезжаете обратно в Союз? Да еще детей увозите? Вы — не евреи. Вы — преступники. Вас били-били, а вам все мало».

«Ну как же можно уехать из Союза? — слышу насмешливый голос. — Там столько счастья! Сегодня колбасу достал, завтра — мыло. А здесь этого счастья нет».

«Если уезжать из Союза, то только в Израиль. Здесь ты не эмигрант, а репатриант. В любой другой стране, самой расчудесной, ты — чужой, лишний, третий сорт».

Как мир велик! И как мал! Попробуй, раз снявшись с места, найти новое. Да и может ли оно быть?

Путешествуя по Норвегии, я встретила бывшую москвичку, которая восемь лет прожила в Израиле, но, поняв, что не происходит профессионального роста (она — музыкант), уехала работать в Норвегию, а теперь собиралась в Штаты.

Норвегия — удивительная страна. Когда я думаю о ней, то прежде всего вижу белое: белый теплоход, на котором мы плыли часть пути, белые чайки над Балтикой, белые июньские ночи, белые паруса на прозрачных норвежских озерах, светловолосые северяне, их светлые одежды.

И чистые, светлые душой люди, с которыми нам довелось встретиться в этой стране. Люди, готовые прийти на помощь, протянуть руку, подставить плечо. Даже удивительно, что в такой благополучной и спокойной стране, располагающей к благодушию и сытой глухоте, живут люди, остро чувствующие чужие заботы и печали. Может быть, поэтому Нобель в своем завещании распорядился, чтобы Премию Мира присуждали именно норвежцы.

В Норвегии все как-то по-домашнему. Свою столицу норвежцы называют самой красивой деревней в мире. Не знаю, справедливо ли назвать Осло деревней, но это какой-то удивительно не урбанистический город. Мы его почти весь обошли пешком. И не потому, что он маленький, а потому, что ходить по нему не утомительно: нет безумного движения, бешеных скоростей, чрезмерно пестрых и шумных толп. Никаких свех, супер — ничего, бьющего по нервам.

Зато есть забавный звоночек на переходе. Едва зажигается зеленый свет, раздаётся: дзинь, дзинь, дзинь — в такт шагам. Это, наверное, сделано для незрячих, но идти под него почему-то весело и приятно. Чувствуешь себя персонажем из детского кино.

Осло — это сплошные тенистые парки, с фонтанами, в которых можно купаться, с зелеными лужайками, на которых можно спать, загорать, читать. Университет Блиндерн, где мы жили, весь окружен такими лужайками, и на них всегда кто-нибудь кейфовал, обложившись книгами и тетрадями, совмещая приятное с полезным.

Наше жильё достойно отдельного разговора. Мы приехали по приглашению милого, гостеприимного Рольфа Стабела — директора астрофизического института. Встретив нас на вокзале с букетом цветов, он отвез нас в университет и поместил в одном из университетских зданий — в гостевых комнатах своего института. В середине июня регулярных занятий уже не было. Студенты досадовали

«хвосты». Преподаватели заканчивали свои дела и собирались в отпуск. Так что вечерами, а иногда и днями, мы оказывались совсем одни в целом здании. Вот уж где все было по-домашнему. В наши комнаты вела уютная, скрипучая деревянная лестница, по которой приходилось много раз подниматься и спускаться, чтобы попасть в ванную и на кухню, где было все, что требуется для жизни, и даже больше: плита, микроволновая печь, просторный холодильник, самовыключющийся электрочайник. Преподаватели то и дело заходили на кухню, чтобы выпить стакан сока, сварить кофе или перекусить.

Рольф приезжал в институт со своим спокойным и умным псом Тимом, который смиренно бродил по директорскому кабинету или ждал хозяина на лужайке, под кустом, положив печальную голову на лапы. Вокруг здания стояла тишина. Лишь иногда трещала машинка для стрижки газонов и слышался топот ног очередного джоггера. Все норвежцы — спортсмены. Но если в Штатах тренируются, чтоб быть в форме и не отстать на скоростной дорожке жизни, то в Норвегии спортом занимаются из любви к искусству, к жизни, здоровью, воде, горам, лесу.

В Норвегии, куда ни глянь, — всюду природа, да к тому же привычная, родная, чего так не хватало в США и Израиле.

Но, гуляя по тенистым тропам, вокруг чистейших озер, из которых можно пить воду (если они не у самого города), испытываешь боль: «Так похоже на Россию, только все же не Россия». Где наши прозрачные озера? Кто бережет наши леса?

И снова вспоминаю, как Ариадна Эфрон в 22-м году, одиннадцатилетней девочкой впервые переехав границу и оказавшись в Германии, увидела, как все вокруг зеленело «хорошо организованной, живописной, холеной зеленью», что потрясло воображение «после такой привычной глазам и сердцу великой неприбранности тогдашней Москвы со всеми ее территориальными привольями и урбанистическими своевольями, со всей невыразимой гармоничностью ее архитектурных несообразностей». О, если бы сегодня Запад и Россия отличались так же и тем же. «Великая неприбранность, приволье, своеволие, гармоничность...» — эти слова звучат как музыка. Осталась лишь ностальгия по той Москве, по той природе, которой так не хватало всем, ее покинувшим. Но сегодня ухоженности Запада нечего противопоставить — кроме разорения, упадка, распада.

Норвежцев не съела цивилизация. Напротив, они с ее помощью могут от нее же улизнуть. Садясь в машину, уезжают на фьорд, к своим катерам и яхтам, чтобы провести уик-энд или отпуск на воде, на острове. В стране культ тихого, уединенного отдыха на природе. Почти у каждой семьи есть домик в горах или у воды. Многие строят такой дом (они называют его «хита») своими руками, благо строительных материалов — хоть отбавляй. По-моему, даже те, у кого «руки-крюки» или, как англичане говорят, «all his fingers are thumbs» — даже те научатся работать руками, увидев магазин стройматериалов, который видели мы: несметное количество досок, досочек, планок, брусков любой толщины, длины и окраски. Каждая — на своем месте, в своей ячейке, чтоб не приходилось искать. Да еще сопутствующие товары: инструменты, краски, клей всех сортов. Ну как тут не научиться? Тем более, что есть курсы для всех желающих.

Норвежцы любят свое жилище и могут украшать его бесконечно. В доме нет ни одной «тупой» и унылой вещи. Каждая живет, играет и взаимодействует с другими: ваза — с расстеленной под ней вышитой дорожкой, стол — с эстампом, над ним висящим, на эстампе — луч света, идущий из окна. Кажется, что даже окно беседует с тем, на что смотрит. Будто это и не окно, а картина в раме.

В одном таком доме, расположенном на склоне горы, мы провели четыре дня, под неусыпным наблюдением деревянного косматого тролля, зорко за нами следящего из угла гостиной. Эти четыре дня подарила нам молодая супружеская пара — христиане. Мы познакомились с ними в доме наших общих друзей, тоже христиан. Все эти люди поразили нас интенсивностью переживаний, связанных с уничтожением евреев нацистами. Они говорят об этом так, будто Катастрофа случилась только вчера. Когда сидишь в покойной и уютной гостиной,

двери которой распахнуты в сад, когда на столе стоит ваза, полная клубники, а по дому бегает веселый крепкий малыш, то думаешь: «Что им Гекуба?» Но недавно мне на глаза попала статья Бориса Хазанова «Письмо из прекрасного далека» («Искусство кино», 1990, № 5), в которой он пишет: «Мы живем в век Освенцима. С этой истиной невозможно жить, но с ней приходится жить. Эта истина забыта в Советском Союзе... Прочитав эти слова, кто-то скажет: он так пишет потому, что он сам — еврей. Это верно, и вот это и есть самое ужасное. Как будто бы фашизм — забота и боль одних евреев».

В Норвегии я встретила людей, для которых «фашизм — забота и боль» не меньшая, чем для евреев, и которые не умом, а сердцем понимают, что живут в век Освенцима, и мир после Освенцима — это уже другой мир.

Люди, которых я встретила в Норвегии, не философы, не мыслители. Они просто честные, совестливые, глубоко чувствующие люди, истинные христиане.

«Почему вы не уедете в Израиль? — спрашивали нас норвежские друзья. — Будь мы на вашем месте, давно бы уехали. Хотя бы ради детей».

Израиль. Все в этой стране дышит историей еврейства, истинным патриотизмом. И, встречая людей, преданных своей стране, я чувствовала себя невольным ренегатом. Невольным, потому что была обречена на это предательство еще до своего рождения.

Мои родители — москвичи, журналисты, выпускники Литинститута, вовсе забывшие, что они — евреи, пока им не напомнили об этом Гитлер и Сталин. Я росла на русских книгах, изучала историю по советским учебникам, в которых, разумеется, не было ни слова об истории моего народа.

Если до войны многие действительно не помнили, что они евреи, то после войны старались об этом лишний раз не говорить, тем более при детях. Я и Библию впервые прочла в 30 лет. И в том же возрасте, наткнувшись на книгу «Критика Иудейской религии», извлекла из нее какие-то искореженные, обрывочные сведения о еврейской религии и истории. Но интерес был чисто академическим и души не затрагивал.

И лишь читая о лагерях уничтожения, я чувствовала себя еврейкой, одной из тех, кто чудом уцелел. «Дневник Анны Франк» потряс меня. Я так сроднилась с этой девочкой, что отказывалась верить в ее гибель. А прочтя воспоминания Марины Рильникайте, которая спаслась, выбравшись из-под груды расстрелянных и засыпанных землей, впала в апатию. Зачем жить, если такое возможно?

Недавно я открыла привезенную из Израиля книгу «По тропам еврейской истории» и прочла страницы, посвященные приходу нацистов к власти, их многочисленным антисемитским акциям.

1938 год. «...началось принудительное изгнание из Германии польских евреев, живших там многие годы, — говорится в книге. — Польша также не приняла их, и они вынуждены были скитаться без крова над головой по «ничейной» земле» (то есть приграничной полосе).

10-е ноября того же года. «Хрустальная ночь». 92 человека убито и около 30 тысяч арестовано и выслано в концлагеря. После этого погрома «многие из немецких евреев пришли к выводу, что им нет больше места в Германии. Значительное их число обращалось в посольства и консульства различных стран, но политика закрытых дверей, к которой прибегли США и ряд других государств, во многих случаях препятствовала их выезду».

Мир обрекал на гибель целый народ, которому некуда было деться, у которого не было своего дома.

Сегодня он есть. Этот дом — Израиль, где осваивают пустыни, строят города, разбивают парки, сажают апельсиновые рощи и виноградники и зовут: «Приезжайте. Живите. Да, тесно. Да, трудно. Но все образуется». Все так. Но переезд — это другой язык, другая природа, непривычные интересы и ценности, пересадка на совершенно иную почву, потеря себя. Неужели нельзя без этого бегства? Будет ли когда-нибудь жизнь здесь, на одной шестой части суши? И становится ясно, что дело не только в национальной принадлежности. У меня хоть есть государство, готовое принять и назвать своей.

А как быть тем, у кого нет ничего, кроме единственного дома — «фенолового»? «Феноловый дом». Так называлась газетная заметка, недавно попавшаяся мне на глаза. В ней говорилось, что в Москве есть жилое здание, сложенное из бетонных плит, выделяющих отравляющие газы. Пол, потолки, перекрытия, стены — все выбрасывает в воздух яды, которые ежедневно, из года в год, вдыхают взрослые и дети. А вдыхая, заболевают хроническим бронхитом, астмой, лейкемией, раком легких. И с каждым днем больных все больше, а дом стоит, и в нем живут и ждут не дождутся выселения.

Дома стены лечат. А если калечат — то дом ли это?

Будьте как дома — то есть чувствуйте себя свободно, спокойно, в безопасности. Так ли себя чувствует тот, кто, войдя в свою районную поликлинику, видит на стене объявление: «Просим всех, кто лечил зубы 4 мая, провериться на СПИД»?

Так ли себя чувствует жительница Подмосковья, у которой обварился полуторагодовалый внук? «Нечем лечить, — плачет она. — В Звенигородской больнице — ни пенициллина, ни мазей. Всю Москву объездила, в ногах валялась. Только в одной аптеке достала, да и то не на весь курс». Сколько подобных и более страшных сюжетов!

Таков сегодня наш дом. Но и его делят и делят, выталкивая одних, убивая других и не давая жить никому. Плохо всем. Все лишены насущного, опоры, защиты.

В России всегда не хватало воздуха. А сегодня и тот, что есть, отравлен. Задохались Пушкин, Лермонтов, Чаадаев, Герцен. Задохалась сама русская культура, пережившая Катастрофу и Диаспору, и давно рассеянная по свету. Ее именитые и безымянные служители жили и живут в любой точке земли. Но где бы ни жили, они всегда мысленно повернуты лицом к России, как мусульманин к Мекке, а иудей к Иерусалиму. И вот, переехав границу и увидев цветное кино, я возвращаюсь досматривать безумное.

И сегодня, как восемнадцать лет назад, задаю себе тот же вопрос:

«Почему не уходишь, когда отпускают на волю? Почему не летишь, коли отперты все ворота? Почему не идешь по холмам и по чистому полю, и с горы, что пологая, и на гору ту, что крута? Почему не летишь? Пахнет ветром и мятой свобода, позолочен лучами небесного купола край. Время воли пришло. Время вольности. Время исхода. И любую тропу, из лежащих у ног, выбирай. Отчего же ты медлишь, дверною щеколдой играя, отчего же ты гладишь постылый настенный узор и совсем не глядишь на сиянье небесного края, на привольные дали, на цепи неведомых гор?»

Лето 1990 года.

Алла МАРЧЕНКО

ЛЕРМОНТОВ — СТО ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ СПУСТЯ

«Лермонтов и Пушкин, — писал Блок в 1906 году, — образы «предустановленные», загадка русской жизни и литературы».

Для людей «серебряного века» это — аксиома, для нас, увы, всего лишь красивая, но пустая фраза. От разгадывания русских загадок Лермонтов отставлен. Споры-диспуты-шибки, — быть или не быть России Россией, — обходятся без него. А раз отставлен, то, соответственно, и переведен в иное Созвездие. С понижением в чине. Открыто о печальной сей перемене на звездной карте родимого литературного неба (печальной, разумеется, не для Лермонтова, а для нас, нынешних, никто не заявлял. Однако новый статус его — из иконостаса образов Предустановленных изъятого — нет-нет, а дает о себе знать. То станцию метрополитена, всенародной обиды не страшась, переименовуют, то монографию к сроку не выпустят, то автор с пером и идеей для юбилейной «обязаловки» не сыщется. «Как звезды падучий пламень, не нужен в мире я...» Что завтра будет, бог весть, но сегодня, здесь и сейчас, и впрямь не нужен — лишний. Время-то на дворе экономическое, стайное, стадное, групповое, корпоративное; не принадлежащее к толпе, то, что она, толпа, не в состоянии: присвоить, приспособить, адаптировать, растиражировать — так, чтобы каждый из принадлежащих к толпе получил свою, законную часть добычи, ей попросту не интересно.

И тем не менее: безлимитный двухтомник лишнего поэта собрал четырнадцать миллионов подписчиков — больше Пушкина, больше Есенина! Это ли не загадка? Если и не русской литературы, то уж русской жизни наверняка.

Кроме этой главной — фундаментальной — причины есть, по-моему, и сопутствующие. Считается, к примеру, что проведение широкомасштабных исследовательских кампаний, в случае с Лермонтовым, бессмысленно. Все, что можно было найти, найдено и в Лермонтовской энциклопедии заприходовано.

Но так ли уж все? Скажем, арсеньевская ветвь родословного древа поэта. Из биографии в биографию варьируется несколько общеизвестных ситуаций. До недавнего времени даже местоположение вотчины прадеда Лермонтова Василия Васильевича Арсеньева было нам неизвестно, пока П. А. Вырыпаев, в ту пору (1968 г.) директор музея в Тарханах, не решился во что бы то ни стало самостоятельно отыскать останки сельца Васильевки. Той самой Васильевки, где, по преданию, познакомились родители Лермонтова и где, по предположению В. Мануйлова, была сыграна их свадьба.

Проявив чудеса изобретательности, нашел-таки П. А. Вырыпаев затерявшееся село. Хотя... мог бы ехать наверняка, если бы догадался заглянуть в «Записки» Андрея Тимофеевича Болотова.

Сослуживец, земляк, свойственник господ Арсеньевых (жена Болотова — любимая племянница Матрены Васильевны, родной сестры прадеда поэта) Андрей Тимофеевич, как выясняется, был связан с алексинскими соседями множеством уз. Это, что называется, один круг, и самое беглое знакомство с его за-

писками стирает несколько белых пятен в «нищенской»¹ биографии Лермонтова. Подробнейшим образом, к примеру, описал дотошный Болотов путь по «бездорожице» от Алексина до наследственных арсеньевских владений и на затруднения Вырыпаева за двести почти что лет до предпринятого им путешествия ответил: не Васильевкой именовалось село, а Луковицами. Васильевской же, в родственном обиходе, называли ту его часть, что, по завещанию, получил младший сын последнего единоличного владельца Луковиц — Василий Васильевич; вторая половина досталась старшему его брату — Дмитрию и называлась, соответственно — Дмитриевкой.

Но давайте послушаем богородицкого летописца, завернувшего по первопутку в зиму 1792 года² к родным братцам крестной своих детей Матрены Арцыбашевой, по себе, в девичестве Арсеньевой. Бесхитростный этот рассказ не только открывает неизвестные лермонтоведам факты, но и отнимает у забвения живую, яркую, колоритную жизнь, процветавшую некогда там, где директор тарханского музея застал лишь пустое, голое место...

«Доехав до села Варфоломеева, стали мы в пень и не знали, как проехать в село Луковицы к господам Арсеньевым, родным братьям тетки Матрены Васильевны... Принуждены были искать мужика в проводники и дать гривну... Я приехал прямо в двор к старшему брату генералу Дмитрию Васильевичу. Но, хват, его нет дома. Ах, какая беда! Но где же он? У брата-де своего Василия Васильевича. Ну, слава богу!.. тут обо двор... Хозяева мне ради, Дмитрий Васильевич также, унимают ночевать. Я рад. Гляжу, смотрю, Фома Васильевич Хотяинцов на двор. Человек знакомый, любезный, умный и такой, с которым есть о чем поговорить. Ну-ка мы в разговоры и разговоры разные о всякой всячине, и все любопытные и хорошие».

Итак, братья Арсеньевы жили обо двор и жили дружно, одним большим домом: и праздники общие, и гости, «громада людей», по выражению Андрея Тимофеевича, и все «в торжественном одеянии и убранстве». (Как выяснилось по приезде, Василий Васильевич «на утро был имяниник»).

За право «уложить ночевать» редкого гостя братья слегка посоперничали, но старший младшего переспорил. Так обрадовался бывшему однополчанину, что даже от запланированного развлечения — поездки на свадьбу к соседу отписался с нарочным, сочинив с помощью Болотова «небывальщину». А поутру и Фома Хотяинцов заявился, и Дмитрий Васильевич показывал разные достопамятные бумаги и «секретные инструкции», «с какими послан бывал от императрицы в разные места для исследования истины». Так разбеседовались, что еле к позднему именинному обеду успели. Но и тут Андрей Тимофеевич от своих правил не отступил. Именинные гости — за карты, а он все с тем же Фомою Хотяинцовым — за разговоры!..

Всего этого Лермонтов в Луковицах уже не застал, но «сказок» о «недавней старине» и в детстве и в отрочестве наслушался вдоволь, благо имел врожденную склонность «просиживать в мечтах о том, что было, мучительные ночи» («Сашка»).

Убеждена: если бы не история предков, глядевшая на Лермонтова-подростка из всех углов и закоулков прадедовского, арсеньевского, особняка, единственного, в его жизни, наследного родового жилища, все остальные, и в Тарханах, и в Кропотове, куплены уже готовыми, вряд ли б с таким личным акцентом, с такой лирической силой прозвучала бы тема старинного дома в самой таинственной из поэм Лермонтова — «Сказке для детей»:

**Тот век прошел, и люди те прошли.
Сменили их другие; род старинный
Перевелся; в готической пыли**

¹ «Почвы для исследования Лермонтова нет — биография нищенская. Остается провидеть Лермонтова». А. Блок, «Педант о поэте».

² Напомню для полноты картины. через два года, в 1794-ом, один из сыновей хозяина Васильевки — Михаил — женится на Елизавете Алексеевне Столыпной.

Портреты гордых бар, краса гостиной,
 Забытые тускнели; поросли
 Дворы травой, и блеск сменив бывалый,
 Сырая мгла и сумрак длинной залой
 Спокойно завладели... Тихий дом
 Казался пуст...

Конечно, это не натурная зарисовка, ведь дом, изображенный в «Сказке...», стоит-пустеет на «берегах Невы», а не в алексинском захолустье, но, с другой стороны, откуда в тесноте каменного Петербурга взяться дворам, поросшим травой?

Но, может быть, я слегка приукрашиваю историческое прошлое старших членов арсеньевского рода? Ничуть. Дмитрию Васильевичу, равно как и Василию Васильевичу, было о чем поведать любознательному Болотову. Их военная молодость прошла при дворе двух императриц.

Вот что пишет все тот же Болотов все в тех же, не замеченных лермонтовцами мемуарах, вспоминая год 1747-й:

«В нашем полку был тогда адъютантом алексинский дворянин Дмитрий Васильевич Арсеньев, самый тот, который после дослужился до генеральского чина. Высокий его рост и красивый стан полюбился при дворе; его взяли от нас в лейб-компанию».

Несколькими годами позже в привилегированный корпус, капитаном которого была сама «Елизавет-Петровна», и, видимо, не без братних хлопот, «взяли» и Василия Васильевича. А еще через какое-то время и, похоже, за те же самые качества — высокий его рост и красивый стан — в лейб-компанию очутился и другой прадед поэта — Алексей Емельянович Столыпин.

Придя к власти, в марте 1762 года, Петр III лейб-компанию разогнал — кого в отставку, кого «по другим местам». Однако умная Екатерина, по восшествии на престол, решила все-таки не ссориться с «гренадерами», — и братья Арсеньевы вернулись ко двору — в гвардейский Преображенский (Петровский!) полк.

Алексей Емельянович Столыпин примеру однополчан не последовал, поскольку успел воодушевиться открывшейся, с соизволения Екатерины II, возможностью: разбогатеть на винных откупах. И пока братья Арсеньевы красовались при дворе да плодили бесприданников, так преуспел в вино-водочном предпринимательстве, что сумел дать дочери своей Елизавете приличное приданое. Чуть было в вековухах не засиделась старшая, но и эту комиссию уладил, просватал за Михайлу Арсеньева, одного из восьми (!) молодцов знакомого лейб-компанца. Старый друг лучше новых двух...

Мемуары Болотова расшифровывают, наполняя живым смыслом, и немую запись в метрической книге Церкви Трех святителей, той, что у Красных ворот — от 11 октября 1814 года:

«...Октября 2-го у... капитана Юрия Петровича Лермонтова родился сын Михаил... восприемником был господин коллежский асессор Фома Васильев Хотяинцов, восприемницею была вдовствующая госпожа гвардии поручица Елизавета Алексеевна Арсеньева...»

Характеристика, данная Андреем Тимофеевичем коллежскому асессору Фоме Хотяинцову — человек знакомый, любезный, умный, такой, с каким даже ему, многознаю, есть о чем поговорить — выбор Арсеньевой, суровой столыпинской снохи васильевского «бонвивана», объясняют вполне: все, что касалось внучка, Елизавета Алексеевна обдумывала нельзя тщательней. И даже ход ееображений предположительно расшифровывает: родной отец Мишеньки — «пустомеля» и «никчемушник», так пусть хоть достоинства отца крестного, в их родственном кругу всеми признанные и отмеченные, сию промашку судьбы выправят!

На наше счастье, коротко знал Болотов и деда поэта — Михаила Васильевича Арсеньева, о характере которого нам мало что известно достоверно, кроме утверждения его вдовы: внук-де унаследовал именно от деда и нрав, и свойства.

Так вот, оказывается, Михайла Арсеньев учился в одном пансионе с сыном Болотова и сделался «через то его приятелем».

Приведу еще один фрагмент из писем А. Т. Болотова к сыну; похоже, что упоминаемый здесь Михаил Васильевич — дед Лермонтова. Во всяком случае, забава, какую описывает Андрей Тимофеевич — вполне во вкусе Михайла Арсеньева; да и вряд ли бы стал Болотов-старший, при всей его дотошности, столь подробно излагать приключение в тульском трактире «Очаков», если б речь шла не об однокласснике и приятеле Болотова-младшего:

«...а ввечеру, изволите ли знать, где мы были? В Очакове... сей трактир не совсем напрасно носит сие имя! Все убранства и украшения в оном сделаны в турецком вкусе... и все служители наряжены в турецких платьях и чалмах... Причина же езды была та, что Михаилу Васильевичу, собравшись со своими знакомцами, надлежало попотчевать приятелей...»

Сомнительная забава сия Болотову, как и следовало ожидать, не показалась: «весьма не курьезен был оставаться долго в такой компании»; схлопотал головную боль и уехал домой. А вот Михайла Васильевич и, достигнув возраста, страсти к театрализованным увеселениям не утратил. Даже умер среди маскарадного шума, в Тарханах, в ночь с 1 на 2 января 1810 года, после спектакля, в котором исполнял роль могильщика (играли шекспиров «Гамлета»): «достал из шкафчика пузырек с каким-то зелием и выпил залпом...»

Факт общеизвестный. Однако попробуем и его с затверженного наизусть места сдвинуть, авось, и здесь разглядим что-нибудь еще не замеченное.

...Никаких поминовений вдова самоубийцы не делала. Ни разу по смерти мужа, ни после. Не потому, что постаралась забыть: «забвенья не дал бог», но потому что слишком помнила. Слишком, но — молча. И вдруг нарушила обет молчания. Случилось это в январе 1836-го, в год первого офицерского отпуска Михаила Юрьевича. Расстались они еще весной. Внук был выпущен в гвардию, служба требовала денег, а значит, и личного дозора за ходом хозяйственных дел в Тарханах, — за восемь лет отсутствия хозяйки все шло наперекосяк.

Разлука, вопреки расчетам, затянулась, Арсеньева пребывала в отчаянье, и тут — колокольчик...

Великоснежной была там зима, и чтобы по бездорожице добраться от Петербурга до утонувших в сугробах Тархан точь-точь к Новому году, Михаилу Юрьевичу следовало ох, как расстараться. И если б и не поспел в срок, задержавшись, скажем, в Москве, мы, право бы, вошли в положение отпускного гусара. Дело-то молодое! Но он расстарался: подкатил к крыльцу «высокого барского дома» в самый канун Нового года.

«Милый и любезнейший друг, — писала в самом начале января Елизавета Арсеньева родственнице по покойному мужу. — Дай боже Вам всего лучшего, а я через 26 лет в первый раз встретила Новый год в радости: Миша приехал ко мне накануне... Что я чувствовала увидя его, я не помню, и была как деревянная, но послала за священником служить благодарный молебен. Тут начала плакать и легче стало».

Не правда ли, какая чрезмерная, прямо-таки экзальтированная, если учесть суровый нрав госпожи Арсеньевой, реакция? Так не Случай благодарят, так от Рока откупаются. А суеверная пунктуальность ее капризного и, как злословили, имевшего несносный характер внука — домашний тиран — да и только, бедную бабушку ни во что не жалеет! Похоже, и впрямь не мог оставить ее одну, наедине с ужасной судьбой, в роковой для их общей жизни День. Не исключено, кстати, что горько-сладким воспоминаниям именно об этом Новом годе — посреди диких степных снегов — «лучистых», «серебристых и для страны порочной слишком чистых», — обязаны мы пронзительными строками из знаменитого стихотворения «Как часто пестрою толпою окружен»:

И вижу я себя ребенком; и крутом
Родные все места: высокий барский дом
И сад с разрушенной теплицей...

Во всяком случае, в Тарханах его отрочества, из которых осенью 1827-го Елизавета Алексеевна увезла Мишеньку в Москву, на ученье, разрушенных теплиц не было и быть не могло. Теплицы — забота самой хозяйки, оттого-то и обветшали, за ненадобностью, в годы ее скитаний по чужим углам и столицам...

В моих бумагах, из-за решительного охлаждения издательских интересов к классике и класикам, скопилось, ожидая лучших времен, множество подобных фактов, наблюдений, предположений.

Скажем, Лермонтов и Мэри Шелли. И жизнь, и творчество английской сей «дамы» (как назвала ее Ахматова— автора и по сию пору не забытого романа «Франкенштейн, или Новый Прометей»), жены великого Шелли и почти свояченицы Байрона¹ — долгие годы были, увы, «достоянием доцентов». Наконец, редкая книга переиздана (в «ХЛ»), и читатель может, при желании, проверить, насколько убедительно сближение этих имен.

«Новый Прометей» впервые опубликован в 1818 году, еще при жизни Байрона и Шелли, но вряд ли это издание дошло до Лермонтова. Однако невероятно, чтобы в круг его чтения не попало переиздание 1831 года, то, к которому вдова Шелли написала пространное Предисловие. В ту пору Михаил Юрьевич уже свободно владел английским (учил, чтобы читать английских поэтов в подлиннике), и вряд ли его миновали подробности смерти Шелли, утонувшего летом 1822 года у берегов Италии. (Прогулочную яхту, на которой поэт возвращался домой, к жене и ребенку, настиг внезапный шквал; тела погибших нашли лишь через несколько дней, причем Байрон, вместе с друзьями, сжег тело Шелли на костре; костер «могильщики» разожгли прямо на морском берегу).

Романтическая эта драма не стерлась в памяти русских поэтов и столетие с лишним спустя. Доказательство — английская строфа в «Поэме без героя» Анны Ахматовой (1940 г.):

**В темноту под Манфредовы ели,
И на берег, где мертвый Шелли,
Прямо в небо глядя, лежал, —
И все жаворонки всего мира
Разрывали бездну эфира,
И факел Георг держал.**

В 1830-м, в год, когда «еще неведомый избранник» жил под знаком Байрона, он записал в своем дневнике:

«Когда я начал марать стихи в пансионе в 1828 году, я, как бы по инстинкту, прибирал их, они еще теперь у меня. Ныне я прочел в жизни Байрона, что он делал то же — это сходство меня поразило!»

Согласитесь: если такая малость (ну, кто из начинающих поэтов поступает иначе?) поразила Лермонтова, то как же он должен был прореагировать на почти буквальное совпадение своих собственных мыслей (в стихотворении 1830 года) с тем, что в году следующем мог прочесть у автора «Франкенштейна»; ведь судьба Мэри Шелли так странно связана с судьбой его кумира — трагически осуждена все тем же мрачным похоронным факелом!

Лермонтов, 1830-й:

**В уме своем я создал мир иной
И образов иных существованье;
Я цепью их связал между собой,
Я дал им вид, но не дал им названья.**

Мэри Шелли, 1831-й:

«Я марала бумагу еще в детские годы, и любимым моим развлечением было «писать разные истории». Но была у меня еще большая радость: возведение

¹ Сводная сестра госпожи Шелли — Клэр Клермонт — возлюбленная мятежного лорда и мать его дочери Аллегры.

воздушных замков — когда я отдавалась течению мыслей, из которых сплетались воображаемые события. Эти грезы были фантастичнее и чудеснее моих писаний».

Не правда ли, и тут удивительное сходство с Лермонтовым?

И он — тоже, и в отрочестве, и в первой юности, торопясь и спеша, описывал стихами множество событий, переиначивая бродячие романтические сюжеты. Но главной творческой заботой было: дать название образам, уже имевшим бессловесный ВИД, и прежде всего образу русского Франкенштейна — Демона:

**Как царь, немой и гордый, он сиял
Такой волшеббно-сладкой красотой,
Что было страшно, и душа тоскою
Сжималась, — и этот дикий бред
Преследовал мой разум много лет.**

А вот как описывает взрослая Мэри Шелли свое состояние, когда создание ее воображения вдруг как бы обрело плоть:

«Я так была захвачена своим видением и хотела вместо жуткого создания своей фантазии поскорее увидеть окружающую реальность... Я не сразу прогнала ужасное наваждение, оно еще длилось...»

Лермонтов, как мы помним, отделался от Демона — стихами:

«И я, расставшись с прочими мечтами, И от него отделался — стихами» («Сказка для детей»). Точно также поступила и создательница «Франкенштейна»: «...Меня озарила мысль, быстрая, как свет, и столь же радостная: «Придума-ла! То, что напугало меня, напугает и других, достаточно описать призрак, явившийся ночью к моей постели».

Еще одна важная деталь для нашего сюжета.

Известно, что Михаил Лермонтов знал: один из его предков по отцовской линии был шотландцем. От этого «пришлеца» Лермонта и пошла, согласно семейному преданию, русская фамилия — Лермонтовы. Пока Юрий Петрович был жив, а сын его мал, мальчика, видимо, вполне устраивал уют и покой бабушкиного, столыпинского, гнезда — очень русского, усадебного, прочного (Столыпины всегда любили и ревниво оберегали свое: свой клан, имущество своего клана, птенцов своего клана, свои идеи и установления, как узко семейственные, так и высшие, к государственным началам отношение имеющие).

Смерть отца разорвала «домашний круг». осиротевшему подростку стало мерещиться, что он не такой, как все Столыпины, дядья, тетки, кузены и кузины, а не такой потому, что рожден с нездешней, шотландской душой. Конфликт, разумеется, рассосался сам собой, ну, какая Шотландия в пензенских степях, а тем паче в Москве? Москва и есть родина, отчизна — «Там я родился, там много страдал, и там же был слишком счастлив».

Правда, однажды, уже в Москве, уже, казалось бы, выросши из англо-шотландских мечтаний, как из детских курточек и дневников, он назовет Шотландию «своей», в стихотворении «Гроб Оссиана». Но легко, мимоходом, между прочим, уточнив позднее: «Узнав от путешественника описание сей могилы».

И вдруг, летом 1831 года, ни с того, ни с сего — острый приступ ностальгии по далекой, недоступной, заграничной прародине:

**Зачем я не птица, не ворон степной,
Пролетевший сейчас надо мной?
Зачем не могу в небесах я парить
И одну лишь свободу любить?**

**На запад, на запад помчался бы я,
Где цветут моих предков поля,
Где в замке пустом, на туманных горах,
Их забвенный покоится прах.**

На древней стене их наследственный щит
И заржавленный меч их висит.
Я стал бы летать над мечом и щитом
И смахнул бы я пыль с них крылом;

И арфы шотландской струну бы задел,
И по сводам бы звук полетел...

Стихи написаны 29 июля 1831 года в Средниково, подмосковном имении В. А. Столыпиной, вдовы младшего брата Елизаветы Алексеевны — Дмитрия. В том самом Средниково, где пройдут детские годы и его внука — Петра Аркадьевича Столыпина. Но это грядущее. А пока сын тайного декабриста мальчик Аркадий, тот, кому предстоит стать отцом легендарного премьер-министра, не отстает от Мишеля Лермонтова ни на шаг. Старший «кузен» мастерит ему рыцарские доспехи для игры в средние века.

Возможно, что эта каникулярная забава, потешные сии доспехи и прочий рыцарский картонаж сыграли свою роль. Как и дед Арсеньев, Лермонтов был натурой артистической, не в переносном смысле, а в прямом — с большим успехом играл в разного рода театральных затеях, крайне модных в дворянских кругах в ту пору.

Нельзя исключить и момент внутреннего отторжения от слишком столыпинской, чересчур богатой обстановки Средникова. Все-таки здесь, в чужой подмосковной, и Лермонтов, и его бабка как бы приживались, почетные, и все же чужие. Но, может, был и еще один источник странного «Желания»? Может, отчасти виновата и Мэри Шелли? Может, кроме «громادного Байрона», с каким поэт не расставался в то лето, была при нем и еще одна английская новинка — тот самый «Франкенштейн», где он мог прочесть следующее:

«Детство я большей частью провела в сельской местности и долго жила в Шотландии. Иногда я посещала более живописные части страны, но обычно жила на унылых и нелюдимых берегах Тэй, вблизи Данди. Сейчас, вспоминая о них, я назвала их унылыми, но тогда они не казались мне такими. Там было орлиное гнездо свободы, где ничто не мешало мне общаться с созданиями моего воображения».

Во всяком случае, пра-пра-прадедовский замок описан в «Желании» как орлиное гнездо свободы, куда «последний потомок отважных бойцов», то есть Мишель Лермонтов, долететь не может:

Меж мной и холмами отчизны моей
Расстилаются волны морей.

Предвижу возражения: если все это как бы так, то почему Лермонтов нигде не упомянул имени Мэри Шелли?

Отвечаю: а почему знаем, что не упомянул? С рукописями и сам поэт, выйдя из отроческого возраста, и его домашние обращались более чем небрежно. Бумаги, по крайней мере дважды, подвергались пересмотру, сортировке и уничтожению. Впервые в 1832 году, перед отъездом из Москвы в Петербург, и еще раз в 1841-м; во время последнего отпуска, Михаил Юрьевич, вместе с троюродным братцем Акимом Шан-Гиреем, произвел ревизию черновигов. «Мы с ним, — вспоминает Шан-Гирей, — сделали подробный пересмотр бумагам. (Нужное оставили, остальное бросили в корзину). Чем руководствовался автор, мы не знаем, а вот у его помощника представление о нужном было весьма странным. Аким, к примеру, уже на склоне лет, очень удивился, когда из небытия выплыла юношеская драма его гениального кузена — «Люди и страсти». Зачем-де такую ерунду печатать? Он-то полагал, что эта рукопись, на его глазах и по его совету, — уничтожена. «Вместе с другими плохими стихами, которых была целая куча».

Что, кроме списка драмы «Люди и страсти», было в той куче? А вдруг и соображения о сходстве мыслей автора сожженных бумаг с мыслями Мэри Шел-

ли? Остается гадать... Но и угадывать, ибо, как писал Пушкин, — «ум человеческий ...не пророк, а угадчик, способный видеть общий ход вещей и выводить из одного глубокие предположения». На особую глубину я, разумеется, не претендую. Глубина — дар избранных и немногих. Но видеть общий ход вещей способен, по-моему, всякий, кто не ленится «соображать понятия», в том числе и те, что кажутся далековатыми...

Скажем, дуэль Михаила Лермонтова с Эрнестом де Барантом. Причина ее до сих пор не ясна. Согласно самой поверхностной — горизонтальной — версии, картель был из-за княгини Щербатовой, за которой-де Лермонтов ухаживал, а француз — волочился.

Лет пятнадцать тому назад в биографическом очерке к молодогвардейскому однотомнику Лермонтова я высказала предположение: случай и в самом деле из тех, когда, по французскому правилу, следует искать женщину, но была ли той женщиной Мария Алексеевна Штерич-Щербатова?

Накануне Второго Изгнания, после дуэли с «французиком», Лермонтов, как известно, по воспоминаниям графа В. Соллогуба, сымпровизировал «Тучки». В этом прощании с Петербургом есть загадочная строка:

**Что же вас гонит: судьбы ли решение?
Зависть ли тайная? злоба ль открытая?
Или на вас тяготит преступление?
Или друзей клевета ядовитая?**

И тайная зависть, и открытая злоба, и клевета, и несчастное сцепление случайностей все имело место быть и оказало влияние на решение судьбы. Но преступление? В каком преступлении может обвинить себя автор?

10 мая 1840 года Александр Иванович Тургенев, человек, которого все знали и который знал все и всех, записал в Дневнике (запись сделана в Москве, на следующий день после знаменитого погодинского обеда в честь именин Гоголя, на котором присутствовал и Лермонтов, проездом на Кавказ):

«Балы у княгини Щербатовой. Сквозь слезы смеется. Любит Лермонтова».

Причин для слез у Марии Алексеевны в мае 1840-го было более чем достаточно. В начале марта она потеряла двухлетнего сына, а вместе с этой смертью и право на мужнино наследство. Однако Тургенев, а он не склонен к романтическим преувеличениям, твердо называет причину слез: «Любит Лермонтова». Впрочем, и любовь не объясняет вполне поведение княгини Щербатовой, она нарушает правила светского приличия. Объяснение, по-моему, только одно: жест отчаяния, реакция сильной и простой души на необъяснимое поведение Михаила Юрьевича.

**Он настойчиво добивался ее любви.
Он открыто ездил к ней в дом.
Он посвятил ей полные самого серьезного чувства стихи.
Он стрелялся из-за нее.**

И он избегает ее! Даже теперь, когда она в таком отчаянии! Было от чего потеряться и более искушенной, более опытной женщине.

Разумеется, ошибиться может даже такой знаток человеческих лиц и душ, каким был Александр Иванович Тургенев, ибо, как заметил Лермонтов, — «тот, кто думает разгадать чужое сердце или знать подробности жизни своего лучшего друга, горько ошибается» («Я хочу рассказать вам...»).

И тем не менее, дневниковая заметка Тургенева, хотим мы этого или не хотим, связывает, пусть легкокасательно, но сближает историю княгини Щербатовой с историей княжны Мери, над которой Лермонтов работал зимой 1839/40 гг., когда, по общему приговору, был увлечен молодой и прелестной вдовой.

Стараясь отыскать прототип княжны Лиговской, биографы поэта перебрали всех его кавказских знакомых. В список возможных претенденток попали и хорошенькие сестры Николая Мартынова. Но, думаю, опыт и впечатления Кав-

казских вод позволяли автору лишь расставить героев да одеть их в соответствии с курортной модой 1837 года. Повесть ожила и задвигалась лишь зимой 1839-го, в Петербурге. Для того, чтобы поставить Печорина в положение «меж двух женщин», одну из которых он любит, а любви другой добивается, частью от скуки, частью из страсти к экспериментам с молодой и неопытной душой, Лермонтову, конечно же, было мало южных поверхностных впечатлений.

Не будем проводить слишком уж жестких соответствий и делать из Михаила Юрьевича всего лишь экспериментатора, человека без сердца, способного превратить и собственную жизнь в театр — человеческую комедию, дабы испытать нужный ему для романа о современных нравах сюжет на жизнеспособность и выразительность. Не так уж был автор «Героя...» избалован женской преданностью, чтобы волочиться за порядочной и обаятельной женщиной из соображений «технических». Но в том, что Лермонтов, работая над «Княжной Мери», пристально и трезво наблюдал не только за окружающими людьми, но и над собой, сомнений быть не может, равно как и в том, что многие из петербургских наблюдений были использованы при создании «Журнала Печорина».

Помните, чем кончается «Княжна Мери»? Возвратившись после Пятигорской «самоволки» в скучную крепость и пробегая мыслию прошедшее, Печорин спрашивает себя: «Отчего я не хотел ступить на этот путь, открытый мне судьбою, где меня ожидали тихие радости и спокойствие душевное?». И отвечает: «Нет, я бы не ужился с этой долей».

В устах Печорина — вопрос риторический: ну, какой покой и какие радости мог обещать ему брак с девушкой, за которой он приволокнлся «шутя» и «от скуки»? Однако та же ситуация приобретает вид достаточно глубокого предположения, если сделать рокировку, то есть заменить героя — автором. А некоторое право на такой ход дает письмо Михаила Юрьевича к Алексею Лопухину, давнему другу и родному брату Варвары Александровны, чувство к которой поэт, по свидетельству Шан-Гирея, «едва ли не сохранил до самой смерти своей, несмотря на некоторые последующие увлечения».

Поздравив «милого Алексиса» с рождением сына, Михаил Юрьевич делает другу такое признание:

«...Ты нашел, кажется, именно ту узкую дорожку, через которую я перепрыгнул... Ты дошел до цели, а я никогда не дойду: засяду где-нибудь в яме, и поминай как звали, да еще будут ли поминать? Я похож на человека, который хотел отведать от всех блюд разом, сытым не наелся, а получил индигестию, которая, вдобавок, к несчастью, разрешается стихами».

Письмо, правда, написано весной 1839-го, то есть до или в самом начале романа со Щербатовой, но тем-то и знаменательно: конец как бы пребывает в начале! Узкая дорожка — путь, едва приоткрытый судьбою, — еще только брезжит, а Лермонтов уже предчувствует: опять перепрыгнет! Не рассчитает тигриной длины прыжка и... поминай как звали!

Предчувствие сбудется ровно через год. В начале 1840-го он напишет, почти одновременно, два лирических Послания, и если приложить к автору печоринскую формулу раздвоения души — «Во мне два человека...», то можно, пожалуй, сказать, что стихи тонко фиксируют раздвоение, может быть, даже генетически непреодолимое, пожизненное сплетение «противуположных» устремлений ума, сердца, судьбы.

Первое, предположительно, обращено к Машеньке Щербатовой-Штерич:

**Мне грустно, потому что я тебя люблю.
И знаю: молодость цветущую твою
Не пощадит молвы коварное гоненье.
За каждый светлый день иль сладкое мгновенье
Слезами и тоской заплатишь ты судьбе.
Мне грустно... потому что весело тебе.**

Второе еще П. Висковатов связывал с именем Варвары Лопухиной, утверждая, что Лермонтов, которому было заказано встречаться с любимой женщиной,

видел ее дочь; после этой встречи — накануне Нового Изгнания, и было написано стихотворение «Ребенку»:

О грезах юности томим воспоминаньем,
С отрадой тайною и тайным содроганьем,
Прекрасное дитя, я на тебя смотрю...
О если б знало ты, как я тебя люблю!
..... Не правда ль, говорят,
Ты на нее похож? — Увы, года летят;
Страдания ее до срока изменили,
Но верные мечты тот образ сохранили,
В груди моей; тот взор, исполненный огня,
Всегда со мной.

Словом, ежели отодвинуться от деталей, сфокусировав внимание на сути отношений, нельзя, по-моему, не заметить: ситуация, в какую, волею автора, поставлен герой романа на Водах, повторяла ту, в какой, силою вещей, оказался, к зиме 1839—40 гг., его создатель. Судьба как бы предлагала ему на выбор: тихие радости обыкновенного семейного счастья или верность романтическим грезам юности. Положение осложнялось тем, что Машенька Щербатова-Штерич, в отличие от княжны Лиговской, ученой московской барышни, читающей Байрона по-английски, была добра, набожна и простодушна, и вести с ней двойную игру было невозможно. В этих обстоятельствах (когда стало ясно, что княгиня полюбила и «не разлюбит уж даром») декоративная дуэль с ее бальным поклонником представилась идеальным выходом из затруднительного положения. Тем, что стрелялся из-за нее, вроде как наказывая заезжего волокиту (а Барант-младший, по слухам, волочился не только за Марией Алексеевной, недаром, в пересудах, возникало и имя светской прелестницы мадам Бахерахт), Лермонтов белодневно подтверждал серьезность своих чувств и намерений. Зато последовавшее за дуэлью наказание (и новый арест, и новая ссылка) избавляли его от каких-либо действий в их подтверждение. Но это реабилитировало его лишь в глазах посторонних. Себя самого отступник, похоже, судил иным судом:

Или на вас тяготит преступление...

За эту Версию мне, как и следовало ожидать, «влетело»: Лермонтов и преступление? Вещи несовместные!.. Оппоненты настроены были решительно, прямых доказательств у меня не было, и я, по размышлению, в книге о Лермонтове («С подорожной по казенной надобности», 1984) сей щекотливый вопрос дипломатично обошла.

А затем произошло почти чудо: Е. Н. Рябов разыскал в «архивной пыли» целых семь писем Марии Алексеевны Щербатовой! Сенсационная находка вернула меня к отложенной, за недоказуемостью, гипотезе.

Какие же новые аргументы можно извлечь из новонайденных писем?

Во-первых, княгиня Щербатова слишком уж тщательно скрывает свое истинное отношение к господину Лермонтову, чересчур настойчиво уверяет подругу, что относилась к обоим поклонникам с одинаковой ровной приятностью, чего, наверняка, в действительности не было. И быть не могло, хотя бы потому, что Барант-младший, был, что называется, волокитой. Это свойство Эрнеста, как следует из приводимых Е. Рябовым выдержек из семейной переписки французского посла, пугало даже его мать, вообще-то достаточно свободную от предрассудков и назойливого морализаторства. Столь тщательно — за «тройной оболочкой», таят, как правило, лишь самое сокровенное, то, что следует утаить навсегда; взаимную любовь, например, так далеко не прячут — незачем.

Во-вторых, и это также самоходно следует из публикуемых Е. Н. Рябовым текстов, Щербатова уехала (убежала!) из Петербурга, ничего еще не зная про дуэль, и вряд ли причина, какую она выдвигает в качестве основной: болезнь отца, необходимость поездки в имение, — таковой является. Да, конечно, и недомога-

ние отца, и голодающие мужики — причины весомые, но настолько ли весомые, чтобы бросить двух любимых мужчин — большого и маленького? Не потому ли так поспешно удалась от света молодая и прелестная вдова, что после нескольких светлых дней, озаренных надеждой на счастье, для нее уже наступили дни слез и тоски? Не потому ли бежит она из Петербурга в Москву, что человек, о чувствах которого, по наивности и простодушию, судила по себе, дал ей понять: так далеко, как бы хотелось ей, заходить не намерен? Разумеется, в самой деликатной форме, например, преподнеся, в качестве рождественского подарка, номер «Литературной газеты» со стихотворением «И скучно и грустно»?

**Любить... но кого же?.. на время — не стоит труда.
А вечно любить невозможно.**

Не стоит труда? И это — после благоговейного «На светские цепи»?

Странно? Но так ли странно? Вчитайтесь в знаменитые эти стихи. На первый взгляд, звучат как признание в любви, так нам их и преподносят в школе, и потом. А между тем в них нет и намека на личное индивидуализированное чувство. Фактически это даже не мадригал, а портрет. Замечательный, на редкость похожий на оригинал, но портрет. Кстати, только в данном жанре возможны, к примеру, такие строки: «Как ветер пустыни, и нежат, и жгут ее ласки» (в любом ином невозможны и неприличны!). Больше того, портрет княгини М. А. Щербатовой еще и типовой, представляющий не столько личность, сколько тип. В любом из комментариев к лирике Лермонтова вы непременно прочтете, что Мария Щербатова была украинкой по происхождению. Увы, это недоразумение. По происхождению, Штеричи были сербами, и Лермонтов это знал, поэтому-то он и называет отчизну героини Портрета «печальной», а веру ее — «детской»; поэто-му-то и глазки ее — сини, как небо тех, то есть Балканских, — стран. Кстати, герой «Фаталиста» Вулич тоже серб, и в его характере Лермонтов подчеркивает одну особенность, роднящую его с Марией Штерич: «...Все ..будто согласовалось для того, чтоб придать ему вид существа особенного, неспособного делиться мыслями и страстями с теми, которых судьба дала ему в товарищи».

Письма М. А. Щербатовой, при кажущейся откровенности, (если конечно держать в уме то, что мы знаем со слов А. И. Тургенева), эту неспособность делиться истинными мыслями и страстями с теми, кого судьба дала ей в подруги, выражают вполне. И не исключено, кстати, что тургеневская Запись продиктована еще и чувством удивления: Мария Алексеевна не похожа на самое себя! И кто знает, может быть, именно эта черта — в крайности изменяться до неузнаваемости — и пленила в ней Лермонтова? Ведь это был его излюбленный женский тип, почти идеал женского поведения, и сложился он задолго до встречи с княгиней Щербатовой:

«Видя ее (то есть княгиню Веру Лиговскую — А. М.) в первый раз, вы бы сказали, если вы опытный наблюдатель, что это женщина с характером твердым, решительным, холодным, верующая в собственные убеждения, готовая принести счастье в жертву правилам, но не молве. Увидевши же ее в минуту страсти и волнения, вы сказали бы совсем другое или, скорее, не знали бы вовсе, что сказать».

Писано, кажется, с Варвары Лопухиной, но вполне может служить эпиграфом и даже ключом — к письмам М. А. Щербатовой.

В контексте вышеизложенного по-иному воспринимается и известное письмо Белинского к В. Боткину (от 15 марта 1840 года). Виссарион Григорьевич здесь утверждает: Лермонтов в восторге от дуэльного случая, от того, что поединок с Барантом, вопреки предосторожностям, получил огласку. Белинский, правда, передает с чужих слов; знаменитое свидание Критика с Поэтом, состоится позднее, но отсутствие оговорок и ссылки на источник сведений заставляет предположить, что сведенья — надежны, и что Лермонтов, действительно, производит впечатление человека, освободившегося от каких-то пут, что душа его и в самом деле «жаждет впечатлений и жизни».

Если принять эту версию, то есть предположить в порядке допущения, что

Михаил Юрьевич сознательно шел на конфликт с Петербургом — искал дуэли, дабы вырваться из плена на волю, — неожиданной стороной оборачивается и история стихотворения «Как часто пестрою толпою окружен». Как я уже упоминала, оно было опубликовано в начале 1840 года, с пометой «1-ое января». Упоминала, в начале статьи, и о том, что день этот, в семейном календаре поэта, был днем тайного траура. Но только ли сугубо домашними обстоятельствами объясняется появление Пометы?

Как известно, публикация (в «Отечественных записках») вызвала резкое неудовольствие в правительственных сферах, и это, наверняка, не могло не повлиять на неожиданно серьезный, даже в глазах столичного истеблишмента, исход казалось бы пустякового дуэльного Дела. Наказание явно не соответствует тяжести преступления, ведь Лермонтов дрался с французом, а во Франции картель был законным способом разрешения возникающих между людьми дворянского звания противоречий.

Неудовольствие царствующего семейства вообще-то не совсем понятно, ибо речь в стихах Лермонтова идет вроде как о заурядном публичном развлечении — маскарадных плясках, каких в Петербурге в ту пору не счесть. Между тем, высочайшее мнение на сей счет демонстрировалось столь явно, что уже П. Висковатов предположил: гнев государев не беспочвен. По его данным, Лермонтов, якобы не узнав под масками, дерзко обошелся с царевнами на каком-то великосветском балу 1-го января.

Предположение первого биографа поэта, по-видимости, не подтвердилось. Перерыл множество труднодоступных архивных источников, лермонтоведы не обнаружили ни одного петербургского великосветского маскарада, на котором наверняка и именно 1-го января 1840 года автор мог бы столкнуться с членами императорской фамилии. Единственная зацепка — найденная Андреевым-Кривичем запись в камер-фурьерском «кондуите»: 31 декабря 1839 года в 11.50 (вечера) Государь Император, вместе с наследником, выехал из дворца в «воске» в Каменный театр, а вернулся 1 января, в 1.55 (ночи) уже без наследника. Предполагается: на балу в Большом театре мог оказаться и Лермонтов, хотя, зная «слабости» великодержавного «саладона», вероятнее предположить, что двухчасовая, под благовидным предлогом, отлучка из Зимнего, была использована Государем совсем для другой надобности...

Короче, допуск столь велик и вероятность подобной встречи так мала, что даже Лермонтовская энциклопедия лишь приняла эту гипотезу к сведению: реальные, дескать, основы ее «подлежат дальнейшей проверке».

Но, может быть, и не было в зашифрованной помете крамольного — околуполитического — смысла? Может, Лермонтов писал хотя и об общем быте, но по личным мотивам, тем более, повторяю, что у него имелись веские причины и для чрезмерной нервности, и для неадекватных реакций на роскошные столичные забавы в памятный слишком День?

Был! И ключ к смыслу шифра, как и в случае с потерянной Васильевской (Луковицами тож), лежал на открытом месте, и давно, более ста лет, но, как часто случается, видимо, именно поэтому там его никто и не искал... Я имею в виду опубликованные в «Русском архиве» (год 1884, книги 1—2) воспоминания штабс-капитана Е. П. Самсонова. Но прежде чем их цитировать, скажу несколько слов о личности мемуариста — дабы у читателей не создалось впечатления, будто я пользуюсь сомнительными, нуждающимися в дальнейшей проверке данными.

Е. П. Самсонов окончил то же училище, что и Лермонтов (Школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров), только четырьмя годами раньше, еще в ученические годы обратив на себя внимание и непосредственного начальства, и высоких шефов — Николая и Михаила Романовых. Отметим Самсонова и императрица — во время потешного штурма Петергофских фонтанов, что, впрочем, неудивительно: Самсонов был боек умом и недурен собой, а главное, ловок, расторопен и сообразителен. По той же, похоже, причине царственные родители и выбрали его в товарищи к наследнику, которого первый юнкер выпуска 1830 года и развлекал — в свободное от занятий время. И, видимо,

развлекал удачно, поскольку по окончании курса был оставлен при дворе «генеральским адъютантом» А. Х. Бенкендорфа. Место почетное, но бесхлопотное, а юному «Фигаро» хотелось действовать. Помогло несчастье: по недосмотру дворцовой прислуги (лопнула печная труба в одном из отдаленных покоев), загорелся и выгорел за семь дней — до руин Зимний. Дворец, разумеется, отстроили заново, и через год «погорелые» Романовы вернулись в свою постоянную резиденцию. Самсонов же момента не упустил, подсуетился: по его инициативе для усиления бдительности и порядка создали «Управление делами Императорской главной квартиры и собственного его Императорского Величества конвоя». Инициатор, естественно, стал одним из главных действующих лиц новой «комиссии». И закрутилось: Самсонов — здесь, Самсонов — там... Все взял на себя деятель: и безопасность Главной квартиры, и постановку и уборку Высочайшей Палатки (при частых выездах Хозяина из столицы) — все, вплоть до французских записок-приглашений иностранным послам и посланникам. Но самым трудным Днем в многотрудной деятельности Управления и Управленцев был, как свидетельствует Е. П. Самсонов, — День 1-го января любого года, так как «по издавна заведенному порядку» на этот день «назначены бывали в Зимнем дворце маскарады, на которые допускалась вся Петербургская публика, безразлично имеющая или нет права на проезд ко двору». В обязанности же образованного сообразительностью Самсонова «Управления делами», помимо всего прочего, входило «назначение» («для соблюдения порядка в апартаментах дворца, посещаемого масками») дежурных: «по одному генералу, флигель-адъютанту или генерал-майору Свиты его Величества в каждой комнате».

Помножьте офицеров Свиты на количество дворцовых покоев — выйдет, что ежегодно, 1-го января, цвет столичного воинства, по императорскому капризу, превращался в дворцовую челядь — зрителей бальных залов, дабы публика, под шумок «музыки и пляски», не прихватила при разъезде толику царских сокровищ.

Вряд ли подобное мероприятие пользовалось сочувствием среди вечно фрондирующих сослуживцев Лермонтова. В мужских, гусарских компаниях, может быть, и поговаривали, что «Николаев день» позволяет городским прелестницам предложить самому богатому помещику России единственное свое богатство — красоту...¹

Про себя и меж своих, может, и посмеивались, и над селадонскими амбициями Государя-батюшки, и над его пониманием демократизма... Однако при всех, полагаю, помалкивали, ибо, при всей потешности дня открытых дверей, в нем был высокий государственный смысл: братаясь с петербургской публикой, Самодержавие наглядно демонстрировало свою Народность. И стольному Граду. И Миру — через послов и посланников.

Лермонтов, таким образом, замахнулся на святая святых — на основы порядка и власти, одним махом, одним росчерком пера — 1-го января! — задел слишком многих.

Уточняю: написать резкую критику на маскарадно-ритуальное действо в Зимнем дворце, поставив вместо эпитафии, известной подлостью прославленную дату, было, по тем временам, ничуть не менее дерзким, чем, скажем, фельетон, высмеивающий «фальшак» доперестроечного юбилейного мероприятия, с пометкой: «7-е ноября»...

¹ К сожалению, мне пока не удалось установить, в каком именно году российскому «Султану» вздумалось завести в Зимнем первоянварские публичные маскарады (события, описываемые Самсоновым, происходит в интервале 1837—1841, наверняка). Но если выяснится, что пляски устраивались во Дворце и в 1830—31 гг., предлагаю к размышлению такой сюжетец. В «Сказке о царе Салтане» (1831), как мы помним, батюшка-царь предлагает красавице из простонародья родить ему богатыря к исходу сентября. Следовательно, достопамятный «торг» происходит сразу после Нового года!.. Кроме того, Салтан (султан), хотя и стоит во время разговора позади забора, оказывается обладателем всеслышащих ушей! И вряд ли это сказочная условность, ведь в черновой заготовке Пушкиным сказано: «Царь имел привычку гулять поздно по городу и подслушивать речи своих подданных». А что, если и это намек на те же самые, что и у Лермонтова, — всем известные обстоятельства?..

Крайность этой дерзости невольно наводит на мысль: уж не специально ли шел Лермонтов на конфликт, дабы вырваться из однообразия светской столичной жизни, с ее красивой, но опасной для вольного сердца — неволей? Уж не повторил ли беглец от счастья уже опробованный в 1832-м план побега — из Москвы в Петербург?

Есть еще один момент в житейской и творческой биографии Михаила Лермонтова, который, по известным причинам, так долго был закрыт для исследования и посещения, что как бы и выпал из сферы размышлений. Я имею в виду участие поэта в русско-кавказской, вечной, как выразился однажды Мих. Орлов, — войне.

«Звериный лик завоеванья дан Лермонтовым и Толстым», — написал когда-то Пастернак и, испугавшись самого себя, исключил опасную строфу из последующих изданий цикла «Волны». И впрямь ведь дан! И открыто — в «Валерике», и зашифровано — в «Герое нашего времени», где автор антиколониального романа, как тест — на выбор предлагает два варианта поведения в условиях завоеваний. Герой-повествователь везет с собой — «в Русь» — полчемоdana записок о Грузии; это его единственный трофей. Печорин также пописывает, но заносит в Журнал лишь то, что касается его собственной персоны, и при этом ведет себя так, словно нет ни войны, ни рожденных ею мучительных для порядочного человека нравственных проблем: дабы разогнать скуку, охотится на диких кабанов и диких черкешенок!

Обратите внимание и на такую подробность. Очутившись за хребтом Кавказа, еще в 1837 году, двадцатидвухлетний Лермонтов, не мешкая, принялся изучать «туземный язык» («Начал учиться по-татарски); маракует по-татарски и Максим Максимович. Один Печорин гарцует, теща свое тщеславие тем, что в седле больше похож на кабардинца, чем сами кабардинцы! Казалось бы, мелочь, но поглядите, какие страсти кипят сегодня, какие драмы разыгрываются из-за нежелания «русских прибалтов», «русских кавказцев» изучать наречие коренного населения! И не захочешь, а вспомнишь счет, предьявленный юным автором «Смерти поэта» убийце Пушкина: «Смеясь, он дерзко презирал земли чужой язык и нравы!»

Кстати, точно так же поступил и Пушкин: оставил открытое осуждение русской экспансии на восток во глубине черновиков для нас, потомков, («Так ныне безмолвный, Кавказ негодует, так чуждые силы его тяготят»), а свои соображения на сей счет открыто зашифровал в тексте «Сказки о золотом петушке».

Рать за ратью пропадает без креста над «надгробным курганом», исчезает бесследно и «промеж высоких гор», и в малярийных болотах Колхиды, и в «тесных ущельях»; и безымянные гибнут, и именитые, а «отец народа», самодержавный Дадон — (долдон-дуботолк) какой уж век долдонит свое: «Люди, на конь! Эй, живее!»

Откуда Шамаханская царица, этот восточный фантом, этот азиатский морок? — вопрошает Валентин Непомнящий... Отчасти, конечно, отсюда же, откуда «полоненная персидская царевна»...

Но — не только!

«Человек мой со вьючными лошадьми от меня отстал. Я ехал один... Два вола, впряженные в арбу, поднимались по крутой дороге. Несколько грузин сопровождали арбу. «Откуда вы? — спросил я их.— Из Тегерана. — Что вы везете? — Грибоеда...»

Как мало же мы понимаем Пушкина, если вообразили, будто эта ужасная шекспировская встреча — в виду крепости Гергеры (селение в Персии, последняя на пути в Россию станция тогдашних собственно персидских владений) так и останется сухой путевой заметкой. Так мало понимаем и так туго соображаем, что не сообразили очевидности: «Сказка о золотом петушке» и «Путешествие в Арзрум» недаром и писались практически одновременно, и напечатаны «в затылок»: «Сказка» — в 1835-ом, «Арзрум» — в январе 1836-го. Они комментируют, объясняют друг друга...

Впрочем, пушкинское Предсказание того, чем кончится шагреневый «роман» «отца народа» с Шамаханской царицей, слишком уж обогнало свое время.

Надо было нам, наследникам «долдонов», пережить и Карабах, и армянскую «блокаду», и Фергану, и Грузию, и Абхазию, чтобы уразуметь смысл намека, более 150 лет назад зашифрованного в финале вещей сказочки, в образе творящего Возмездие золотого-огненного Петушка:

**Вдруг раздался легкий звон,
И в глазах у всей столицы
Петушок спорхнул со спицы,
К колеснице полетел
И царю на темя сел,
Встрепенулся, клюнул в темя
И взвился...**

**.
А царица вдруг пропала,
будто вовсе не бывало.**

Для подтверждения хотела было пересказать тезисно появившееся в прошлый лермонтовский юбилей (175 лет со дня рождения) исследование Р. Ахвердян «Мцыри» и имеретинское восстание 1819—1820 гг.». Однако, по размышлению, решила, что лучше дать читателям «Согласия» возможность познакомиться с замечательным текстом в полном объеме, ибо, по моим сведениям, одиннадцатый за 1989-й г. номер «Литературной Грузии» до Москвы почти не дошел; его почему-то нет даже в крупных библиотеках; не получили одиннадцатую тетрадь и многие подписчики «ЛГ», я в том числе. Между тем содержащаяся в статье Роксаны Ахвердян информация стоит того, чтобы над ней задуматься и, разумеется, не только в связи с «Мцыри».

«МЦЫРИ» И ИМЕРЕТИНСКОЕ ВОССТАНИЕ 1819—1820 ГОДОВ

О поэме М. Ю. Лермонтова «Мцыри», казалось бы, сказано все. Определены даже возможные прототипы ее героя (см. труды Н. Шабаньянца, М. Лохвицкого и др.). Однако вновь и вновь писатели и ученые возвращаются к анализу лермонтовской поэмы, к истории ее создания, что порождает порой новые цепочки версий и гипотез, пусть иногда кажущихся фантастическими. Любовь к Лермонтову неиссякаема. Отсюда пристрастность, отсюда предвзятость суждений, которая как раз и может оказаться пронизательнее многих фактов...

У нас — своя гипотеза, на первый взгляд, фантастическая: Мцыри — грузин, имеретин, сын одного из участников Имеретинского восстания 1819—1820 годов.

Каковы основания для выдвижения подобной версии?

Начнем с того, что уточним возраст Мцыри. В поэме о пленном мальчике говорится: «он был, казалось, лет шести...» А в первоначальном варианте сказано еще определеннее: «Он был не старе лет шести...»

События, о которых повествуется в поэме, датируются довольно точно. Начало их относится, приблизительно, ко времени после 1801 года («Тогда уж Грузия была под властью русских»), а завершается рассказ временем недавним («немного лет тому назад...»), т. е. близким к 1837 году. Судя по всему, Лермонтов связывает события своей поэмы с походами Ермолова в Чечню и Дагестан. «Русский генерал» (или «старый генерал» в другой редакции) — это и есть сам А. Ермолов, имя которого прямо называлось в черновиках «Мцыри». Действительно, в 1820 году завершилась возглавляемая Ермоловым первая крупная экспедиция против непокорных народов Чечни и Дагестана, начавшаяся еще в 1818 году. Ермолов вернулся из этой экспедиции в Тбилиси 23 февраля 1820 года¹. Таким образом, если Мцыри попадает в плен в 1820 году, когда ему было шесть лет, то, следовательно, Лермонтов положил ему родиться в тот год, когда родился сам — в 1814 году.

Лермонтов связывал пленение Мцыри с походом Ермолова в Чечню и Дагестан, и благодаря этому возникло распространенное мнение, что в лице Мцыри Лермонтов изобразил северокавказского горца, возможно, чеченца. К такому выводу приходят, например, авторы книги «М. Ю. Лермонтов и Чечено-Ингушетия» (Чечено-ингушск. книжн. изд-во, 1964, с. 7). Существуют и другие версии (см. Иванова Т. Лермонтов на Кавказе. М., изд-во «Детская лит.», 1968, с. 90—95), не получившие, однако, признания в лермонтоведении.

Но если Мцыри был дагестанцем, то возникает вопрос: для чего Ермолову понадобилось везти маленького горца, да еще больного, через горы именно в Тбилиси? Не проще ли было отправить его в Дербент или оставить во Владикавказе? Кстати, именно там видел Пушкин детей аманатов (т. е. пленных, заложников) во время своего путешествия в Арзрум в 1829 году.

Следует отметить, что Ермолов считал обязательным брать заложников, в том числе и детей, т. к. видел в этом эффективное средство для освобождения пленных русских солдат и офицеров и гарантию покорности завоеванных областей и племен. Отношение к заложникам при этом было весьма жесткое. Их казнили в случае мятежей, старались держать в условиях, не обременяющих казну. После окончания своего похода, в 1820 году, Ермолов писал: «От знат-

¹ См. Записки А. Ермолова, ч. II, 1816—1827 гг., М., 1868.

нейших фамилий приказал я взять 24 аманата и назначил им пребывание в Дебренте», т. е. заложников не увезли, а оставили в надежном месте поблизости.

Нет ли здесь противоречия между «реальной» судьбой Мцыри и тем, как она описана в поэме? Конечно, Лермонтов был вправе отступить от житейского факта во имя художественной правды. И все же очевидное несоответствие «факта» и «правды» имеет, как правило, особый и важный смысл.

Как утверждают ученые, о пребывании Лермонтова на Кавказе и особенно в Грузии известно очень мало. Неизвестны не только имена людей, с которыми Лермонтов познакомился в период службы в Нижегородском полку, но даже точный срок его пребывания в Грузии. Считается, что в Закавказье Лермонтов прибыл не раньше середины октября, а обратно в Россию из Тбилиси выехал приблизительно 5—8 декабря, т. е. пробыл в Грузии около двух месяцев.

Одним из главных свидетельств того, что Лермонтов побывал во Мцхета, т. е. в местах, описанных позднее в поэме «Мцыри», является его картина «Вид с саклей», на которой изображен монастырь Джвари, возвышающийся над Мцхета. На картине виднеются также дальние очертания собора Светицховели. Несомненно, что одна из лучших живописных работ Лермонтова связана с замыслом «Мцыри». При этом, как справедливо указывает И. Л. Андроников (Лермонтов в Грузии в 1837 году. М., Сов. писатель, 1955), в Светицховели внимание Лермонтова привлекли гробницы грузинских царей, а в Джварис-сакдари, мцхетском храме, воздвигнутом в VII веке, его поразили удивительное местоположение и подлинно романтическая обстановка. В своем описании поэт слил два мцхетских храма. Прямая узнаваемость поэтических описаний «Мцыри» и связанных с ними исторических мотивов, преданий и т. п. заставляет предположить не только то, что поэт побывал в этих местах, но и то, что рядом с ним находился человек, хорошо знавший эти окрестности, грузинскую историю, фольклор. В поэме визуальное впечатление и содержание связаны настолько тесно, что нельзя сомневаться — рассказы о здешних местах Лермонтов слышал здесь же, а не позднее — в тбилисских салонах и, тем более, вне Грузии, хотя поэму он написал двумя годами позже — в 1839 году.

До нас дошел рассказ П. А. Висковатова, основанный на свидетельствах А. П. Шан-Гирея и А. А. Хастатова, повествующий о событиях, которые легли в основу поэмы «Мцыри» (Лермонтов М. Ю. Соч. в 6-ти т. Т. 4, изд. АН СССР. М.-Л., 1955, с. 409). Одни исследователи, например, А. В. Попов, считают его совершенно достоверным, другие, в первую очередь И. Л. Андроников, — ставят под сомнение.

П. А. Висковатов рассказывает о том, как поэт, странствуя в 1837 году по Военно-Грузинской дороге, наткнулся во Мцхета на старого монастырского служку, «бери», который поведал ему свою историю.

Первое возражение И. Л. Андроникова относится к возрасту «бери». Ермолов был назначен на Кавказ только в 1816 году, и его первые экспедиции относятся к 1818—1820 годам. Таким образом, взятый в плен шестилетний мальчик не мог успеть состариться к приезду Лермонтова в 1837 году. Здесь И. Л. Андроников, безусловно, прав.

Второе же его возражение кажется нам необоснованным. Андроников считает, что Висковатов сам составил эту историю, добавив к воспоминаниям свои собственные домыслы. Но нам представляется, что при внимательном анализе рассказа Висковатова и даже его противоречий можно установить ряд весьма интересных фактов.

И. Л. Андроников пишет, что в первой половине XIX века во Мцхета не было действующего мужского монастыря, куда бы Ермолов мог бы отдать пленного горца. Действительно, в самой Мцхета не было такого монастыря. Но почему-то И. Л. Андроников и другие лермонтоведы упускают из виду, что в окрестностях Мцхета в те годы существовал довольно популярный в Грузии монастырь — Шиомгвимский¹, занимавший в иерархии грузинских монастырей

¹ См. Вольский А. Рельефы Шиомгвимского монастыря и их место в развитии грузинской средневековой культуры. Тбилиси, 1957.

второе после Зедазенского место. Как известно, Лермонтов интересовался Зедазенским монастырем и его окрестностями, поэтому вполне естественно предположить, что он знал и о существовании Шиомгвимского.

Известный грузинский историк Платон Иоселиани издал в 1845 году в Тбилиси книгу «Описание Шиомгвимской пустыни в Грузии». Прошло всего семь лет после того, как во Мцхета и его окрестностях побывал Лермонтов. Следовательно, данные, приводимые в книге, были еще очень актуальны. Иоселиани указывает, что к монастырю вели три дороги, одна из которых — с юга — идет через Мцхета. Именно этой дорогой мог воспользоваться Лермонтов. Когда-то в монастыре и близ него селилось около 5000 монахов. Сюда приходило огромное количество богомольцев. С 1803 года монастырь был заново заселен. И в 1820 году, т. е. в год предполагаемого пленения Мцыри, и в 1837 году, когда во Мцхета и его окрестностях побывал Лермонтов, Шиомгвимский монастырь действовал, и, стало быть, поэт мог побывать в нем, тем более, что в рассказе Висковатова говорится о «близлежащем монастыре».

Платон Иоселиани подробно рассказывает об устройстве обители, о числе комнат, где жили монахи, здесь он приводит длинный список настоятелей Шиомгвимского монастыря. В этом списке бросается в глаза, во-первых, то, что все настоятели за указанный период были русскими, а, во-вторых, что все они со времени образования Тбилисской духовной семинарии, были ее ректорами. Следовательно, Шиомгвимский монастырь был придан Тбилисской духовной семинарии и управлялся, видимо, из Тбилиси. В-третьих, все его настоятели возвращались через некоторое время в Россию и при этом «с повышением», получая высокие должности и места. Все это говорит о важном значении Шиомгвимского монастыря в первой половине прошлого века, а также и о том, что в эту обитель — единственный в окрестностях мужской монастырь — вполне мог попасть Мцыри, которого, в свою очередь, мог посетить Лермонтов в 1837 году.

И. Л. Андроников упустил из виду этот монастырь очевидно потому, что искал обитель непосредственно во Мцхета, либо в направлении к Тбилиси. А Шиомгвимский монастырь находится как раз в противоположной стороне — по дороге к Кутаиси. И если герой Лермонтова был не северокавказским горцем, а грузином, и везли его не из Владикавказа, а из Кутаиси, то совершенно логично, что привезли его в Шиомгвимский монастырь.

В связи с нашей версией укажем еще на одно любопытное обстоятельство. П. Иоселиани в нескольких местах своей книги, отмечает несомненное тяготение Шиомгвимского монастыря к Имерети. Так, рассказывая об одном из храмовых праздников, он говорит, что в Грузии подобные праздники отмечаются лишь в Имерети; в монастыре находится могила имеретинской царевны Тамар, дочери царя Шахнаваза. И, наконец, Иоселиани пишет: «В Имерети есть пустыня, именуемая также Мгвимскою... Она находится на берегу реки Квирила... на пути через Кортохи... (это) путь и донныне служащий торговым между Карталинею и Имеретиею» (с. 13).

Теперь что касается чужого для Мцыри языка, господствовавшего в монастыре. Мы привыкли считать, что для Мцыри чужим является грузинский язык. Но следует вспомнить, что к описываемому периоду, после отмены в 1811 году грузинской автокефалии, в некоторые дни было запрещено вести службу на грузинском языке. Учитывая, что в Шиомгвимском монастыре настоятели в то время были русские, можно сделать вывод, что служба здесь вообще велась только на русском языке, который был непонятен мальчику, доставленному сюда из Имерети.

Хотя мы не располагаем документально обоснованными данными о том, с кем встречался Лермонтов в свой приезд в Грузию в 1837 году, можно не сомневаться, что он установил связи с грузинским обществом, и, в частности, с семьей А. Чавчавадзе, через Прасковью Николаевну Ахвердову, в девичестве Арсеньеву, троюродную сестру своей покойной матери, т. е. его троюродную тетку. Известно, что в Грузии Лермонтов нашел много хороших друзей. В конце 1837 года он писал своему другу С. А. Раевскому из Грузии: «...хороших ребят здесь много, особенно в Тифлисе есть люди очень порядочные», но, к сожалению,

никого из них не называет. Уезжая из Грузии, Лермонтов написал стихотворение «Спеша на Север издалека», посвященное Майко Орбелиани, задушевному другу великого грузинского поэта Николоза Бараташвили.

Несомненно, Лермонтов нашел хороших друзей и в Нижегородском полку, в котором он служил в Грузии. Нами установлено, что в этом полку служил и князь И. М. Андроников, сын двоюродной сестры царя Имерети Соломона II. В 1812 году И. М. Андроников вместе с матерью прибыл из Имерети в Петербург, где получил блестящее образование. Стал юнкером. В 1824 году он уже был майором Нижегородского драгунского полка, в составе которого с 1830 по 1849 год воевал против лезгин. Следовательно, И. М. Андроников находился в Нижегородском полку в 1837 году, в то время, когда там служил Лермонтов. В 1849 году И. М. Андроников стал военным губернатором Тифлисской губернии.

Тот факт, что человек, близкий ко многим участникам Имеретинского восстания, служил вместе с Лермонтовым в одном полку, возможно, не привлек к нашего внимания, если бы не одна деталь, которую почему-то все исследователи упускают из виду: командиром Гродненского полка, куда Лермонтов отбыл из Грузии в 1838 году, был Дмитрий Георгиевич Багратиони-Имеретинский.

В Нижегородском полку к Лермонтову, наверняка относились очень тепло, недаром, уезжая из Грузии, он писал: «Если бы не бабушка, то, по совести сказать, я бы охотно остался здесь, потому что вряд ли поселение веселее Грузии». Трудно предположить, что Лермонтов уехал из Грузии без рекомендательных писем, если не от И. М. Андроникова, то от других имеретинцев. Иначе, чем можно объяснить, что опальный поэт после Грузии поехал именно к грузину — к Багратиони-Имеретинскому и потом так быстро очутился в Петербурге? Не дружбой ли с грузинами объясняется особое расположение к Лермонтову в полку, в частности, тот факт, что всего за два месяца он получил один или два восьмидневных отпуска в Петербург? Может быть, как раз именно в этих связях и следует искать тех грузин, которые были близки Лермонтову в то время, когда он писал «Мцыри» (да и «Демона» тоже).

Подробности жизни князя И. М. Андроникова взяты из обнаруженной нами книги «Биография генерала от кавалерии князя И. М. Андроникова», вышедшей на русском языке в 1869 году в Тбилиси в «Особых прибавлениях к газете «Кавказ», автором которой является К. Х. Мамацашвили (Мамацев. 1819–1900), близко знавший Лермонтова во время второй его ссылки в 1840 году. (См. Шадури В. С. Новое о Константине Мамацашвили — однополчанине Лермонтова. Литературная Грузия, 1974, № 10; с. 81–85.) О встречах с поэтом Мамацашвили рассказывает в своих произведениях. В ЦГИА Грузинской ССР (ф. 1087, оп. 1, д. 666, 1046, 1060) нами были найдены рукописные материалы произведений К. Х. Мамацашвили. То, что именно Мамацашвили, с которым в дальнейшем подружился Лермонтов, пишет об И. М. Андроникове, служившем вместе с поэтом в Нижегородском полку, не может не представлять определенного интереса.

Однако вернемся к лермонтовской поэме, в частности, к ее названию. Висковатов в своем рассказе называет монаха «бери». Таким образом, Мцыри не мог быть северокавказским горцем-мусульманином, а по всей видимости являлся грузином-имеретинцем, ибо если даже допустить, что магометанин (каковыми являлись горцы Дагестана) принял христианство, то, согласно церковным правилам, он не мог быть постриженным в монахи.

Как указывает А. Киквидзе (История Грузии. 1800–1890 гг. Тбилиси, 1977, с. 90, на груз. яз.), в грузинской православной (ортодоксальной) церкви слово «бери» означало службу монастыря.

Именно так предполагал Лермонтов назвать свою поэму, написав слово «Бэри»¹ на обложке своей рукописи и сделав внизу примечание: «Бэри — по-грузински: монах». Но слово «бери» не подходит к юноше, еще не давшему монашеского обета. Поэтому в 1840 году, включая поэму в сборник стихов, Лермонтов озаглавил ее «Мцыри». Но и это слово снабдил примечанием: «Мцыри на грузинском языке значит «неслужащий монах», нечто вроде «послушника».

¹ У Лермонтова — «бэри», но согласно грузинской орфоэпии и орфографии «бери».

Слово «бери» не подходило и потому, что оно, кроме «монаха», означает на грузинском языке «пожилой человек», «старик». Название поэмы «Мцыри» было удачным вдвойне. «Мцыри» означает, во-первых, «послушник» и, во-вторых, что особенно важно, «пришелец», «прибывший добровольно или привезенный насильно из чужих краев одинокий человек, не имеющий ни родных, ни друзей. В переносном смысле «мцыри» значит также «бедняк», «странник», «скудная почва» (см. Толковый словарь грузинского языка, т. 5, Тб., 1958, с. 1223). В «Грузинском лексиконе» Сулхана-Саба Орбелиани (1658—1725) читаем: «Мцыри» — это пришелец, находящийся и воспитывающийся в чужих краях или очищающий свою душу и молящийся в святых местах».

Любопытно, что по сравнению со словом «бери», широко распространенным в грузинском языке, «мцыри» уже при Лермонтове считалось архаизмом. Разъяснить значение этого слова поэту, конечно, мог образованный грузин, хорошо знающий историю родного языка, культуру и историю Грузии. «Мцыри» было редкое полузабытое архаичное слово, которое как-то не соответствовало тому, что рассказанная в поэме история произошла совсем недавно, «немного лет тому назад». Остановив свой выбор на этом слове, Лермонтов как бы даровал ему в грузинском языке новую жизнь, благодаря его поэме оно вновь обрело популярность. К этому следует добавить, что в Грузии существует также довольно распространенное собственное имя Бери. Слово «мцыри» также употреблялось как имя собственное, как прозвище, соответствующее русскому — младший. Например, широко известны имена средневековых грузинских ученых и писателей — Эфрема Мцире и Георгия Мцире.

А может быть, и встреченный Лермонтовым во Мцхета молодой человек назвал себя Бери, т. е. Бери Мцире?

Возможно, дело было так: маленького Бери по приказу Ермолова везли в Тбилиси. В дороге он заболел и поэтому был оставлен в Шиомгвимском монастыре на попечение старого монаха — «бери». Маленький Бери сначала бунтовал, пытался бежать. После одного из побегов он серьезно заболел, едва не умер. Старый монах выходил его. Бери остался в монастыре, смирившись со своей судьбой. Впоследствии с помощью настоятеля монастыря Бери был определен в духовное училище, а затем в Тифлисскую семинарию. Здесь он выучил русский язык и получил достаточное образование. Закончив семинарию, он вернулся в Мцхета, где получил какую-то должность при мцхетском соборе Светицховели. Здесь его и встретил Лермонтов, проезжавший Мцхета в 1837 году. Они разговорились. Бери показал ему собор и поведал свою историю. Затем сопровождал его по окрестностям Мцхета, рассказывая местные предания и легенды, рассказал и о своем спасителе, старом монахе — «бери». Он объяснил значение своего имени и прозвища.

Конечно, трудно утверждать, что дело обстояло именно так, что все наши предположения могут оказаться верными, но если подтвердится хоть одно из них, то это заставит взглянуть на поэму иначе. Тогда придется допустить, что Бери Мцире был грузином. И, забегая вперед, скажем, что он был имеретинцем. Кстати, он и в этом случае оправдал бы одно из значений слова «мцыри» — «чужой»: ведь его привезли из Имерети в Картли, из Западной Грузии — в Восточную.

Но почему Лермонтов не сказал прямо, что герой его был имеретин? А потому, что это было бы напрямую связано с целым комплексом крамольных «сюжетов»: Имеретинское восстание и заговор 1832 года, критика колонизаторской политики царского правительства в единой Грузии и т. п. Хотя Лермонтов и понимал, что присоединение Грузии к России обеспечивало Грузии безопасность от внешних врагов и представляло собой единственный путь для развития ее экономики и культуры, он в то же время глубоко сочувствовал борьбе народов Кавказа против власти российского самодержавия. Пафосом борьбы пронизана и его юношеская поэма «Измаил-бей», и «Мцыри».

Несомненно, что в ближайшем окружении Лермонтова во время его пребывания в Грузии в 1837 году были люди, только что или недавно вернувшиеся из ссылки, на которую они были осуждены как участники заговора 1832 года или

как «прикосновенные» к нему. В Имерети еще живо помнили восстание 1819–1820 гг. как участники этого восстания, так и те, кто его подавлял. Круг этих вопросов настолько интересовал Лермонтова, что он собирался писать роман «из кавказской жизни с Тифлисом при Ермолове, его диктатурой и кровавым усмирением Кавказа, персидской войной и катастрофой, среди которой погиб Грибоедов в Тегеране»¹. О своем замысле Лермонтов с увлечением рассказывал секунданту Глебову по дороге к месту дуэли с Мартыновым. В поэме «Мцыри» отразились мысли Лермонтова об этих вопросах. Не случайно появление поэмы было горячо встречено в Грузии, причем особое внимание придавалось здесь мотивам борьбы, преодоления, сопротивления. Своим мятежным духом Мцыри оказался близок грузинским уманастроениям. Рассказывая о переводе И. Чавчавадзе поэмы «Мцыри», Л. Д. Хихадзе² пишет, что перевод был сделан превосходно, при этом везде, где допускается текстом оригинала, акцентируется мятежная непримиримость Мцыри, органическая невозможность для него приспособиться к плену. В условиях русской самодержавно-крепостнической действительности пленник монастырской кельи Мцыри воспринимался как пленник русского самодержавия и шире — как символ несвободного человека вообще.

Колониальный режим, установленный в Грузии царизмом после присоединения к России в 1801 году, вызвал недовольство самых разных слоев населения. Первое серьезное восстание в Грузии произошло в 1804 году. За ним последовало восстание 1812 года в Кахети и Картли и др. Великодержавная политика царизма вызвала в 1819 году антиколониальное народное восстание в Имерети, которое было одним из крупнейших в Грузии в XIX веке. Оно продолжалось больше года, захватило Имерети, почти всю Гурию и Самегрело. Народ восстал против чужеземного господства, он боролся за родной язык и национальную самобытность. Дворянство, потерявшее свою политическую и административную власть, примкнуло к восставшим так же, как и духовенство, выступившее против церковной реформы, против перечисления в казну церковного имущества и доходов.

По определенным причинам Имеретинское восстание в нашей историографии долгое время не получало должной оценки. Н. Б. Махарадзе³, одним из первых грузинских ученых подробно изучивший это восстание, утверждал, что Имеретинское восстание было самым крупным выступлением против колониальной политики царизма в Грузии, значение которого сознательно преуменьшалось официальной историографией. Долгое время советские историки, как грузинские, так и русские, интерпретировали восстание как антифеодальное движение, игнорируя его национально-освободительный характер. Лишь в 60-х годах появились труды грузинских ученых, в которых были прямо высказаны суждения о том, что Имеретинское восстание было всенародным национально-освободительным движением, в котором объединились все слои и классы тогдашней Имерети.⁴

Восстание в Имерети возглавляло дворянство, выдвинувшее идею провозглашения самостоятельного Имеретинского царства во главе со своим царем. Однако дворянство и священники, ставшие на сторону восставших, не являлись в обычном понимании реакционной силой — основной задачей борьбы большинство считало не отстаивание своих привилегий и званий, а общенациональные интересы. Поэтому идея своего царя и автокефалии была для того времени скорее фантастически-утопической, нежели реакционной. Кроме того, не могла быть реакционной борьба за эликсир нации — язык.

¹ Мартынов П. К. Последние дни жизни поэта М. Ю. Лермонтова. — Исторический вестник. 1892, с. 90 (Цитируется по кн. Андроникова И. Л., с. 165).

² Хихадзе Л. Д. К вопросу об изменчивости восприятия литературных явлений (На материале восприятия наследия Лермонтова в Грузии). — Труды ТГУ, № 191, Тб., 1977, с. 29–37.

³ Махарадзе Н. Б. Восстание в Имерети. 1819–1820 гг. — Материалы по истории Грузии и Кавказа. III вып., Тб., 1942, с. 3–165.

⁴ См. Эбаноидзе Л. И. Николоз Баратишвили и некоторые вопросы национально-освободительного движения в Грузии. Тб., Накадули, 1969, с. 114–135 (на груз. яз.).

И хотя восстание было жестоко подавлено, и восставшие не достигли ни одной из своих целей, все же нельзя сказать, что оно было напрасным, как и любое национально-освободительное движение. В какой-то мере оно все же положило определенную границу беспределному ранее своеволию царских сатрапов в Грузии. В национально-освободительном движении грузинского народа следует искать основы того, что Грузия, несмотря ни на что, сохранила свою самобытность и минимальные гражданские права для своего народа.

Именно с этих позиций мы рассматриваем события, совершившиеся в Имерети, отклики которых, несомненно, дошли до Лермонтова, сосланного в Грузию в 1837 году из-за стихотворения «Смерть поэта», также направленного против царских сатрапов.

Одной из причин восстания 1819 года в Имерети явилась ликвидация автокефалии грузинской церкви с конфискацией принадлежащих ей земель. Иванэ Джавахишвили писал об этом следующее: «В 1811 году была уничтожена автокефалия грузинской церкви: католикос, вызванный, якобы, по делам в Петербург, не мог уже более вернуться к родной пастве. Католикосат, вопреки воле грузинского духовенства, был заменен экзархатом с подчинением грузинской церкви и экзарха Синоду. На первое время экзархом был назначен угодливый и послушный из грузинских иерархов архиепископ Варлаам, но уже в 1817 году он также был вызван в Петербург, а на его место назначили русского, архиепископа Феофилакта. Таким образом была уничтожена самостоятельность грузинской церкви, автокефальное существование которой имело 1400-летнюю историю; тогда же началась русификаторская политика и деятельность в церковной и религиозной сфере» (И. Джавахов /Джавахишвили/, Энциклопедический словарь «Гранат», т. 17, с. 209—210). Как рассказывает он далее, на энергичный протест грузинских иерархов было отвечено рядом репрессивных мер. Первой мерой Феофилакта, приехавшего в Грузию с русскими священниками, было столь резкое ограничение грузинского языка в богослужении, что в тбилисском кафедральном соборе богослужение на грузинском языке допускалось лишь по понедельникам, средам и четвергам, и то лишь в непраздничные дни. А чтобы население не могло реагировать на русификаторскую разрушительную деятельность по отношению к родной церкви, генерал Торماسов предложил чудовищную меру: церковных дворян с крестьянами переселить с веками насиженных мест на пустопорожные казенные земли. Особенно непримиримых противников эти меры встретили со стороны иерархов имеретинской епархии. Русское правительство срочно послало в Имеретию войска.

Ермолов в это время находился на Северном Кавказе. Вместо него оставался генерал-лейтенант А. А. Вельяминов, который для успокоения жителей Имерети обратился к ним с прокламацией о том, что экзарх Феофилакт Русанов будет отозван из Имерети. В конце прокламации говорилось: «...не забудьте при том, что Россия могла тридцать миллионов французов, возбужденных мятежным Наполеоном против законной власти своего государя, в несколько месяцев усмирить, восстановя власть законного короля Франции и произведя благодетельный переворот к спокойствию народов в целой Европе. Чего же от силы и могущества России может ожидать слабая Имеретия при несчастном своем ослеплении?» («Акты», т. VI, ч. I, с. 538).

Феофилакт вынужден был вернуться в Тбилиси. Восстание на время утихло. Но, когда русское правительство начало расследование этого дела и назначенный для усмирения восставших в Имерети генерал Сысоев потребовал от населения «покаяния в грехах» и принятия новой клятвы в верности русскому императору, народ отказался подчиниться, и восстание вспыхнуло с новой силой. Начались массовые аресты среди имеретинской знати и духовенства, преследующие цель обезглавить восстание. Командиру 41-го егерского полка полковнику Пузыревскому, назначенному правителем Имерети вместо Курнатовского, которого правительство обвиняло в излишней мягкости, было поручено арестовать и выслать в Россию митрополита Гелатского Евфимия, Кутаисского митрополита Досифея (который умер по дороге возле Сурами), царевну Дареджан (дочь царя Имерети Соломона I) и целый ряд дворян и князей, среди них — и

Сехния Цулукидзе, представителя одного из самых богатых феодальных родов Имерети. Пузыревский, рьяно взявшись за дело, составил целый план осуществления арестов, одобренный Вельяминовым, который возражал лишь против того, чтобы убитые (те, кто окажут сопротивление) были бы брошены в реку. Тела, по его словам, в любом случае надлежало вывезти за пределы Грузии, чтобы они не были опознаны.

Кроме восставших, были арестованы и высланы в Россию и многие из подозреваемых в сочувствии к восставшим. Царевна Дареджан с 10-летним внуком была сослана в Пензу. Известно, что в Пензенской губернии жили многие родственники Лермонтова; он постоянно слышал о ссыльной имеретинской царевне, а может быть, и о самом восстании.

С апреля 1820 года восстание разгорелось с новой силой, перекинувшись из Имерети в другие районы, и продолжалось до осени 1820 года. К этому времени в Гурию со своими войсками прибыл полковник Пузыревский, который вскоре был убит гурийцами. После его убийства Ермолов назначил правителем Имерети командира 44-го егерского полка полковника князя П. Д. Горчакова. Для командования войсками, подавлявшими восстание, Ермолов прислал в Имерети генерал-майора А. А. Вельяминова, с которым Лермонтов позже, в 1837 году, встретился на Кавказе. Известно, что Вельяминов был расположен к Лермонтову и покровительствовал ему. От него также Лермонтов мог слышать о восстании в Имерети, тем более, что оно изобиловало драматическими эпизодами.

А. А. Вельяминов подавил восстание в Гурии, куда он прибыл в июне 1820 года. Ему было приказано жестоко расправиться с восставшими, сровнять с землей восставшие села, на месте расстрелявать попавших в плен «преступников». Приказ был выполнен неукоснительно. Особенно жестоко расправились с Рача¹, подвергли огню деревни, сровняли их с землей, разрушили крепости. Ермолов в своих записках хвастал, что дома восставших были разрушены и разгромлены, сады и виноградники с корнем выкорчеваны. Имеретинское восстание было жестоко подавлено. В результате длительной вооруженной борьбы сотни были убиты и ранены, десятки расстреляны, повешены и сосланы на каторжные работы. Многие из восставших переселили в Россию, а их собственность передали в казну. Царь Александр щедро наградил орденами и медалями руководителей подавления Имеретинского восстания.

Литературы об Имеретинском восстании очень немного, особенно мемуарной. Тем интереснее воспоминания одного из участников этих событий — Иосифа Петровича Дубецкого, в те времена 22-летнего офицера, полкового адъютанта при правителе Имерети князе Горчакове, написанные в середине прошлого века и опубликованные в «Русской старине».

Глава «Бунт в Имеретии. — Личный подвиг» записок Дубецкого повествует о самом, может быть, драматическом эпизоде восстания.

Имеретинское восстание длилось уже около полугода, когда в Рачинском округе во время незначительного сражения был взят в плен Ломкаца Лежава, предводитель рачинских повстанцев. Его приговорили к смертной казни через повешение. Дубецкому удалось склонить Лежава к предательству. Ему была обещана жизнь, свобода и помощь жене и детям, взамен он должен был выдать главарей восстания. Лежава назвал всех, в том числе и князей Цулукидзе.

Один из руководителей восстания Георгий Цулукидзе, наиболее влиятельный имеретинский князь, полковник царской армии, награжденный за свои заслуги и храбрость орденом св. Анны с бриллиантами и пенсионом в тысячу рублей, находился при отряде, которым командовал князь Горчаков. Кроме Георгия Цулукидзе, в отряде находился его брат Леван Цулукидзе и старший сын, 28-летний Симон Цулукидзе. В этом же отряде состояли еще несколько грузинских князей, тайно поддерживавших повстанцев: четверо представителей князей Эристави, четверо — из князей Иашвили и двое — из князей Абашидзе. Это был, по существу, штаб восстания.

Узнав с помощью Дубецкого о составе штаба, Горчаков решил арестовать

¹ Одна из исторических провинций Грузии.

заговорщиков. Но прежде Горчакову необходимы были неопровержимые доказательства заговора и причастности к нему грузинских князей. Для этого он решил воспользоваться показаниями Ломкаца Лежава, который сообщил, что для набора войск он получил грамоту, подписанную всеми князьями (одновременно это была и как бы письменная присяга повстанцев). Грамота хранилась у жены Лежава. Жена же с детьми жила в то время в доме Георгия Цулукидзе, который находился в селении Агара, всего верстах в семи от лагеря, где расположился отряд Горчакова. Привезти в отряд грамоту, уличающую руководителей Имеретинского восстания, было поручено Дубецкому. Лежава сообщил ему пароль и условные знаки, с помощью которых Дубецкий сможет получить грамоту от его жены.

Дубецкий, блестящий молодой офицер, недавно прибывший с полком из Парижа, пользовался большой популярностью в отряде. Приятелем Дубецкого был Симон Цулукидзе, вызвавшийся проводить его в имение отца, куда направился Дубецкий под каким-то благовидным предлогом.

Там хладнокровному молодому офицеру удалось выполнить нелегкое поручение — взять грамоту у жены Лежава и даже увезти ее вместе с детьми.

Хозяйка дома, жена Георгия Цулукидзе — Анна заподозрила неладное. Дубецкий пишет о ней с явным восхищением: «Эта женщина по уму и красоте известна была по всей Имерети. В молодости славилась интригами, а под старость, ей было 40, ворочала как хотела и своим мужем и чужими». Анна Цулукидзе то пыталась расположить к себе гостя ласковым приемом, то бросалась в ноги и умоляла «быть ей сыном». Однако догадаться, зачем именно приехал Дубецкий, и предотвратить несчастье она так и не смогла. Дубецкий вспоминает, что при ней был ее сын, мальчик 9—10 лет. Возможно это был Бери Цулукидзе (впрочем, об этом речь пойдет ниже).

Получив доказательства заговора, Горчаков отдал приказ о немедленном аресте князей-заговорщиков. Он как командующий отрядом пригласил их всех к себе под каким-то предлогом. Ни о чем не подозревая, они прибыли в лагерь. Здесь их тотчас же окружили солдаты с ружьями наизготовку, «...тогда первый князь, Леван Цулукидзе, обнажив саблю, закричал: «Жизнь и свобода едины», ему последовали другие, и завязался страшный рукопашный бой. Князь Леван Цулукидзе и еще двое были заколоты штыками, а прочие ранены». Правительство щедро наградило предателя Лежава.

В сентябре 1820 года Горчаков составляет «Список о бунтовщиках, убитых во время возмущения, удаленных из Имерети, содержащихся под арестом в Кутаиси и находящихся в бегах, с означением семейства каждого из них и куда предполагается обратить их имения». По делу каждого из бунтовщиков в список внесена резолюция главнокомандующего генерала Еромолова (см. Н. Б. Мухарадзе. Материалы..., с. 92).

Из списка явствует, что полковник Георгий Цулукидзе был отправлен в Тифлис, где вскоре умер, вероятно от ран, полученных при аресте. Дубецкий же пишет, что Георгий Цулукидзе был приговорен к ссылке в Сибирь. Возможно дело обстояло именно так, но высылке в Сибирь помешала смерть.

Далее говорится, что жена Георгия Цулукидзе Анна (дочь князя Симона Абашидзе) «отправлена в Тифлис». Дубецкий же сообщает, что она была заточена в монастырь.

Некоторое время спустя умерли в Тифлисской крепости братья Цулукидзе — Георгий и Давид. Были арестованы и высланы в Россию и другие князья Цулукидзе. О старшем сыне Георгия Цулукидзе Симоне, его жене Марии и трехмесячном сыне Георгии говорится, что они находятся в «бегах». Резолюция Еромолова гласит: «Мошенника стараться достать». Остальные дети Георгия Цулукидзе были розданы в различные княжеские и дворянские дома. Так, старшая дочь, 18-летняя Дареджан, оказалась в доме Бегуа Лежава. 15-летняя Таисия и 10-летний Бери находились в доме Зураба Церетели, которого повстанцы первоначально собирались сделать царем Имерети, 5-летняя Мария жила в доме Симона Макиашвили. И, наконец, 6-летний Леван — в доме князя Ростона Эристави.

Горчаков предполагал забрать в казну имение лишь Симона Цулукидзе, однако Ермолов приказывает забрать в казну все имения семейств, сказав: «...Так должны наказываться главнейшие бунтовщики».

Ермолов отдал также приказ об «определении в школу» двух сыновей князя Георгия Цулукидзе — шестилетнего Левана и десятилетнего Бери. Кроме них, согласно приказу, подлежали определению в школу: Константин (8 лет), сын Мераба Цулукидзе, и другие дети повстанцев, всего, вместе с Бери и Леваном — 12 детей не младше 6 и не старше 14 лет. Детей, младше 6, оставляли матерям и родственникам, старше 14 лет брали на службу в армию.

Но что за школа имелась в виду в приказе Ермолова? Губернатор Пензы, куда была сослана царевна Дареджан с внуком, обратился к Ермолову с просьбой об увеличении ее содержания. Ермолов ответил отказом, заметив, что ссыльная царевна является матерью опасного бунтовщика. Пензенский губернатор попытался искать содействия в других инстанциях, которые, в свою очередь, вновь обратились к Ермолову. Тот опять резко отказал, написав тогдашнему министру внутренних дел графу Кочубею, имея в виду внука царицы Дареджан, сына Иванэ Абашидзе, претендовавшего на царский престол Имерети: «Сего изменника сын находится при царице, и я совершенно на справедливость в. с. полагаюсь, нужно ли иметь столько попечения о воспитании его, когда дети прочих изменников состоят в Военно-сиротских отделениях и службу императору начнут с самых первых степеней оной» («Акты», т. VI, ч. I, № 28).

Под военно-сиротскими отделениями подразумеваются полковые школы при гарнизонах для солдатских детей. В Закавказье в 20-х годах XIX века полковые школы были при некоторых штаб-квартирах. Имеются сведения о полковой школе Нижегородского полка (в котором служил Лермонтов в селении Карагач¹). Итак, двенадцать имеретинских мальчиков, из них трое из рода Цулукидзе, должны были поступить в гарнизонные школы, чтобы позднее стать солдатами, почти без надежды на какое-либо облегчение своей судьбы.

Можно считать установленным, что в школы на территории Кавказа мальчики-имеретины не попали. Они оказались в Ростовской школе кантонистов, а после посещения этой школы Александром I их перевели в Петербург в Первый кадетский корпус (где, между прочим, учился, а позднее преподавал отец Лермонтова). Интереснейший рассказ об этом содержится в воспоминаниях князя Д. Н. Абашидзе (одного из ребят-имеретин), опубликованных в «Историческом вестнике» (1903, т. 94, № 12, с. 865—884) под названием «История бедствий одной семьи. Из воспоминаний старого кавказца».

Но, как видно, в эти школы попали не все мальчики. Следует сказать, что события Имеретинского восстания несколько неожиданным образом содействовали возвышению архиепископа Софрония, также урожденного князя Цулукидзе, возглавлявшего рачинскую архиепископию. 19 ноября 1821 года он стал архиепископом Имеретинским после того, как все прежние епархии Имерети были объединены в одну. Экзарх Грузии Феофилакт протестовал против назначения Софрония на эту должность, подозревая его в причастности к восстанию. Ермолов же настоял на своем, объясняя, что Софроний действовал с усердием при описании церковного имущества, «ибо старался загладить вину свою, как имевший некоторое с мятежниками согласие, чего доказательства были в руках моих» (Записки Ермолова, с. 113).

Архиепископ Имеретинский Софроний исполнял эту должность до самой своей смерти в 1843 году, являясь весьма значительной фигурой в грузинском экзархате. С 1853 года архиепископом Имерети стал другой князь Цулукидзе — Евфимий, с 1820 года архиепископ Гелатского монастыря.

Несомненно, как Софроний, так и Евфимий, не остались безучастными к судьбе своих племянников, мальчиков Левана, Бери и Константина, постарались помочь им избежать солдатчины.

¹ Подробнее о школе см.: Епископ Кирион. Краткий очерк истории грузинской церкви и экзархата за XIX столетие. Тифлис, 1901; Потто В. История 44-го драгунского Нижегородского полка; Утверждение русского владычества на Кавказе. Тифлис, 1904, т. 3, ч. 2, с. 590.

Существует книга под названием «Списки княжеским и дворянским родам Грузии, Имерети и Гурии». Место и время издания в ней не указаны, но можно предположить, что она была издана в 90-годах XIX века. Так вот, в этих списках нет Георгия Цулукидзе, его жены Анны, сыновей — Бери и Левана, но под номером 145 значится подпоручик Симон Георгиевич Цулукидзе, бывший «в бегах», но впоследствии, видимо, получивший помилование, его жена Майя и их дети. Здесь говорится и о том, 8-летнем в 1820 году мальчике Константине, которому, видимо, удалось избежать солдатчины и сохранить княжеский титул. Кстати, в 1830 году Николай I издал указ вернуть из ссылки дворян и князей, сосланных после подавления Имеретинского восстания, и возвратить им отобранные земли, хотя процесс этот формально длился десятки лет.

Итак, следы Бери и Левана Цулукидзе затерялись. Но именно это обстоятельство и позволяет нам вернуться к нашей версии. Можно предположить, что стараниями архиепископа Имерети Софрония Бери Цулукидзе, сын одного из главных предводителей Имеретинского восстания Георгия Цулукидзе, оказался в Шиомгвимском монастыре и именно он стал прототипом для лермонтовского Мцыри. Мы считаем, что в детских воспоминаниях Мцыри есть моменты, сходные с биографическими деталями из детства Бери. Правда, здесь должна делаться поправка на дагестанский колорит.

Мцыри говорит: «И вспомнил я отцовский дом, Ущелье наше, и кругом В тени рассыпанный аул; ...Я помнил смуглых стариков, При свете лунных вечеров Против отцовского крыльца Сидевших с важностью лица... А мой отец? Он как живой В своей одежде боевой Являлся мне, и помнил я Кольчуги звон и блеск ружья, И гордый непреклонный взор, И молодых моих сестер... Лучи их сладостных очей И звук их песен и речей Над колыбелию моей...»

Отчий дом Бери — дом князя Цулукидзе — находился в высокогорной Раче в селении Агара. Отец Мцыри, как видно, был князем, ведь в его доме собирались старейшины. И Бери помнил о своем происхождении, даже если ему изменили фамилию и не рассказывали о родителях и родственниках. Мцыри вспоминает об отце-воине, то же мог помнить и Бери. Мцыри вспоминает о своих сестрах, которые пели у его колыбели. О старших сестрах — Дареджан и Таисии мог помнить и Бери. Наконец, в другом месте поэмы Мцыри говорит о старшем брате. Старший брат Симон был и у Бери. Можно возразить, конечно: все эти воспоминания могли быть почти у любого горского мальчика. Но для нас важнее, пожалуй, то, что в них нет ничего, что опровергало бы наше предположение.

Наша версия, что Мцыри — грузин, не отрицается и текстом самой поэмы. В ней нет даже намек на то, что Грузия для него не родина, а чужая страна; ни природа, ни дом, ни песня грузинки не «чужие» его сердцу. К тому же «родина» изображена в поэме полуметафорически, в сущности это собирательный образ вольной горной страны, где «в тучах прячутся скалы» и «люди вольны, как орлы», и это еще один аргумент в пользу нашей гипотезы.



НЕИЗВЕСТНЫЕ ПИСЬМА КНЯГИНИ

М. А. ЩЕРБАТОВОЙ

Архивные поиски нередко приводят к находкам вовсе неожиданным. Занимаясь поиском документов, относящихся к трагической дуэли Лермонтова с Мартыновым, мы установили, что пятигорские знакомые поэта сестры Мусины-Пушкины — кузины М. А. Щербатовой, в период учебы в петербургском Екатерининском институте их опекала Мария Христофоровна Шевич, приятельница Екатерины Андреевны Карамзиной. Поиск, естественно, был распространен на личные архивные фонды знакомых семьи Карамзиных, посетителей их салона. Удача сопутствовала нам, и в фонде Панина-Блудовых помимо письма Иды Мусиной-Пушкиной к Антонине Дмитриевне Блудовой, относящегося к началу 1841 года, перед отъездом сестер из Петербурга на Кавказ, были обнаружены неизвестные письма М. А. Щербатовой к тому же адресату, охватывающие интереснейший для биографов М. Ю. Лермонтова период времени после первой его дуэли с Барантом — с 1 марта 1840 года по 31 мая 1841 года.

Мария Алексеевна Щербатова, до замужества — Штерич, принадлежала к семейству украинских помещиков. Первый представитель сербского дворянского рода Штеричей вступил в российское подданство при императрице Елизавете Петровне. Это был прадед Щербатовой, Иван Христофорович, начавший службу в 1752 году вахмистром и закончивший ее в 1787 году в чине генерал-майора.

Дед М. А. Щербатовой, Петр Иванович Штерич, служил в лейб-гвардии Преображенском полку и вышел в отставку в чине капитана в 1787 году вскоре после кончины отца. Крупное имение с тремя тысячами крепостных крестьян и несколькими десятками тысяч десятин земли требовало от хозяина рачительности и знаний. Тем и другим отставной гвардии капитан, вскоре вступивший в статскую службу, обладал вполне. Он учился в Штутгартском университете и, как указано в его послужном списке, наряду с изучением немецкого, французского и итальянского языков, им пройдены курсы рисования, математической и воинской наук, а также «части металлургии и каменно-угольных знаний». Последние для П. И. Штерича имели большое практическое значение, так как основной доход в имении, находившемся в самом центре территории ныне именуемой Донбассом, приносили добыча и поставка, в частности на казенный Луганский чугуно-литейный завод, угля, железной руды и леса.

После выхода из военной службы в отставку П. И. Штерич взял в жены дочь надворного советника Лутковского Надежду Алексеевну, породнившись тем самым с семействами Булацелей и Шевичей, также выходцев из Сербии. В этом браке у Петра Ивановича было шестеро детей — три сына и три дочери. Овдовев, П. И. Штерич в возрасте сорока лет женился во второй раз на Серафиме Ивановне Борноволоковой. В феврале 1809 года у них родился сын Евгений, краткие упоминания о котором имеются в «Автобиографии» его троюродной сестры А. О. Смирновой-Россет. Семейное счастье супругов было непродолжительным, так как в августе 1809 года П. И. Штерич скончался, и на тридцатилетнюю вдову легла забота о собственном полугодовалом сыне и младших детях от первого брака мужа с Н. А. Лутковской.

Пасынки по традиции поступили на военную службу. Сведения об отце Марии, Алексее Петровиче Штериче, очень скудные. Он родился в 1797 году, 27 января 1814 года из юнкеров лейб-гвардии гусарского полка произведен в корнеты, 1 февраля 1817 года переведен с чином капитана в Нежинский конноегерский полк, и вскоре, 15 апреля 1818 года, Высочайшим приказом уволен от службы по домашним обстоятельствам с чином майора. Выход в отставку совпал по времени с распоряжением инспекторского департамента завести дело по

просительному письму пражского банкира Лемеля о взыскании денег, занятых в долг в 1813—1814 годах несколькими офицерами русской армии, и в их числе штабс-ротмистр Штерич. 29 апреля 1818 года капитан Нежинского конно-егерского полка Штерич доложил полковому командиру, что он «действительно находится должником г-на банкира Лемеля 1265 рублей (серебром) и для заплаты одного долгу в числе с прочими заложил должную часть собственного имения в Санкт-Петербургский Опекунский Совет, на которую деньги выданы...».

Этот рапорт позволяет полагать, что домашние обстоятельства, вынудившие двадцатилетнего капитана Штерича выйти в отставку, заключались в расстройстве имущественного положения. После раздела с братьями и сестрами отцовского имения Алексей Петрович получил во владение село Белое Славяно-сербского уезда Екатеринославской губернии с десятью тысячами десятин удобной земли и почти 700 душами крестьян. После уплаты долга банкиру Лемелю в числе с прочими, имевшимися на то время долгами, А. П. Штерич вскоре наделал новые. Об этом свидетельствуют статьи о запрещениях на имения отставного майора А. П. Штерича, неоднократно публиковавшиеся в «Санкт-Петербургских сенатских объявлениях о запрещениях на имения» в связи с исками, предъявленными ему кредиторами. Долги и неумелое ведение хозяйства вынуждали закладывать и перезакладывать имение, что неизбежно вело семью к разорению.

От первого брака Алексей Петрович имел двух дочерей — Марию, родившуюся в 1820 году, и младшую, Поликсену, год рождения которой неизвестен. О матери их сведений практически нет, можно только предположить, основываясь на воспоминаниях А. О. Смирновой-Россет, что девица ее фамилия была Попова. Овдовев, А. П. Штерич женился на Софье Игнатьевне Познанской. Заботу об устройстве будущего его дочерей взяла на себя мачеха Алексея Петровича — Серафима Ивановна Штерич, оставшаяся совсем одинокой после безвременной кончины в 1833 году горячо любимого сына Евгения, которого она готовила к карьере на дипломатическом поприще, уделяя много внимания его воспитанию и образованию. С. И. Штерич была богата, располагала хорошими связями в петербургском высшем обществе, имела большой дом в столице и дачу в Павловске. Вероятней всего Мария и Поликсена получили домашнее образование — нам неизвестны сведения об их учебе в казенных или частных учебных заведениях для девочек. Отметим, что в семье Штеричей образование традиционно ценили высоко и его распространению оказывали содействие. Согласно Адрес-календарю на 1840 год Алексей Петрович Штерич исполнял обязанности почетного смотрителя Славяносербского уездного училища.

Стараниями Серафимы Ивановны дочерям весьма небогатого украинского помещика были устроены, как казалось, блестящие партии. Мария в 1837 году вышла замуж за сослуживца Лермонтова поручика лейб-гвардии гусарского полка князя А. М. Щербатова. При венчании свидетелями со стороны невесты были приглашены родственники: подпоручик лейб-гвардии Преображенского полка Александр Осипович Россет (брат А. О. Смирновой-Россет) и ротмистр лейб-гвардии гусарского полка Георгий Иванович Шевич. Мария не была счастлива в этом браке, так как, по свидетельству С. И. Штерич, супруг оказался злым и распущенным человеком. Через год после свадьбы он заболел и скончался в имении тестя. Молодая вдова с маленьким сыном Михаилом, родившимся в Петербурге 26 февраля 1838 года, жила в доме бабушки Серафимы Ивановны на набережной реки Фонтанки. Композитор М. И. Глинка, дававший уроки музыки ее сестре Поликсении, был близким другом их рано умершего дяди Е. П. Штерича, музыканта-любителя, и в своих «Записках» рассказывал о частых встречах в этом доме с Марией Алексеевной, любившей литературу и музыку.

А. Д. Блудова — дочь главноуправляющего Вторым отделением Собственной его Императорского Величества канцелярии Д. Н. Блудова. Он был участником литературного общества «Арзамас», состоял в дружеских отношениях с В. А. Жуковским, А. И. Тургеневым, П. А. Вяземским. С семейством Блудовых М. Ю. Лермонтов познакомился, вероятно, в 1839 году, и Антуанетта Блудова

часто встречалась с поэтом и в светских гостиных, и в более тесном кружке, у Карамзиных. Беседуя с С. Н. Карамзиной о Лермонтове, Антуанетта подчеркнула, что ее отец «ценит его как единственного из наших молодых писателей, талант которого в процессе созревания, подобно прекрасному урожаю, возвращенному на хорошей почве, так как он находит у него живые источники таланта — душу и мысль».

Поэт, по-видимому, не раз бывал в доме Блудовых — в альбоме Антонины Дмитриевны сохранилось 5 рисунков и карикатур Лермонтова.

Признание Щербатовой, что она многим обязана семье французского посла и что со стороны Барантов, в связи с распространившимися в светском обществе сплетнями о ее причастности к дуэли, она рассчитывает встретить не осуждение, а понимание, очень неожиданно для исследователей биографии Лермонтова и вносит новые существенные штрихи, которые необходимо учесть при оценке давних событий. Письма Щербатовой дают основания полагать, что особенно дружеские отношения связывали ее с сестрой Эрнеста де Баранта Констанцией, с ней она переписывалась. Щербатова упоминает также о письме, полученном от Эрнеста, вероятно, с выражением сочувствия после постигшей княгиню утраты — смерти сына.

Подробные сведения о семье Барантов приведены в книге, изданной во Франции в 1947 году. Правнучка матери Эрнеста де Баранта при работе над книгой широко использовала документы из семейного архива. У французского дипломата, историка и писателя де Баранта и его жены Цезарины (урожденной графини д'Гудето) было два сына и четыре дочери. Первого сына Проспера госпожа де Барант родила в 1816 году, а второго, Эрнеста, по вине которого, замечает правнучка, ей пришлось много страдать, в 1818 году. Служебные обязанности мужа-дипломата вынуждали супругов надолго покидать пределы Франции, и, к огорчению госпожи Барант, уделявшей воспитанию детей много внимания, ей приходилось надолго разлучаться с подраставшими детьми, оставляя их на попечение гувернеров и многочисленных родственников.

После окончания парижского коллежа Сен-Барб младший сын Эрнест серьезно заболел, болезнь затянулась, и госпожа Барант была вынуждена из Турина, где ее муж занимал пост посланника, возвратиться осенью 1834 года во Францию. Тревога оказалась преувеличенной, здоровью сына, которого она давно не видела, уже ничто не угрожало и, вопреки ожиданиям, она обнаружила, что Эрнест «любим, ухожен и избалован всем домом». Через несколько дней госпожа Барант сообщает мужу об их любимце новые подробности:

«Эрнест обладает очень твердым характером, у него большие планы, он хочет выдвинуться. Если это правда, то все было бы прекрасно. Пока пусть он будет выделяться умом. У него прекрасные манеры, фигура его очаровательна, он будет иметь даже слишком большой успех». По поводу этих восторженных строк матери, явно ослепленной любовью, ее правнучка замечает:

«Представляется, что бедная мать провидчески увидела бурную жизнь, предстоявшую этому любимому сыну, из-за которого ей предстояло пролить столько слез.»

И основываясь на документах семейного архива, она делает вывод:

«По-видимому Эрнест не оценил по достоинству материнские заботы, непрерывно его окружавшие. Это была удивительно одаренная натура. Он был красив, умен, соблазнителен и имел положительные свойства ума и сердца. Но любовь к удовольствиям развилась в нем в ущерб более высоким побуждениям, его мать это чувствовала и ничего не жалела в попытках направить к добру сердце этого своего ребенка. Остальные дети никогда не причиняли ей столько беспокойства».

С назначением мужа в 1835 году на новое место службы в Петербург госпоже де Барант предстояла новая разлука с детьми. Сыновья продолжили учебу в университетах: Проспер в Гамбурге, Эрнест в Бонне. Поэтому в Россию Баранты отправились с одной только младшей дочерью Эрнестиной. Приехав летом 1836 года в Париж, по случаю рождения сына у старшей дочери Аделаиды, госпожа

Барант решает осенью того же года возвратиться в Петербург с Аделаидой и Константицей.

Закончив обучение в Германии и весной 1837 года прибыв к родителям в Россию, Проспер и Эрнест пускаются в светскую жизнь. Дети развлекаются на балах и спектаклях, а их стареющих родителей захватывает все более глубокое религиозное чувство. В письме тетке госпожа Барант замечает: «Я всегда чувствую присутствие Бога и хочу, чтобы мои поступки согласовывались с этой великой мыслью».

Летом 1838 года семья Барантов совершает большое путешествие, отправившись из Петербурга через Крым и Константинополь во Францию. В Россию они возвратились, высадившись в порту Одессы, 1 сентября 1838 года, но в Петербург попали глубокой осенью после ожидания в одесском карантине.

Растущая с годами религиозность ничуть не мешала госпоже Барант оставаться очень практичной матерью, ревностно заботящейся о благополучии семьи. Когда после дуэли сына Эрнеста возникла серьезная угроза его карьере под началом отца, госпожа Барант без колебаний и настойчиво использовала как давние обширные связи и знакомства во Франции, так и вновь приобретенные за время пребывания в России.

Вероятней всего знакомство Щербатовой с семьей Барантов состоялось в начале 1839 года, когда молодая вдова после годичного траура вновь появилась в петербургском высшем обществе.

Дальнейшая жизнь М. А. Щербатовой сложилась довольно счастливо. В 1843 году, после возвращения из-за границы, она вышла замуж за двоюродного дядю — И. С. Лутковского. Последние упоминания о ней в семейном архиве Блудовых относятся к 1846 году. Скончалась она 15 декабря 1879 года.

Москва 1840. 1 Марта

Немедля по приезде мне не терпится побеседовать с Вами, моя добрая Антуанетта. Благодарить Вас за ту дружбу, которую Вы проявили ко мне, полагаю будет излишним, так как Вы сами знаете, как я ценю и насколько я ее заслуживаю за ту огромную привязанность, которую я чувствую к Вам.

Я застала своего отца, правда, вне опасности, но все еще очень больным. Если бы Вы знали, как он был рад видеть меня снова. Через неделю мы рассчитываем уехать в мое Калужское имение, и оттуда я предполагаю часто надоедать Вам своими длинными письмами. Примите их благосклонно, я Вас умоляю, и в вихре светских удовольствий, которыми Вы так очарованы, вспоминайте иногда Вашу сестру кармелитку¹. Я собираюсь принять какое-то окончательное решение. Либо я стану набожной, либо начну курить. На какое из этих решений Вы даете свое согласие? Если на второе, то мне придется обратиться к Вам с просьбой закупить мне пахитос². Ваши братья³ забавляются, как гласит молва. Я не могла сообщить им о своем приезде: признаюсь Вам, у меня едва хватает времени сделать что-либо, так как мой отец требует постоянного моего присутствия около него. Ехала я достаточно медленно, несмотря на поспешность, с которой я выехала. Извозчики⁴ мертвецки пьяны в эти последние дни масленицы⁵. Холода — невыносимые.

Сообщайте мне, дорогая, пространные и точные известия обо всех: танцорах, поэтах, музыкантах, говорунах и лгунах. Все эти лица меня втройне интересуют с тех пор как я покинула столицу.

Передайте мои наилучшие пожелания госпоже Блудовой⁶ и напомните обо мне Вашему отцу⁷. Поцелуйте Лидию⁸ и скажите ей, что я ей непременно напишу.

Прощайте, мой ангел, прощайте на два года!!!???
 Всегда преданная Вам Мария Щербатова.
 Адресуйте Ваши письма Тульской губернии в гор. Алексин, а оттуда в с. Любутское⁹.

Мой привет Карамзиным, а также госпоже Андро.¹⁰

15 марта, 1840 г. Москва.

Неужели Вы полагаете, что я сомневаюсь в Вашей дружбе, дорогая Антуаннета? Вы, которая так добры даже к посторонним, неужели Вы покинете друзей в несчастье.

Благодарю, очень благодарю Вас за Ваше участие ко мне в моем горе¹¹. Оно бесконечно, моя дорогая Антуаннета, и мое бедное сердце изнемогает от страданий. Рассказать Вам обо всем, что я перенесла с тех пор — выше моих сил. Поэтому извините, что пишу так мало, так как силы мои истощены.

Мой привет Вашим и нежный поцелуй Лидии. Я рассчитываю сама ей написать вскоре.

Пишите мне как только возможно чаще, дорогая Антуаннета, мне будет очень приятно получать Ваши письма.

Вся ваша

Мария кн. Щербатова.

Пришлите мне Ваш адрес, я его не знаю.

21 марта, 1840 г. Москва.

Моя милая добрая Антуаннета.

Ваше письмо, подтвердив Ваше дружеское расположение ко мне, принесло мне весьма малоприятные известия. Письма бабушки¹² лишь весьма туманно выражают то, что я только что прочла в Вашем письме. В самом деле, свет и прекрасные дамы оказывают мне слишком большую честь, уделяя мне так много внимания. Предполагают, что эта несчастная дуэль произошла из-за меня. Я же совершенно уверена, что оба собеседника даже и не думали обо мне во время их ссоры. К несчастью выглядело так, что оба молодых человека за мной ухаживают. Что я определенно знаю, так это то, что оба меня одинаково уважают. Я очень любила их обоих и говорила об этом всякому, кто хотел слушать. Что же в этом плохого, спрашиваю я Вас? Не раз они слышали от меня, что вторично замуж я не собираюсь. Таким образом у них не могло быть никаких надежд. Кроме того каждый из них знал всю глубину моей дружбы по отношению к другому. Я этого не скрывала. Я не видела в этом ничего предосудительного. Что касается этой дуэли, то мое поведение ни в коей мере не могло подать для нее повод, так как я всегда была одинакова по отношению к тому и другому. Эрнест, говоря со мной о Лермонтове, называл его «Ваш поэт»; Лермонтов же, говоря о Баранте, называл его «Ваш любезный дипломат»¹³. Я смеялась над этим, вот и все.

Было бы слишком долго отвечать Вам по всем пунктам, и на все то, что Вы мне сообщаете в Ваших письмах. Кто извиняется, тот сам себя обвиняет. Я не ищу других оправданий, кроме тех, которые принесет время. Знаете ли Вы, моя дорогая, что нет ничего более позорного для женщины, чем низкие предположения со стороны тех, кто ее знает. Но если женщина слишком горда, она часто предпочитает склонить голову перед бесчестной клеветой, чем оказать честь людям, на нее нападающим, представляя им доказательства своей чистоты.

Спасибо Вам, моя дорогая Антуаннета, за то, что Вы действовали откровенно. Я всегда полагалась на Вас. Я умоляю Вас однако не вступаться за меня, поскольку Вы этим только раздуете огонь. И потом, когда я думаю об этом, то прихожу к мысли, что если бы такая большая потеря не удручала меня, то я бы

часто смеялась от всего сердца над той доброжелательностью, с какой измышляются все эти пересуды.

Мой поспешный отъезд дает повод для сплетен, но ведь Вы можете засвидетельствовать, какое отчаянное письмо прислала моя мачеха о состоянии моего отца, ведь Вы его читали. Что меня бесконечно огорчает, это отчаяние госпожи Арсеньевой¹⁴, этой чудесной старушки, которая, вероятно, меня ненавидит, хотя никогда меня не видела. Я уверена, что она осуждает меня, но если бы она знала, насколько я сама раздавлена под тяжестью того, что только что узнала. Мадам де Барант¹⁵ справедлива ко мне, я в этом уверена. Она читала в моей душе так же ясно, как и в душе Констанции¹⁶. Она знала, каковы мои отношения с ее сыном, следовательно, она не может считать меня виноватой в отъезде ее сына. Эта семья мне очень дорога, и я им многим обязана.

Я всегда придерживаюсь моего старинного принципа: женщина, замешанная в каких-то слухах, самых нелепых, самых неправдоподобных, всегда виновна, если в этих слухах упоминается ее имя. Исходя из такой концепции, я тоже была неправа. Я судила по себе о свете и мужчинах. Я считала их стремящимися к добру. Потом, как следствие моего возраста и характера, я поверила, как верят все сумасшедшие, что может существовать дружба между женщинами и мужчинами. Все зло исходит из этой глупой предпосылки, правда, несколько экзальтированной. Констанция мне писала, однако не сообщила об отъезде своего брата и своих родителей. Мне кажется, что во всем Петербурге нет двух людей, которые были бы так добры ко мне, как Вы и Констанция. Поэтому я полюбила Вас обеих с первого дня знакомства.

Отцу моему лучше. Это по крайней мере хоть небольшое утешение при тех ужасных ударах, которые наносит мне Провидение. Одно из двух: либо Бог любит меня необыкновенно, либо я родилась с какими-то ужасными преступлениями на душе, которые не могла смыть святая вода крещения, в результате чего я должна искупить какие-то грехи на земле ценой бесконечных страданий.

И представьте себе, дорогая Антуаннета, что я все перенесла. И я считаю себя способной перенести еще столько же. Только иногда мне кажется, что мой мозг затуманивается, и я с трудом различаю предметы и сомневаюсь в собственном существовании, сплю ли я, или же я мертва. Иногда я боюсь самой себя. Плачу я редко, но иногда из моей груди вырывается отчаянный смех, как вызов судьбе, и тогда! Тогда! Я, атеистка, я сомневаюсь во всем и я чувствую несправедливость Бога. Мой характер, такой спокойный и холодный, не позволяет мне часто приходиться в отчаяние. Однако приступы такого отчаяния, впрочем редкие, очень остры, а когда они проходят, остается глубокая дремота всех мыслей и чувств и я становлюсь *деревяшкой*¹⁷.

Уже далеко за полночь; какой покой вокруг меня. Все спит, я одна не сплю, может быть не спит какой-нибудь разбойник. Его сердце сильно бьется, мое тоже. Результат одинаков, причины различны.

Утро 22 марта

Все, что осаждает мою голову с тех пор, как я получила Ваше письмо, дорогая Антуаннета, и мое длинное вчерашнее письмо так меня истомили, что я провела всю ночь, прикорнув на диване, где я писала, и очень удивилась изумлению моей горничной, увидевшей меня спящей совсем одетой. Несколько часов сна освежили меня, но сердце мое переполнено, переполнено слезами, которые я не могу пролить. Я не прошу небо об этом, так как эта пытка мне нравится. Должна Вам сказать, есть некое неопределенное очарование в страдании и в словах, произнесенных шепотом: «я этого не заслужила».

Пишите мне, моя добрая Антуаннета, Ваши письма мне очень дороги. Ваше вчерашнее письмо доказало мне, что длина моих писем Вам не наскучит, и я рассчитываю сделать так, чтобы писать Вам регулярно каждый день. Когда Вы устанете от такой ежедневной обязанности, Вы мне скажете также откровенно, как Вы это всегда делали со мной.

Смерть княгини Гегенлоэ¹⁸ меня очень огорчила. При получении Ваших писем я первым открыла письмо от 18 марта, и меня очень напугали зловещие слова, которыми Вы сообщили о смерти княгини, не называя ее. И лишь пробежав Ваше первое письмо, я поняла, о ком идет речь. Такая молодая, такая счастливая, и вот она мертва. Я помолилась Богу о спасении ее души, так как это была очень добрая женщина. Это такая редкость на этом свете.

Прощайте, дорогая Антуаннета, до завтра. Мой привет Вашим и нежные поцелуи Лидии и госпоже Андро. Напишите мне, как они поживают.

Всем Вашим до свидания

Мария.

23 марта 1840 г. Москва.

Вчера я обещала Вам писать ежедневно в виде дневника и сегодня утром, едва вставши, я уже берусь за перо. Вчера я напрасно ожидала хотя бы маленького письма от кого бы то ни было. Бабушка не писала мне вот уже два дня. Поликсена ленива, а госпожа Арендт¹⁹, как я полагаю, слишком занята своими обязанностями классной руководительницы. Даже Констанция не торопится сообщить мне о себе. Примерно с неделю тому назад я ответила на ее первое письмо. Эрнест мне тоже написал. Я хотела просить его сестру передать ему мою благодарность за то, что он выказал свою преданность бедной отсутствующей, о которой теперь судачат. Как мне пишут, он уехал. Один из друзей моего отца г-н Ботанов²⁰, которому покровительствует Гурьев²¹, — человек, обладающий твердым умом и рассудительностью, очень интересуется всем, что касается нашей семьи. Это именно он сообщил, что Эрнест уже покинул Петербург.

Теперь мне не терпится узнать, что станет с М.: мне также пишут, что он просит быть отосланным обратно на Кавказ. Какой безумец! Думает ли он о своей бабушке, которая умрет от огорчения. Думает ли он о проклятиях всей его семьи, которые он навлечет на мою голову? Родные его никогда не поверят, что я была ни при чем в этой дуэли, и что вся эта история могла произойти только благодаря полученному им хорошему воспитанию. С той и с другой стороны они поступили либо как безумцы, либо как дети, которые ссорятся, не зная причины ссоры. Мужчинам свойственны странные причуды; скомпрометировать женщину, даже такую, которую они уважают — это ничто, это очень порядочно. Их честь зависит только от мелочности выражений. Убить человека, даже если это друг, если он недостаточно поспешно выразил свое приветствие, или же за какую-либо нелепость такого же рода, это по их мнению значит обладать честью. Разрушить целую семью, лишив ее одного из любимых ею членов, повергнуть ее в потоки слез взамен подававшихся надежд на будущее — все это ничто, все это приносится в жертву их предполагаемой чести. Это свидетельствует, однако, о том, что истинная цивилизованность не свойственна этим головам, вывернутым наизнанку. На месте госпожи Барант я высекала бы Эрнеста и вместо того, чтобы подвергнуть Л. аресту, если бы я была дивизионным генералом, поручила бы госпоже Арсеневой произвести аналогичную операцию по отношению к ее любимому Бенжамену — шалопаю²².

Я счастлива, что они не поранили друг друга, и пусть весь свет меня осуждает, я знаю, по крайней мере, что оба безумца останутся у своих родителей. Я знаю, что такое потеря такого рода, и поскольку мне терять больше нечего, я хочу, по крайней мере, чтобы другие не имели повода упрекать меня за горькие слезы, которые они проливали бы день и ночь по причине случившегося несчастья.

Расскажите мне, что говорят Карамзины. Неужели Софи²³ будет против меня? Я была бы в отчаянии, так как я ее очень любила и хорошо понимала всю прямолинейность и откровенность ее слов. Лишь в ней я обнаружила ту храбрость, с которой она высказывает вслух свои мысли (рискуя нажать врагов, и Бог знает, есть ли они у нее) в присутствии того лица, о котором она говорит. Она была также бесконечно добра во всех своих действиях, как и в речах. Если

она тоже окажется против меня, я не буду к ней в претензии и вот почему: она легко подвержена влияниям, и я кроме того уверена, что если Л. будет сослан на Кавказ, она будет сердиться на меня за то, что я лишила ее русского поэта, на которого она возлагала столько надежд для будущего нашей литературы. Она очень экзальтирована, когда речь идет о патриотизме, в чем бы это ни проявлялось. Итак, я прощаю ее, если ради удовольствия слушать молодого поэта, она приносит в жертву женщину, которую не знает. Скажите ей однако, что я надеюсь, что она не окажется совсем несправедливой ко мне и что она может передавать всему свету те небывлицы, которые она знает обо мне, лишь бы она сама не обвиняла меня в недостатке сердечности в моем поведении.

Придет время, когда может быть будет внесена ясность во все то, что произошло!

До свидания, дорогая Антуаннета, я говорю «до свидания», так как, когда я Вам пишу, мне представляется, что просто беседую с Вами с открытым сердцем в Вашем уютном кабинете. Большое счастье в том, что часто можно себе представить вещи, которые более не вернутся и отмечены лишь в воспоминаниях, сопровождаемых всегда сожалением.

Всем сердцем Ваша

Мария.

17 апреля 1840 г. Москва.

Каждому свой черед, моя хорошая Антуаннета. Теперь наступил Ваш. Теперь Вам страдать и плакать. Я узнала печальную новость и неожиданное событие, которое вот уже несколько дней повергло в расстройство и отчаяние Ваше тихое семейство. Оплакивая человека, бывшего членом его, Ваше великодушное сердце должно быть совершенно разбито при виде отчаяния Вашей несчастной тетушки²⁴ и ее осиротевших детей.

На жизненном пути мы все больше и больше приходим к единственному истинному выводу о хрупкости вещей в этом мире и ничтожности деяний человеческих. Для тех, кому приходилось страдать, существуют не поддающиеся описанию страдания, которые охватывают при известии о несчастье, случившемся с теми, кого мы знали, и с кем так часто разделяли шумные удовольствия светской жизни, веселой и беззаботной, искренне веря при этом в невозможность поворота судьбы.

В течение некоторого времени я вынуждена выслушивать только грустные новости в общем или в подробностях. Мое сердце сжимается при мысли об участи наших несчастных крестьян всякий раз, как я подумаю о том, что их ожидает. Они находятся в крайне плачевном состоянии. Губернии того, что называется Великой Россией, голодают, и у помещиков нет больше возможности облегчить их участь, в результате чего они вынуждены разбойничать, и нам пишут, что урожай будущего года не обещает быть хорошим, поскольку осень была плохой. Если бы я выполнила свое намерение и переехала бы жить в деревню, я умерла бы от жалости, а главное, от невозможности помочь этим несчастным, которые бродят по большим дорогам. Перед выездом в Москву я распорядилась кормить всех наших крестьян, но мне пишут, что сено почти вышло и что крестьяне вынуждены следовать примеру своих несчастных соседей и продавать свою скотину. Вы не представляете себе, как это меня всегда огорчает, особенно когда я думаю, что в высшем свете в Петербурге об этом не знают, веселятся и бросаются деньгами, тогда как крестьяне мрут от голода и нужды. Было бы трудно передать Вам все филантропические мысли, которые приходят мне в голову, и в какую меланхолию меня это приводит.

Констанция не говорит мне о том, что Вы с ней виделись. Поликсена также не говорит со мной о моей дорогой Антуаннете, вследствие чего признаюсь Вам, я очень беспокоюсь о состоянии Вашего здоровья, особенно зная, как на него действуют Ваши грустные впечатления.

Христос Воскресе²⁵, мой милый друг. Забудем земные огорчения и вкусим

радости и счастье небесные. Возрадуемся тому, что наш Спаситель более не страдает.

Прощайте, моя хорошая,
не забывайте меня.

1 ноября 1840 г. С.- Петербург.

Я пишу тебе, моя дорогая Констанция, практически накануне отъезда²⁶. Все наши вещи уложены в сундуки, и коляски ожидают только лошадей, и я не могу сказать тебе, огорчена я или счастлива, покидая родину. С некоторых пор я нахожу климат очень суровым (чего я не замечала прежде), но я не могу избавиться от чувства грусти при мысли о том, что покидаю таким образом, притом на два года, предметы, которые были мне так дороги. Все возвращаются в город, где спешат жить и украшать свою жизнь тысячью удовольствий, все более резвых и шумных, я же устраниюсь от всего, что меня так очаровывало и что показалось бы мне утомительным в моем теперешнем состоянии духа.

Восемь дней тому назад приехал граф Воронцов²⁷, а графиня²⁸ уже появилась при Дворе в Царском селе. Я вновь встретилась с Э.²⁹ Я полагаю, что он скоро присоединится к своей семье, и ты сможешь узнать подробности с другой точки зрения.

Поблагодари его от моего имени за его деликатность, выразившуюся в том, чтобы более не посещать меня, я об этом его просила, хотя мне и было трудно ему об этом сказать, и я ему очень благодарна за это последнее доказательство его дружбы ко мне.

Антуаннета Блудова пишет тебе с просьбой заказать ей перчатки, она подробно все тебе объяснит, и я со своей стороны прошу тебя оказать ей эту услугу, поскольку она очень заботится о туалете своих красивых рук, для которых нельзя подобрать как следует перчатки, не зная размера. Даже здесь ее вещи изготавливают в Париже (?)..... от тебя или от твоих... * Со мной часто бывает, что я служу опорой какой-нибудь француженке. С недавних пор появилась мадемуазель Полери, хорошая музыкантша, которой я хотела достать ученицу, и еще теперь я ломаю голову над тем, как устроить ей что-нибудь подходящее. Если бы госпожа Барант была здесь, этой юной особе не пришлось бы беспокоиться о том, как найти работу. Она все же поступила учительницей музыки к моей знакомой госпоже³⁰... и будучи на всем готовом, может еще давать уроки в городе.

Прощай, моя хорошая Констанция, пиши мне на русское посольство в Берлине для передачи через господина Озерова³¹, первого советника миссии. Я тебя подробно опишу мое путешествие. Поликсена целует тебя.

Твоя всем сердцем
Мария Щербатова

Дрезден 1841 11 июня/30 мая

Ваше последнее письмо вызывает у меня сильнейшее беспокойство о состоянии Вашего здоровья, моя дорогая Антуаннета. В Вашем возрасте и постоянно страдать! Приезжайте в Германию. Я убеждена, что спокойствие этой страны благотворно скажется на общем Вашем состоянии. Наша дорогая столица (я ее обожаю), но я должна беспристрастно согласиться с тем, что наслаждаться ею можно лишь обладая завидным здоровьем, которое разрушает климат.

Вот уже пять дней, как мы в Саксонии. Вы там были, а потому описывать то, что я видела, считаю бесполезным. Впрочем Саксонская Швейцария произвела на меня такое впечатление, что я не забуду ее всю жизнь. Госпожа Мансурова, урожденная Трубецкая³², наша хорошая знакомая по Берлину, сопровождает нас во всех прогулках. В качестве мужчин мы имеем адъютанта посла Катени-

* Оторван угол листа.

на³³, полковника Дюгамеля³⁴, большого почитателя княгини Одоевской³⁵, господина Рихтера³⁶ и одного англичанина. Я полагаю, что то малое время, которое мы имели на осмотр Дрездена, мы использовали до последней минуты и все, что было достойно внимания, осмотрено всеми нами детально и неоднократно.

Что касается галереи, то я всегда начинаю свой день с посещения Мадонны. Сегодня среди прочих я встретила там Торвальдсена³⁷, почтенная фигура которого, созерцающего святую Деву Рафаэля³⁸, производила потрясающее впечатление.

Я только что узнала, что приехала княгиня Екатерина Васильчикова с мужем³⁹ и сестрой Щербатовой⁴⁰. Говорят, ее здоровье немного улучшилось. Графиня Виельгорская⁴¹ осталась в Лейпциге у графини Гогенталь⁴², урожденной княжны Бирон. Я познакомилась с семейством Виельгорских в Берлине, и графиня-мать заполнила часы моего ожидания. Я много наслышана о ее достоинствах и нахожу, что похвалы не преувеличены.

Мы определенно едем в Мариенбад, и Вы можете адресовать мне Ваши письма в Саксонию на имя госпожи Рихтер⁴³, которая обещает пересылать их всюду, куда мы поедem. Великая герцогиня Веймарская едет в Петербург⁴⁴, куда она очень торопится прибыть. Жуковский, о котором Вы мне столько пишете в Вашем письме, должен быть в Дюссельдорфе вместе с будущей молодой женой⁴⁵. Говорят, она очаровательна. Вы не сможете себе представить, какое количество русских проезжает взад и вперед через Дрезден; это город, очаровательный летом, но который должен быть очень скучен зимой. Меня очень забавляют паланкины, и я пользуюсь ими насколько это возможно.

Александр Мейндорф⁴⁶ давно покинул нас, поэтому мне будет трудно выполнить Ваше поручение к нему. Но если я поеду в Париж (в чем я сомневаюсь), я все ему передам. Озеров застал нас еще в Берлине и весьма подробно описал жизнь Петербургского общества. Он жалуется, что видел Вас очень мало.

Где Вы проводите лето? Если в Павловске, то сообщайте мне обо всем, что там происходит. Сообщайте мне Ваши планы, и я буду меньше огорчаться тем, что не смогу принять в них участие.

Мои лучшие пожелания Вашей маме, а также госпоже Плещеевой⁴⁷, если она настолько добра, что помнит обо мне.

Как поживает госпожа Ковалькова?⁴⁸

Тысячу приветов Вам

Мария Щербатова.

Адресуйте Ваши письма в наше представительство в Дрездене.

Перевод с французского К. В. Чебышевой и Е. Л. Сосниной.

КОММЕНТАРИИ

Письмо 1 марта 1840 года.

1. ...сестру-кармелитку — подчеркнуто М. А. Щербатовой. Монашеский нищенствующий орден кармелиток, основан во Франции в 1451 г.

2. Пахитоса — подчеркнуто М. А. Щербатовой. Тонкая папирота из табака, завернутого в кукурузный лист.

3. ...Ваши братья забавляются: Андрей Дмитриевич (1817—1886) и Вадим Дмитриевич (1819—1902) Блудовы — корнеты гусарского Его Императорского Высочества герцога Максимилиана Лейхтенбергского полка.

Петербургский некрополь, т. I, СПб. 1912, с. 230. Русский инвалид, 17 мая 1841 г., № 116.

4. Извощики... — написано по-русски, подчеркнуто М. А. Щербатовой.

5. ...последние дни масленицы: масленичная (мясопустная) неделя 1840 года приходилась на 18—24 февраля. М. А. Щербатова выехала из Петербурга 22 февраля 1840 года.

Месяцеслов на 1840 год. СПб., 1840, с. 10. Лермонтовский сборник. Л., «Наука», 1985, с. 282.

6. ...г-же Блудовой: Анна Андреевна Блудова (1777—1848; урожденная княжна Щербатова) — мать А. Д. Блудовой.

Власьев Г. А. Потомство Рюрика, т. I, ч. 3, СПб., 1907, с. 279.

7. ...отцу: Дмитрий Николаевич Блудов (1785—1864), действительный статский советник, статс-секретарь, председатель Департамента законов Государственного Совета, главноуправляющий II отделением Собственной Его Императорского Величества канцелярии. Месяцеслов и Общий штат Российской империи на 1840 год. СПб., 1840, ч. I, с. 26.

8. Лидия: Лидия Дмитриевна Шевич (1815—1882; урожденная Блудова) — сестра А. Д. Блудовой, жена сослуживца М. Ю. Лермонтова ротмистра Егора Ивановича Шевича (р. 1808 г.) — сына бывшего командира лейб-гвардии гусарского полка генерал-лейтенанта Ивана Егоровича Шевича (1764—1814). Е. И. Шевич вместе с другими детьми Ивана Егоровича от первого его брака с Анной Семеновной Пишчевич — Любовью (1806—1866), фрейлиной императрицы, Александрой (1807—1860) и мачехой Марией Христофоровной Шевич (1784—1841; урожденной Бенкендорф) часто посещал салон Карамзиных.

ЦГАОР, ф. 1068, оп. I, ед. хр. 646, л. 13 (родословие Шевичей). Месяцеслов и Общий штат Российской империи на 1840 год. СПб., 1840, ч. I, с. 38, с. 277.

М. Ю. Лермонтов. Исследования и материалы. Л., «Наука», 1979. Лермонтов в переписке Карамзиных, с. 323—369.

9. Любутское — сельцо владельческое Калужского уезда при реке Оке и речке Любуче в 48 верстах от города Калуги. Список населенных мест Калужской губернии. СПб., 1863, с. 20.

10. Госпожа Андро: Анна Алексеевна Андро (1808—1888; урожденная Оленина) — младшая дочь президента Академии художеств Алексея Николаевича Оленина (1763—1843), 16 февраля 1840 года вышедшая замуж за сослуживца М. Ю. Лермонтова Федора Александровича Андро. А. С. Пушкин. Исследования и материалы, т. VIII, Л., 1978. Терebeneина Р. Е. Записки о Пушкине, Гоголе, Глинке, Лермонтове в дневнике П. Д. Дурново, с. 271.

Месяцеслов и Общий штат Российской империи на 1840 год. СПб., 1840, ч. I, с. 277.

Петербургский некрополь, т. 3, СПб., 1912, с. 304.

Письмо 15 марта 1840 года.

11. ...участие ко мне в моем горе... — Двухлетний сын М. А. Щербатовой, оставленный ею при отъезде в Москву на попечение бабушки Серафимы Ивановны Штерич, скончался в Петербурге 1 марта 1840 года. М. А. Щербатова не смогла прибыть на его похороны, состоявшиеся 3 марта 1840 года.

Лермонтовский сборник. Л., «Наука», 1985, с. 286.

ЦГИАЛ, ф. 1343, оп. 46, ед. хр. 979, л. 276.

Письмо 21 марта 1840 года.

12. Письма бабушки... — Серафима Ивановна Штерич (1778—1848; урожденная Борноволокова).

Петербургский некрополь, т. 4, СПб., 1913, с. 624.

13. Ваш ... Ваш... — подчеркнуто М. А. Щербатовой.

14. г-жи Арсеньевой: Елизавета Алексеевна Арсеньева (1773—1845; урожденная Столыпина) — бабушка М. Ю. Лермонтова.

Лермонтовская энциклопедия. М., 1981, с. 36.

15. мадам де Барант: баронесса Цезарина де Барант (1794—1877; урожденная графиня де Гудето) — жена французского историка, писателя и дипломата барона Амабля-Гийома-Проспера Брюжьера де Баранта (1782—1866).

16. Констанция... — третья дочь супругов де Барантов (род. 1820 г., в замужестве — де Шазель).

17. ...деревяшкой... — Подчеркнуто М. А. Щербатовой.

Письмо 22 марта 1840 года.

18. ... княгиня Гогенлоэ... — Екатерина Ивановна Гогенлоэ (1801—1840; урожденная графиня Голубцова) — жена вюртембергского посланника в России князя Гогенлоэ (род. 1787 г.), скончавшаяся в Петербурге 18 марта 1840 года.

Петербургский некрополь, т. I, СПб., 1912, с. 618.

Лермонтовский сборник. Л., «Наука», 1985, с. 287—314.

Письмо 23 марта 1840 года.

19. Г-жа Арендт — лицо неустановленное.

20. ...г-н Ботанов... — вероятно, чиновник 8-го класса Павел Ботанов, в 1825 году служивший в Горном кадетском корпусе. В связи с наследованием мужем М. А. Щербатовой и его сестрами, Екатериной и Анной, имущества их скончавшейся тетки княжны Варвары Александровны Щербатовой (1781—1824) Павлом Ботановым был выдвинут иск по двум заемным письмам покойной на сумму 20 тысяч рублей. Санкт-Петербургские сенатские объявления о запрещениях на имущества. СПб., 1825 г., статья № 9520; 1828 г., статья № 8715.

21. ...граф Гурьев... Граф Александр Дмитриевич Гурьев (1786—1865), действительный тайный советник, сенатор, член Департамента законов Государственного Совета.

Месяцеслов и Общий штат Российской империи на 1840 год. СПб., 1840, ч. I, с. 93.

Петербургский некрополь, т. I, СПб., 1912, с. 708.

22. ... Бенжамену-шалопаяю... — Бенжамен Констан, французский писатель начала 19 века, автор романа «Адольф», в котором писатель вывел типичный портрет молодого человека своего времени. Имя Бенжамен переводится также — «любимый ребенок».

23. Софи... — Софья Николаевна Карамзина (1802—1856) — старшая дочь писателя и историка Николая Михайловича Карамзина (1766—1826) от первого его брака с Елизаветой Ивановной Протасовой (ск. 1802). М. Ю. Лермонтов. Исследования и материалы. Л., «Наука», 1979. Лермонтов в переписке Карамзиных, с. 323—369.

Письмо 17 апреля 1840 года.

24. Отчаяние Вашей несчастной тетушки... — Мария Андреевна Поликарпова (урожденная княжна Щербатова) — родная сестра матери А. Д. Блудовой, бывшая замужем за действительным статским советником Александром Александровичем Поликарповым, умершим в 1840 году.

Власев Г. А. Потомство Рюрика. СПб., 1907, т. I, ч. 3, с. 279.

Русский провинциальный некрополь. М., 1914, т. I, с. 695.

25. Христос Воскресе... — Написано по-русски. Пасхальное воскресенье 1840 года пришлось на 14 апреля.

Месяцеслов на 1840 год. СПб., 1840, с. 32.

Письмо 1 ноября 1840 года.

26. ...накануне отъезда. Все наши вещи уложены... — В Прибавлениях к «Санкт-Петербургским ведомостям» № 233, с. 2301, 15 октября 1840 года среди объявлений об отъезжающих за границу напечатано: «Серафима Ивановна Штерич, вдова статского советника с внуками ея: княгинею Мариєю Алексеевною Щербатовой, вдовою гвардии штабс-ротмистра, девицею Поликсеною Алексеевною Штерич, дочерью надворного советника, и девицею Елисаветою Михайловною Федоровою, дочерью коллежского асессора с крепостным при них человеком, Львом Ивановым и вольнонаемною прислугою прусскою подданною девицею Розалиею Клейн и саксонским подданным Константином Будендорфом; спрос. 3-й Адм. части 3-го кварт. в доме под № 166—82, а девицу Елисавету Федорову в Смольном монастыре у инспектрисы мадам Кассель. I». Объявление повторено в № 235, с. 2324, 17 октября 1840 года и в № 237, с. 2354, 19 октября 1840 года.

27. ...восемь дней тому назад приехал граф Воронцов... — граф Иван Илларионович Воронцов-Дашков (1790—1854), обер-церемониймейстер при Дворе Николая I, согласно «Санкт-Петербургским ведомостям» от 29 октября 1840 года (№ 245, с. 1116) прибыл в Петербург от местечка Таурогена 26 октября 1840 года.

Месяцеслов и Общий штат Российской империи на 1840 год. СПб., 1840, ч. I, с. 6.

28. ...а графиня уже появилась при Дворе... — Графиня Александра Кирилловна Воронцова-Дашкова (1818—1856; урожденная Нарышкина), знакомая М. Ю. Лермонтова, которой он посвятил стихотворение «К портрету».

29. ...вновь встретилась с Э. — Лицо неустановленное.

30. ...моей знакомой госпоже... — Фамилия написана неразборчиво.

31. ...господин Озеров... — Иван Петрович Озеров, надворный советник, камергер, старший секретарь российской дипломатической миссии в Берлине.

Месяцеслов и Общий штат Российской империи на 1840 год. СПб., ч. I, с. 14, 409.

Письмо 11 июня/30 мая 1841 года.

32. ...госпожа Мансурова, урожденная Трубецкая: Аграфена (Агриппина) Ивановна Мансурова (до 1800—1861; урожденная княжна Трубецкая) — жена состоявшего при российской дипломатической миссии в Берлине генерал-адъютанта, генерал-лейтенанта Александра Павловича Мансурова (1789—1880).

Месяцеслов и Общий штат Российской империи на 1841 год. СПб., 1841, ч. I, с. 256.

Сказание о роде князей Трубецких. М., 1891, с. 254.

Русский некрополь в чужих краях. Пг., 1915, с. 55.

33. ...адъютанта посла Катенина... — Александр Андреевич Катенин, флигель-адъютант, полковник лейб-гвардии Преображенского полка. Прибавление к «Санкт-Петербургским ведомостям», № 144, с. 1525, 20 июня 1840 года.

Месяцеслов и Общий штат Российской империи на 1841 год. СПб., 1841, ч. I, с. 140.

34. полковник Дюгамель... — Сергей Осипович Дюгамель, полковник лейб-гвардии Семеновского полка.

Месяцеслов и Общий штат Российской империи на 1841 год. СПб., 1841, с. 142.

Прибавление к «Санкт-Петербургским ведомостям», № 83, с. 933, 17 апреля 1841 года.

35. ...почитателя княгини Одоевской... — Ольга Степановна Одоевская

(1797—1872; урожденная Ланская) — жена писателя, литературного и музыкального критика князя Владимира Федоровича Одоевского (1804—1869).

Московский некрополь, т. 2, СПб., 1908, с. 363.

36. ...господина Рихтера... — Александр Борисович Рихтер (ск. 1859 г.), коллежский советник, камер-юнкер, старший секретарь российской миссии в Дрездене, Ганновере и Саксен-Веймаре. Его брат подполковник К. Б. Рихтер был женат на двоюродной сестре М. А. Щербатовой Лидии Петровне, урожденной Музиной-Пушкиной.

Месяцеслов и Общий штат Российской империи на 1841 год. СПб., 1841, ч. I, с. 15, с. 256.

37. ...встретила там Торвальдсена... — Бартель Торвальдсен (1768—1844) — датский скульптор, президент Римской академии св. Луки и Академии художеств в Копенгагене.

38. ...Святую Деву Рафаэля... — Картина выдающегося итальянского художника эпохи Возрождения Рафаэля «Сикстинская мадонна», созданная им в 1515—1519 гг.

39. ...приехала княгиня Екатерина Васильчикова с мужем: Екатерина Алексеевна Васильчикова (1818—1869; урожденная княжна Щербатова) — жена старшего сына председателя Государственного Совета И. В. Васильчикова (1777—1847), полковника лейб-гвардии конного полка, флигель-адъютанта князя Иллариона Илларионовича Васильчикова.

Власьев Г. А. Потомство Рюрика. СПб., 1907, т. I, ч. 3, с. 284.

Месяцеслов и Общий штат Российской империи на 1841 год. СПб., 1841, ч. I, с. 167.

Прибавление к «Санкт-Петербургским ведомостям», № 91, с. 1007, 26 апреля 1841 года.

40. ...и сестрой Щербатовой... — Княжна Ольга Алексеевна Щербатова (1822—1879).

Власьев Г. А. Потомство Рюрика. СПб., 1907, т. I, ч. 3, с. 285. Прибавление к «Санкт-Петербургским ведомостям», № 101, с. 1139, 8 мая 1841 года.

41. ... графиня Виельгорская осталась в Лейпциге... — Луиза Карловна Виельгорская (1791—1853; урожденная княжна Бирон) — жена графа Михаила Юрьевича Виельгорского (1788—1856), мецената и музыканта, гофмейстера Двора великой княжны Марии Николаевны, дочери Николая I.

В. А. Соллогуб. Повести и воспоминания. Л., 1988, с. 435.

Месяцеслов и Общий штат Российской империи на 1841 год. СПб., 1841, ч. I, с. 31.

42. ...графиня Гогенталь, урожденная княжна Бирон... — Луиза Густавовна Гогенталь (1808—1846) — племянница Л. К. Виельгорской, с 1829 года бывшая замужем за графом Альфредом Гогенталем (1806—1860).

Лобанов-Ростовский А. Б. Русская родословная книга. СПб., т. I, 1895, с. 67.

43. ...на имя госпожи Рихтер... — Вероятно, жены А. Б. Рихтера.

44. ...великая герцогиня Веймарская... — Великая герцогиня Саксен-Веймарская Мария Павловна (1786—1859), великая княгиня, сестра Николая I.

Месяцеслов на 1840 год. СПб., 1840, с. 113.

45. Жуковский ... с будущей молодой женой... — Свадьба Василия Андреевича Жуковского (1783—1852) и Е. А. Рейтерн (род. 1822) состоялась 21 мая 1841 года в церкви российского посольства в городе Штутгардте, после чего поэт поселился с молодой женой в Дюссельдорфе.

46. Александр Мейендорф давно покинул нас... — Барон Александр Казимирович Мейендорф (1798—1865), действительный статский советник, камергер, агент во Франции от Министерства финансов по части мануфактур, промышленности и торговли.

Месяцеслов и Общий штат Российской империи на 1841 год. СПб., ч. I, с. 6, с. 483.

47. ...госпоже Плещеевой... — Наталья Федотовна Плещеева (1768—1855; урожденная Веригина) — статс-дама Двора ея величества государыни императ-

рицы, жена действительного тайного советника Сергея Ивановича Плещеева (ск. 1802).

Месяцеслов и Общий штат Российской империи на 1841 год. СПб., 1841, ч. I, с. 24.

Петербургский некрополь. СПб., 1912, т. 3, с. 430.

48. ...как поживает госпожа Ковалькова... — Екатерина Ивановна Ковалькова (1806—1854) — жена действительного статского советника, камергера, директора Особенной канцелярии при главноначальствующем над Почтовым департаментом Александра Ивановича Ковалькова (1795—1852).

Месяцеслов и Общий штат Российской империи на 1841 год. СПб., ч. I, с. 6, с. 438.

Предисловие, публикация и комментарий М. Ф. Дамианиди и Е. Н. Рябова.

Анни ШМИДТ

ВЕДЬМЫ И ВСЕ ПРОЧИЕ

Где тонко, там и рвется... Рынка вроде бы еще и нет, а «рыночные механизмы» уже работают и уже приподнесли нам сюрприз: детская книга как нерентабельная (возни много, а прибыли — шиш без масла) — исчезла с госприлавков; даже «договорники» не могут похвастать «большим объемом дефицитного товара», хотя цены астрономические.

Ситуация — непостижная уму: взрослые читатели перекормлены до отрыжки, а дети обречены на бескишье, а значит — на сенсорный голод, на телеподаяние, а мы, страна, на тотальную «функциональную неграмотность», причем, в самом ближайшем будущем. И пока эта ИДЕЯ не овладеет массами, не войдет как сигнал национального бедствия в каждый дом, положение, видимо, не изменится. И все-таки: только плакаться, только уповать на «авось», только сидеть сложа руки на берегу взбаламученного моря Бизнеса и ждать от него погоды, — нельзя; надо хоть что-то, да делать. Так вот: чтобы хоть что-то сделать, мы, «Согласие», в порядке эксперимента, будем публиковать, в каждом выпуске, в течение всего не календарного — журнального года, литературу для детского чтения. А начать решили с замечательных сказок совершенно не известной у нас Анни Шмидт; их, специально для «Согласия», перевела с нидерландского Екатерина Любарова. По истечении указанного срока, все тексты, опубликованные в этом разделе, выйдут отдельной книгой — в подарочном исполнении — на прочной бумаге и с цветными иллюстрациями.

Конечно, сказка без картинок — это как бы и не сказка. Но может быть, вашим детям захочется восполнить этот недостаток? Может, они сами проиллюстрируют их? И если, в результате такой самиздатовской домашней деятельности, возникнет избыток иллюстративного материала, присылайте его в редакцию: мы обязательно используем рисунки ваших детей при оформлении отдельного издания детской библиотеки «Согласия».

Спичечный коробок

— Гейсберт, мой сын, — сказал старик-отец. — Настал мой последний час. Я знаю, что беден, и дом наш будет продан в уплату моих долгов. Вот тебе сто гульденов, это все, что я могу тебе дать. И еще спичечный коробок. На похороны тебе тратить не надо, за них уплачено. А теперь, мне кажется, я испускаю последний дух.

— О нет, не делай этого, пожалуйста, — стал умолять его Гейсберт.

— И тем не менее я это сделаю, — сказал отец и умер.

И юноша остался один, один-одинешенек на всем белом свете. Похороны справили чин-чином — не хуже, чем у других, что правда — то правда, оплачены они были по высшему разряду. Гейсберт горько рыдал на кладбище, а потом отправился в самую дорогую гостиницу города, там пообедал, потом поспал, потом позавтракал, а потом у него кончились сто гульденов, оставленные ему отцом.

Уньло поплелся он в парк и уселся на лавочку, на которой уже сидела какая-то женщина, судя по виду, медсестра или сиделка.

— Огонька для меня не найдется? — спросила она.

— Конечно, — сказал Гейсберт и достал из кармана спичечный коробок. В нем еще оставалась одна спичка. Он дал женщине прикурить и хотел было выбросить пустой коробок, но она сказала:

— Остановись, не делай этого. Это не простой коробок.

— Как так? — удивился Гейсберт.

— А вот так, — ответила она, — это очень даже волшебный коробок. Ты можешь положить в него все, что только пожелаешь.

— Что например? — спросил Гейсберт.

— Да вон хоть ту собаку, — сказала женщина. Она открыла коробок и прошептала: — Скок-поскок, в коробок!

Гейсберт увидел, как огромная собака послушно влезла в коробок. Женщина закрыла его и встряхнула.

— Попалась! — удовлетворенно произнесла она. — А если мы захотим ее выпустить, нужно просто сказать: кыш! — Она открыла коробок и сказала: — Кыш!

И собака снова оказалась на газоне, она вильнула хвостом и побежала по своим делам.

— И так туда можно все положить? — спросил Гейсберт.

— Все что угодно, — кивнула женщина. — Попробуй сам вон с той коляской.

Гейсберт открыл коробок и сказал:

— Скок-поскок, в коробок!

И детская коляска въехала туда прямо вместе с ребенком.

— Назад, — сказал он, но ничего не произошло.

— Да нет же! — заволновалась женщина. — Ты не должен говорить: назад!

Нужно сказать: кыш!

Гейсберт сделал все правильно — и коляска снова как ни в чем не бывало стояла на дорожке. Ребенок даже не проснулся.

— Страшно удобная вещица! — сказала женщина. — Что тебе нужно больше всего?

— Дом! — ответил Гейсберт. — А что, сюда и дом влезет?

— Еще как влезет, — сказала она. — У входа в парк стоят три красивых дома.

Какой тебе нравится?

— Вон тот, белый, — показал Гейсберт.

— Сейчас мы его и заберем!

— Э! — забеспокоился Гейсберт. — Только люди, которые там живут, мне совсем не нужны.

— А там никто и не живет. Это контора. А поскольку рабочий день еще не начался, там нет пока никого из служащих.

Гейсберт открыл спичечный коробок.

— Скок-поскок, в коробок! — сказал он, и целый дом оказался в коробке!

— Отнеси его в какое-нибудь симпатичное местечко, — посоветовала женщина. — И чтобы район был немногочисленный, а то он будет бросаться в глаза. Ну, а мне пора. Ах да, чуть не забыла тебе сказать: в коробке должна быть только ОДНА вещь! Если у тебя там что-то есть, ты должен сначала освободить коробок и лишь потом класть туда что-нибудь другое.

Она дружелюбно кивнула ему и исчезла за жасминовым кустом.

— Чем мне вас отблагодарить? — кинулся ей вслед Гейсберт. Он обежал вокруг куста, но она как сквозь землю провалилась.

Там, где прежде стоял красивый белый дом, теперь было пустое пространство. Время близилось к девяти, поэтому к месту работы на урчащих мопедах и фыркающих автомобилях стали съезжаться конторские служащие.

— Контора пропала! — закричали они. — Какая радость!

И они все от счастья задудели клаксонами.

Ну вот, сделал хоть что-то полезное, — подумал Гейсберт и пошел довольный из города. На берегу реки он отыскал чудесную полянку и открыл там коробок. Кыш, — сказал он, и дом так славно встал на зеленой траве среди густой травы, будто всегда здесь стоял, и Гейсберт сразу же почувствовал себя как дома.

— Тут только чересчур много печатных машинок, — сказал он. — Но они мне совсем не мешают. Теперь мне нужно обзавестись кроватью.

И он отправился в магазин, где продавались кровати; их там было полным-полно, и, когда продавщица отвернулась, Гейсберт вытащил потихоньку свой коробок и прошептала:

— Скок-поскок, в коробок!

И самая красивая кровать прыгнула ему в коробок — с матрацем, подушками, простынями — со всем-всем-всем, что на ней было.

— Ну как, выбрали что-нибудь? — спросила продавщица, повернувшись к Гейсберту.

— Я приду к вам еще раз с женой, — сказал Гейсберт и пошел со своим коробком домой. Теперь у него было все, что нужно для хорошей жизни, и он зажил припеваючи. Еду он добывал на базаре, утаскивая оттуда то гуся, то курицу, рыбы сами послушно прыгали из реки ему в коробок. Единственно его утомляло, что часто приходилось мотаться туда-сюда, поскольку в коробок он мог положить только одну вещь. Но и это имело свои преимущества, потому что он не хватал все подряд.

Однажды у Гейсберта заболело горло, и он решил сходить за таблетками в аптеку. Войдя туда, он увидел за прилавком очаровательную девушку. Такую очаровательную, что Гейсберт сразу же выздоровел.

— Что вам угодно? — спросила она.

— Мне угодно, чтобы ты вышла за меня замуж, — сказал Гейсберт. — Как тебя зовут?

— Меня зовут Лизье, — ответила она. — Но я совсем не хочу за тебя замуж. Уходи прочь, иначе я позову своего отца аптекаря. Он огромного роста и очень сильный.

Гейсберт достал коробок и сказал:

— Скок-поскок, в коробок!

И Лизье влетела в коробок, Гейсберт положил его в карман, а дома открыл и сказал:

— Кыш!

Разгневанная Лизье выскочила из короба и закричала:

— Отпусти меня или я вызову полицию!

— Не шуми, Лизье, ну как ты себя ведешь, — покачал головой Гейсберт. — Посмотри, какой чудесный вид из окна. И здесь есть целых семь печатных машинок.

— Это меняет дело, — сказала Лизье. — Я без ума от печатных машинок. Можно я буду печатать на всех?

— Сколько тебе вздумается, — разрешил Гейсберт. — Но только, когда ты справишься с домашним хозяйством, — торопливо добавил он.

Лизье подмела пол, почистила его ботинки и уселась печатать.

— Что мне принести из города? — спросил Гейсберт.

— Бутылку молока, — ответила Лизье, не отрываясь от машинки.

В молочном магазине он проделал все то, что обычно. Он дождался, пока молочник отвернется, достал коробок, прошептал: «Скок-поскок, в коробок!», и бутылка исчезла с прилавка. Но молочник, который уже кое-что заподозрил — уж больно часто у него пропадали бутылки, успел все-таки это заметить.

— А ну-ка, сейчас же верни бутылку, — сказал он.

— Нет у меня никакой бутылки, — Гейсберт похлопал себя по карманам. — Куда по-вашему я ее дел?

— В спичечный коробок, — рявкнул молочник. — Отдавай бутылку или я вызову полицию!

Гейсберт понял, что ему не отвертеться. Он открыл свой коробок, сказал: «Кыш!», и бутылка с молоком снова оказалась на прилавке.

— Вот так! — сказал молочник. — А теперь расскажи, как действует твой коробок.

Но Гейсберт уже припустил со всех ног из магазина. Какая ужасная неприятность, думал он. Теперь молочник знает мою тайну. И где же теперь я буду брать молоко? Озабоченно размышляя, он шел домой и вдруг увидел пасущуюся на лугу красивую буренку.

— Эге, целая корова, это решение проблемы, — смекнул он и отправил корову в коробок. Но не успел он это сделать, как рядом с ним, взвизгнув тормозами, остановилась полицейская машина, из нее выскочил полицейский и сурово приказал:

— Вы задержаны! Немедленно в машину!

— Что я сделал? — пролепетал Гейсберт.

— Ты пытался украсть бутылку молока, — прорычал полицейский. — Нам все про тебя известно!

Бедного Гейсберта отвезли в полицию, где за столом сидел сам комиссар в окружении шестерых полицейских. Он строго взглянул на Гейсберта и сказал:

— Итак, вы пытались украсть бутылку молока в молочном магазине, сознаетесь?

— Сознаюсь, — прошептал Гейсберт.

— До моего сведения довели, будто вы умудрились спрятать вышеназванную бутылку в пустой спичечный коробок, объясните, как это у вас получилось? — потребовал комиссар.

— Вот так, — ответил Гейсберт. Он вынул из кармана коробок, открыл его и сказал: «Кыш!» Из коробка выскочила корова. В помещении она смотрелась ужасно большой, она взбрыкнула задними ногами и, сопя от ярости, принялась рогами направо-налево раскидывать полицейских, комиссар грохнулся со стула, а его подчиненные в панике бросились бежать. Гейсберт — не будь дураком — воспользовался суматохой, выпрыгнул из окна и пустился наутек.

— Только бы они не погнались за мной, — задыхаясь, подумал он и, чтобы не бросаться в глаза, смешался с толпой людей, ждавших на остановке трамвая.

Он не заметил, как за его спиной появился молочник. Когда люди, давясь, полезли в приехавший трамвай, молочник влез Гейсберту в карман и вытащил оттуда пустой спичечный коробок, а на его место подложил другой — как вы понимаете, самый обыкновенный. И был таков, а Гейсберт — ничегошеньки наш Гейсберт не заметил!

— Выйду на следующей остановке, — подумал он. — Там супермаркет, где я возьму пакетик молока.

Посреди супермаркета возвышалась целая башня, составленная из молочных пакетов, но когда Гейсберт достал спичечный коробок и сказал: «Скок-поскок, в коробок!», ничего не произошло. Пакет вовсе не собирался туда прыгать. Гейсберт разволновался и попытался проделать то же самое с суповым пакетом, потом с огурцом, потом с продавщицей, потом со стиральной машиной, и ничего-то у него не получилось. В отчаянии побрел он по улице, то и дело пытаясь заполучить что-нибудь в свой коробок, но туда не хотела залетать даже муха.

Между тем молочнику вот уж счастья привалило — так привалило! И он решил одним махом стать самым богатым из всех богачей. Поэтому напрямик направился к зданию Национального Банка. Там за железными решетками лежали огромные мешки, полные золотых слитков. Молочник это отлично знал, потому что там работал его родственник. Он встал перед решеткой, уперся взглядом в один из этих мешков, открыл коробок и сказал: «Скок-поскок, в коробок!» И прямо сквозь прутья решетки мешок прыгнул ему в коробок.

— Красота! — удовлетворенно прошептал молочник и напевая поспешил домой. На втором этаже над молочным магазином у него была маленькая тихая комнатка, где он и открыл коробок.

— Вылезай! — скомандовал он. Но, как вы догадываетесь, ничего не произошло. Если бы глупый молочник был повнимательней, он бы прислушался к тому, что говорил Гейсберт, возвращая бутылку на прилавок. Но молочник не обратил на это никакого внимания и поэтому теперь упрямо выкрикивал:

— Вылезай! Вылезай!

И когда у него все равно ничего, ну ничегошеньки не получилось, он жутко разозлился и заорал на коробок:

— А ну-ка вылезай, черт тебя подери! Или ты вылезешь, или пеняй на себя! Но и это не помогло.

— Миленький, роденький, умоляю тебя, вылезай! — взмолился молочник, заливаясь слезами. Но мешок не желал вылезать из короба.

Гейсберт, который понуро брел куда глаза глядят, проходил в этот момент как раз мимо молочного магазина, и услышав крики, остановился. Сверху доносилось:

— Вылезай, мешок! Вылезай, мерзавец ты этакий!

— Как нехорошо ругается этот молочник, — пробормотал Гейсберт. — Какой все-таки неприятный человек.

И он хотел идти дальше, но тут в голову ему пришла ужасная мысль, и он остановился, как вкопанный.

Может быть, мой коробок... подумал он, и в этот миг раздался пронзительный вопль молочника:

— Вот тебе, проклятая коробка!

С треском распахнулось окно, спичечный коробок описал дугу и шлепнулся Гейсберту прямо под ноги.

— Большое спасибо! — сказал Гейсберт, схватил свой коробок и выбросил фальшивый в сточную канаву. Безмерно счастливый, он поспешил домой и сообщил Лизье, поджидавшей его в коридоре.

— Молока я не принес, но приключений у меня было выше крыши!

— Сейчас их будет у тебя еще больше, — сказала Лизье, — там в комнате сидит мой отец.

— Твой отец? — удивился Гейсберт. — Ах да, твой отец, аптекарь. Что он хочет?

— Он хочет тебя убить, — объяснила Лизье. — Он в бешенстве, потому что ты меня украл. Он принес с собой огромную бутылку микстуры от кашля.

— Но я не кашляю, — сказал Гейсберт.

— Просто это самая большая бутылка в нашей аптеке, — пожала плечиком Лизье. — Ему показалось, что она больше всего подходит для того, чтобы стукнуть кого-нибудь по голове.

— Ах, бедный я, несчастный! — воскликнул Гейсберт. — Лучше я пойду еще погуляю.

Но не успел он и шагу ступить, как на пороге комнаты появился аптекарь с огромной зеленой бутылкой в руке. Он схватил Гейсберта за шиворот и прошипел, красный, как рак, от злости:

— Это мы еще посмотрим, куда ты пойдешь!

— Уважаемый, обожаемый господин аптекарь! — взмолился Гейсберт, пытаясь вырваться. Но аптекарь уже замахнулся бутылкой, намереваясь ударить ею Гейсберта по голове. У Гейсберта оставалось ровно столько времени, чтобы выхватить из кармана коробок, открыть его и крикнуть:

— Скок-поскок, в коробок!

И сразу же аптекарь исчез в коробке. Но — о ужас! — там уже что-то было! Мешок с золотыми слитками! Две вещи одновременно... этого нельзя было делать. Коробок начал прыгать и крутиться у Гейсберта на ладони. Гейсберт выронил его, и коробок завертелся, как волчок, на полу. В нем раздался ужасный шум, будто два льва вцепились друг в друга, стенки затрещали, крышка прогнулась и — КРАК! — коробок рассыпался. На полу весь в синяках сидел аптекарь, а рядом с ним стоял огромный мешок.

— Что... что со мной случилось, — простонал аптекарь — У меня такое чувство, будто я попал в бетономешалку. О-о-о! моя голова!

Гейсберт развязал мешок и увидел золотые слитки

— Весь мешок ваш, — сказал он аптекарю, — если вы отдадите за меня вашу дочь.

Аптекарь моментально забыл про синяки.

— А он тебе достался честным путем? — спросил он.

— Конечно, честным, — ответил Гейсберт. — Я его не крал.

— Отлично, — сказал аптекарь. — Если моя дочь захочет пойти за тебя, я не возражаю. Ты хочешь пойти за него, Лиз?

— С удовольствием, — кивнула Лиз. — Мне он нравится.

— Даже когда мой коробок сломался? — спросил Гейсберт.

— Подумаешь, — сказала она. — Ты же можешь пойти работать, лентяй ты этакий!

И они втроем отправились в город обедать. Аптекарь расплатился за обед, и на следующий день Гейсберт устроился на работу. Он выбрал самую замеча-

тельную профессию — кондуктор трамвая. А Лизье по сей день подрабатывает, стуча на печатной машинке.

Ангельская труба

Как-то раз, не сказать чтобы очень давно, сидели пять ангелочков в небесном погребе и играли на своих музыкальных инструментах. Конечно же вы спросите, что это, мол, за погреб такой на небе? И я вам отвечу: само собой разумеется, что на небе есть погреб. Иначе где бы хранилось небесное вино и пахнущие осенью небесные яблоки?

Пять ангелочков расположились в погребке, поскольку именно здесь под стрелчатými сводами особенно красиво звучала их музыка. Один из них играл на скрипке, другой на контрабасе, гудевшем так: бас-бас-бас. Третий ангелочек играл на кларнете, четвертый бил в крошечные литавры, а самый маленький ангелочек, самый младший и самый хорошенький, дул в медную трубу.

Голос этой трубы взмывал ввысь над всеми прочими звуками и был он удивительной чистоты и силы — звонкий и теплый, хрустальный и сладкий, и был он громче даже львиного рыка, пропущенного через усилитель — даже не верится.

Когда ангелочки играли, мимо шел старый ангел-садовник, который остановился возле зарешеченного окна погребка послушать их замечательную музыку. Так и стоял он, замерев, пока не смолкла последняя нота. И тогда он оглушительно захлопал и закричал: «Браво!»

Ох, лучше бы он этого не делал! Самый маленький (и самый хорошенький) ангелочек от неожиданности так испугался, что выронил свою медную трубу. Она покатила по полу погребка, покатила... покатила...

— Моя труба! — воскликнул ангелочек и бросился за ней, но было уже слишком поздно. Прежде чем кто-либо успел ее схватить, труба исчезла между прутьями решетки в полу.

А под небесным погребом были облака. И труба падала, падала, падала сквозь облака. И упала напрямик на Землю. В городской парк, где двое мальчишек пускали на пруду самодельные кораблики. Они пускали кораблики и слушали маленький транзистор, стоявший рядом в траве. Один из мальчишек видел, как падает труба. Он подумал, что это падает нос космической ракеты, потому что так всегда думают мальчишки, когда видят, как что-то падает с неба. И когда труба упала ему прямо под ноги, он нагнулся и поднял ее.

— Какая замечательная труба, — сказал мальчик и подул в нее. И как только он подул, раздался высокий и чистый звук — звонкий и теплый, хрустальный и сладкий — и неописуемо прекрасный.

И звучание трубы так поразило мальчика, что он доиграл всю песенку до конца, а потом заиграл новую, а потом еще и еще одну. И другие дети побросали свои игрушки и стали слушать мальчика. Некоторые из них сбегали домой и принесли — кто флейту, кто губную гармошку, кто барабан. И не успело еще кончиться утро, как у детей сложился чудесный оркестр, и играли они с таким вдохновением, что все прохожие останавливались и аплодировали им.

А ангелочек — самый младший и самый хорошенький, видевший, как его труба исчезла между прутьями решетки в полу... что же делал он? Он был в совершеннейшем отчаянии, он порхал-порхал-порхал и не позволял себя утешить — о нет-нет! — он не нуждался в утешении, ни в чем, ни в чем! На своих крошечных крылышках он порхал и порхал по зеленым небесным садам, пока вдруг случайно не обнаружил отверстие в небесной изгороди. И он выбрался наружу, в ничейное пространство, и полетел вниз — к Земле. Это было долгое путешествие, и ангелочек чувствовал себя потерянным и одиноким среди серых облаков, подобно парусам, равнодушно скользившим мимо. Ближе к земле нагнеталась непогода, и он, крепко зажмурившись, стал падать вниз и так, не откры-

вая глаз, он падал-падал-падал еще долго, и ветер, причиняя ему настоящую боль, раздраженно толкал его острыми локтями.

Когда он, наконец, открыл глаза, то увидел прямо под собой землю. Он увидел заснеженные вершины гор, полусонные серые реки, коричневые пашни. Он увидел дома, поезда, а потом — вдруг совсем близко — большой пассажирский самолет и страшно испугался. (Люди в самолете тоже увидели его и испугались еще больше). Ангелочек понял, что ему достаточно острых ощущений, и быстро раскрыл свои крылышки, чтобы не врезаться в землю. И посадка получилась мягкой, просто необычайно мягкой, ангелочек протер глаза, потому что ему показалось, что он куда-то едет. И он действительно ехал, ибо спланировал прямо на раскрашенную тележку с огромным лебедем, сделанным из белых гвоздик, который плыл среди других цветочных фигур, участвовавших в конкурсе на празднике цветов, — и в этом ангелочку сильно повезло. Было мягко и, кроме того, никто не находил это странным. Нормальное дело — ангелочек среди цветов, считали люди, глазевшие с тротуаров на процессию. «Ах! — восклицали они в восхищении, — какой хорошенький ангелочек... так похож на настоящего... вы не знаете, чей это такой милый ребенок?.. как славно его нарядили ангелочком!.. вы только взгляните!.. Ах!»

Это была необычайно красивая процессия. Перед ним ехала Спящая Красавица из розочек, позади — дракон из георгинов. Но люди вдоль дороги толкались и шумели, и ангелочек в некоторой растерянности подумал: как же я сумею отыскать мою трубу среди всех этих нервных мужчин и женщин?

Цветочная процессия остановилась перед членами жюри, и белый лебедь получил первую премию. Конечно, он был обязан этим ангелочку, и толпа разразилась ликующими криками. Все бросились к тележке, каждый норовил потрогать ангелочка, и он не на шутку перепугался. Я не хочу, не хочу, подумал он и, расправив крылышки, вспорхнул с тележки в распахнутое окно ближайшего дома.

В доме жила старая тетка, внешне не больно-то симпатичная. Она увидела, как что-то порхает по комнате, услышала шум крыльев и страшно разозлилась.

— Мис! — крикнула она в сторону кухни. — Мис, в комнату снова залетела чайка!

Из кухни прибежала служанка Мис и спросила:

— Где же она?

Ангелочек поспешно спрятался за телевизор и замер там, едва дыша от страха.

— Это была чайка, — проскрипела старая тетка. — Куда же она подевалась? А вот, ну-ка гони ее!

Ангелочек заметался по комнате, служанка гонялась за ним со шваброй, пока наконец ему не удалось вылететь в окно. Охваченный ужасом, он снова спрятался — теперь в кустах рододендрона, и просидел там тихо-тихо до самого вечера. И тогда, в сумерках, он осторожно стал перелетать из одного сада в другой, от одного куста жасмина — к другому, от одной благоухающей изгороди из роз — к другой, и прилетел в конце концов в тихий городской парк. Посреди парка стояла современная скульптура. Не сумев понять, что она изображает, ангелочек нашел в ней глубокую выемку и примостился там. Смертельно усталый и полный печали, сложил он свои измученные крылышки и уснул. Проснулся он рано утром от того, что двое прохожих обсуждали его, остановившись возле статуи.

— Какая интересная скульптура, — сказал один.

— Да, вот только ангелочек — это сущая безвкусица, — сказал второй.

Когда голоса удалились, ангелочек выбрался из своего убежища. Конечно, он был возмущен, что его назвали сущей безвкусицей, однако долго обижаться он не умел, да и ласково светило солнышко, голубым и красным переливались клумбы, и воздух медленно наполнялся гудением тысяч пчел.

Какое чудесное утро! Он услышал звонкую трель проснувшейся птицы. Заискрилась на солнце вода из очнувшегося фонтана, зазвенели все новые и новые голоса птиц, и вдруг ангелочек уловил — да-да, он не ошибся! — скользкий по-

верх птичьих распевов высокий и чистый звук — звонкий и теплый, хрустальный и сладкий.

— Моя труба! — прошептал ангелочек. — Моя дорогая, моя любимая труба!

И не мешкая ни секунды, он сорвался и полетел на этот звук.

Под раскидистым деревом он обнаружил мальчика, с самым серьезным видом дувшего в его трубу. Ангелочек пошел на снижение и уселся на ветке.

— Тс-с-с! — тихо сказал он.

Мальчик взглянул наверх.

— Привет!

— Видишь ли, — сказал ангелочек, — дело в том, что труба, в которую ты дуешь, принадлежит мне.

— Вот оно что! — разочарованно протянул мальчик. Естественно, он немножко удивился, увидев прямо над собой ангелочка, самого настоящего ангелочка, с самыми настоящими крылышками из самых настоящих перышек, но с другой стороны, этот мальчик привык удивляться. Целые дни напролет он только и делал что удивлялся: его удивляло все, что он видел, все, что он нюхал, все, к чему он прикасался, поэтому это удивление было не больше и не меньше, чем все его прочие удивления.

— Значит, это твоя труба, — сказал он. — Я так и знал, что рано или поздно найдется владелец этой трубы и потребует ее назад. Я так и знал.

И с этими словами мальчик взглянул на ангелочка с такой печалью и с таким отчаянием, что тот даже носом зашмыгал от сочувствия.

— Она мне нужна, ты ж понимаешь, — неуверенно сказал ангелочек, но глаза мальчика были полны такого горького разочарования, что он поспешно добавил:

— Но если ты хочешь на ней поиграть, то, конечно, же, поиграй.

— О, пожалуйста, пожалуйста, — умоляюще протянул руки мальчик. — Скоро придут другие дети, мы собирались поиграть все вместе. Мне она очень нужна. Знаешь что, если ты отдашь мне свою трубу, то я тебе отдам... то я тебе отдам... — Мальчик оглянулся по сторонам, лихорадочно соображая, что бы такое он мог предложить ангелочку взамен. — Мой кораблик!

Ангелочек покачал головой:

— У меня уже есть кораблик, — сказал он.

Мальчик порылся у себя в карманах, потом начал кусать ногти. Наконец его лицо просветлело, и он воскликнул:

— А, я знаю! Взамен трубы я отдам тебе мой транзистор. И у тебя тоже будет музыка!

Он схватил маленький транзистор, стоявший рядом с ним в траве, и отдал его ангелочку.

— Спасибо тебе, — сказал ангелочек. У него еще никогда не было своего транзистора, поэтому он не имел ничего против подобного обмена.

— Тебе нужно нажимать на эту кнопку, — объяснил мальчик.

— Спасибо тебе, — еще раз сказал ангелочек, взял транзистор, расправил крылышки и взмыл вертикально вверх — только его и видели — прямым к себе на небо.

Мальчик провожал ангелочка взглядом, пока тот не превратился в точку и не исчез среди облаков. Мальчик на прощание дунул в трубу, и вскоре со всех сторон сбежались дети с самыми разнообразными музыкальными инструментами. Они хотели играть.

— Почему ты смотришь наверх? — спросили они мальчика. — Что ты там такое видишь?

— Да так, ничего, — ответил мальчик. — Давайте приступим.

И они играли в парке целое утро.

Через то же самое отверстие в небесной изгороди ангелочек пробрался назад на небо и со своим транзистором уселся на газоне — немного усталый и с крылышками, слегка потрепавшимися от ветра и приключений.

Вскоре вокруг него собралась целая толпа ангелов.

— Где ты был? — спрашивали они его. — Почему ты так долго отсутствовал? Что это у тебя такое?

Ничего не отвечая, ангелочек нажал на кнопку. Из радио хлынул поток музыки, и ангелы, замерев от удивления, стояли вокруг и слушали. Потом они сложили на траве собственные музыкальные инструменты: все арфы и тромбоны — позабытые-позаброшенные — валялись в стороне, а двое пожилых ангелов довольно говорили друг другу:

— Вот-вот, это куда легче и практичней. Нам самим больше не нужно играть, теперь музыка играет для нас.

Однако неподалеку от зеленого небесного газона находился Главный Учебный Кабинет, где в это время сидел и читал сам Господь Бог. Он был столь углублен в чтение, что далеко не сразу услышал, что снаружи происходит нечто странное. Когда до него, наконец, донеслись непривычные звуки, он отложил в сторону книгу и прислушался. Потом он поднялся и выглянул в окно. Там он увидел целую стаю ангелов. Одни сидели, другие лежали на газоне. В центре стояла коробочка, издававшая музыкальные звуки.

Глубокая морщина перерезала лоб Господа Бога. Через широко распахнутые двери Учебного Кабинета быстрым шагом он вышел на улицу. Там сразу сшиблись лбами вихревые потоки, и громовые раскаты кинулись перекрикивать друг друга громкими и сердитыми голосами. Сплошной стеной ухнул о траву золотой дождь, сделалось темно, и ангелы в ужасе кинулись врассыпную. Не испугался один лишь самый младший ангелочек, он молча смотрел, как Господь Бог поднял с газона транзистор и мерной поступью пошел прочь под своды радуги — все дальше, дальше, дальше... И вот звук радио совсем потерялся вдали.

Вот так-то. Ни единое слово не нарушило тишину. И все тут же встало на свои места. Небо прояснилось, от золотого дождя остались лишь небольшие золотые лужицы. Ангелы разобрали арфы и тромбоны, и газон опустел.

Только младший ангелочек неприкаянно бродил по небесным садам и был безутешен. Его труба не вернулась к нему, а теперь еще отобрали и транзистор. В конце концов он набрал на небесный курятник, забрался туда, сел в уголке и заплакал. Там его нашел старый садовник, который спросил:

— Что случилось?

— У меня больше ничего нет, — сказал ангелочек.

— Да ведь на небе полным-полно всяких труб, — погладил его по голове садовник. — Хочешь, я принесу тебе любую со склада?

— Нет, — продолжал плакать ангелочек, — ни у какой другой трубы нет такого голоса, как у моей. И я лишился ее навсегда, потому что мальчику на земле она нужна так же, как и мне.

— Вот в этом я лично сомневаюсь, — сказал ангел-садовник. — Хотел бы я взглянуть, так ли это на самом деле.

Ангелочек ничего не ответил. Он продолжал плакать. И так он плакал каждый день — по целому часу не останавливаясь. Долгие-предолгие недели.

Четыре утра подряд играл мальчик в парке с другими детьми. На пятое утро проходивший мимо господин сказал:

— Мальчик, а у тебя талант. Хочешь подзаработать игрой на трубе? Хочешь стать знаменитым трубачом? Тогда пойдем со мной.

Другие дети удивленно и разочарованно смотрели, как мальчик взял свою трубу и пошел вслед за господином.

В тот же вечер мальчик играл перед переполненным залом, в сопровождении целого оркестра. Он чувствовал себя невероятно гордым и очень радовался тем деньгам, которые заработал. Люди в зале долго и громко аплодировали ему, в газетах появились статьи и заметки о вундеркинде с трубой. Все журналы поместили на обложках его портрет. Мальчик отправился в турне. Это значит, что каждый вечер он должен был выступать в новом городе. Еще он выступал по радио и по телевидению. Те города, где он появлялся, пестрели афишами, изве-

щавшими о его концертах. У него был огромный успех, но он должен был завоевать успех еще больший. Он должен был без конца переезжать с места на место, играть-играть-играть, беспрестанно пожимать кому-то руки, раздавать автографы, он должен, и должен, и должен был делать массу всяких обременительных вещей. Вскоре он заскучал от того, что должен был слишком много, а мог — слишком мало. Он начал балбесничать в перерывах, а потом балбесничал уже и тогда, когда играл на трубе. И это было скверно. Он уже не играл столь прекрасно, как раньше. Такое впечатление, что трубе все это тоже надоело. Казалось: она тоже стала балбесничать. Ее голос не был больше таким чистым, не был больше таким сладким.

Однажды вечером мальчик играл в студии телевидения. Он очень устал и был в сварливом настроении.

— Лучше бы я тебя никогда не видел, — сказал он трубе. — Знала бы ты, как ты мне опротивела, да и звучишь ты уже не так красиво.

— Она тебе опротивела? Тогда отдай ее мне, — вдруг предложил ему оператор, который возился неподалеку с двумя толстыми проводами от камеры. Мальчик недоверчиво взглянул на него. Оператор был пожилым человеком. И тоже было странно; потому что обычно операторы — молодые. А этот был старый да еще какой-то согнутый. Да, у него и в самом деле был горб.

— Отдать мою трубу? — переспросил мальчик. — Как это возможно? Я ведь в турне.

— А ты не хотел бы снова играть с друзьями в парке? — спросил оператор. — Рядом с прудом, где тебе нравилось играть? В своем родном городе?

— Откуда вы это знаете? — прошептал мальчик. — Откуда вы знаете, где я играл раньше? Именно так все и было.

Оператор ничего ему не ответил, он снова принялся возиться с проводами. А мальчик внезапно почувствовал себя невероятно усталым, ему захотелось спать, он отложил в сторону трубу и, словно, провалился в сон. Проснувшись, он подумал: наверное, я очень долго спал. Ночь прошла, уже светло. Я в телевизионной студии, далеко от дома. Стойте-стойте, вовсе нет, я — рядом с домом, я в парке. В моем любимом парке, рядом с моим любимым прудом. А где же моя труба? Разве это моя труба лежит в траве? Мальчик нагнулся, взял трубу и подул в нее. Нет, это не его труба. Это совсем другая, самая обыкновенная труба. Мальчик рассмеялся, почему-то он не увидел в том никакой беды, он даже решил, что это просто замечательно! Он снова будет играть с друзьями. Он больше не хочет быть знаменитым, он хочет быть обыкновенным мальчиком, которому нравится играть в парке со своими друзьями.

И вскоре они появились — его друзья, они очень удивились, увидев мальчика.

— Ты больше не знаменитый? — спросили они его.

— Нет. — улыбнулся мальчик. — Я больше не знаменитый.

— Значит, ты опять будешь играть с нами?

— Я об этом просто мечтаю, — сказал мальчик и заиграл на трубе. Она больше не пела небесным голосом, да разве это было возможно, ведь она была самая обыкновенная земная труба. Она звучала обычно, совсем по-земному, и даже несколько неуверенно, но зато как же здорово было играть с друзьями, и не приходило больше никакой господин, чтобы увести за собой мальчика.

Тем временем оператор в студии взял небесную трубу. Он скинул с себя куртку, и под ней оказались два больших белых крыла. Через окно он вылез на улицу и взмыл в небо.

Наверху он нашел самого младшего ангелочка, по-прежнему плакавшего в небесном курятнике.

— Вот твоя труба, — сказал он.

— О! — задохнулся от счастья младший ангелочек. — Моя труба, моя дорогая-любимая труба!

Он тут же бросился к ней и там играл, и играл, и играл, и труба пела голосом удивительной чистоты и силы, звонким и теплым, хрустальным и сладким — даже не верится, что такой бывает. Каждый раз, как труба замолкала, ан-

гелочку казалось, что он слышит эхо, далекое эхо — откуда-то с далекой земли, где живут обыкновенные мальчишки, играющие на обыкновенных трубах. И эхо отзывалось голосом обыкновенной трубы.

Ты спрашиваешь, что же произошло с транзистором?

Он полетел вниз на землю, но упав, не рассыпался на тысячу кусочков, а уцелел. Он упал на один из склонов горы Попокатепетл прямо под нос серьезно-маленькому ослику, который понятия не имел, что это такое. На мордочке у ослика появилось задумчивое выражение, будто он решал сложнейшую задачу:

Что бы это все-таки значило?

Что бы это все-таки значило?

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Вацлав МИХАЛЬСКИЙ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Александр РЖЕШЕВСКИЙ
(первый заместитель главного редактора)

Михаил БЕЛЕНЬКИЙ

Светлана БУЧНЕВА

Алла МАРЧЕНКО

(заместитель главного редактора)

Святослав ПЕДЕНКО

(заместитель главного редактора)

Александр САМАРЦЕВ

Анастасия ХАРИТОНОВА

Подписано к печати 28.06.1991г.

Формат 70х108 1/16. Гарнитура «Таймс». Печать высокая.
Физ. печ. л. 14. Тираж 50 000 экз. Заказ № 252. Цена 1 руб. + 20 коп.
Московская типография №13 ПО «ПЕРИОДИКА»,
107005, Москва, Денисовский переулок, 30.

АДРЕС РЕДАКЦИИ:

113054, Москва, ул. Бахрушина, 28.

Телефоны: главный редактор — 235-15-56,
первый заместитель главного редактора — 235-14-00,
отделы прозы, поэзии, критики, публицистики — 235-14-10

Оформление М. Б. Патрушевой
Корректоры Кокорина Е. А., Попова Ю. Е.

Цена 1руб. + 20коп.

СПАСИБО

Двадцать копеек благотворительной надбавки к цене нашего журнала превратятся в миллион рублей, необходимых для строительства интерната для одиноких престарелых людей в Талдомском районе, соединяющем Московскую и Тверскую области.

Финансирование ведете Вы, уважаемый читатель, и редакционно-издательский комплекс «Милосердие».

**СОВЕТ
РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКОГО КОМПЛЕКСА
«МИЛОСЕРДИЕ»**

*ПАТРИАРХ АЛЕКСИЙ,
А.М.АДАМОВИЧ, Г.П.АЛФЕРЕНКО,
В.С.АЛХИМОВ, В.М.БОРИСОВ,
А.М.БОРЩАГОВСКИЙ, Ф.М.БУРЛАЦКИЙ,
Ю.М.БУЦКО, Е.М.БЫЧКОВ, Б.Л.ВАСИЛЬЕВ,
А.Ю.ГЕРМАН, А.А.ГОЛИК, Г.М.ГУСЕВ, А.А.ИЛЬИН,
А.Г.КОНОВАЛОВ, Л.П.КРАВЧЕНКО, В.Н.КРУПИН,
А.М.МАРЧЕНКО, Г.И.МАТЕВОСЯН, А.Н.МЕДВЕДЕВ,
В.В.МЕНЬШИКОВ, В.В.МИХАЛЬСКИЙ, Б.А.МОЖАЕВ,
С.А.МУБАРЯКОВ, В.Н.МУДРАК, Б.И.ОЛЕЙНИК,
С.Ф.ПЕДЕНКО, О.М.ПОПЦОВ, Г.В.ПРЯХИН,
А.А.РЖЕШЕВСКИЙ, Ю.М.РОСТ, Ю.С.РЫТХЭУ,
А.Н.САМАРЦЕВ, Ю.Б.СОЛОМОНОВ, В.Т.СПИВАКОВ,
Н.К.СТАРШИНОВ, Г.Ф.СУХОРУЧЕНКОВА, Н.И.ТРАВКИН,
С.Н.ФЕДОРОВ, Ю.Д.ЧЕРНИЧЕНКО, Б.А.ЧИЧИБАБИН,
С.И.ЧУПРИНИН, И.И.ШКЛЯРЕВСКИЙ, С.В.ЯМЩИКОВ*